

1812 года



Евгений Викторович Тарле

Нашествие Наполеона на Россию

Нашествие Наполеона на Россию

Глава I

Перед столкновением

1

Гроза двенадцатого года еще спала… Еще Наполеон не испытал великого народа, еще грозил и колебался он, — так писал Пушкин о том времени, исчерпывающая характеристика которого очень трудна: столько разнообразнейших явлений одновременно осаждают память историка.

Из всех войн Наполеона война 1812 г. является наиболее откровенно империалистской войной, наиболее непосредственно продиктованной интересами захватнической политики Наполеона и крупной французской буржуазии. Еще война 1796–1797 гг., завоевание Египта в 1798–1799 гг., вторичный поход в Италию и новый разгром австрийцев как-то прикрывались словами о необходимости борьбы против интервентов. Даже Аустерлицкая кампания изображалась наполеоновской прессой как «самозащита» Франции от России, Австрии и Англии. Даже разгром и порабощение Пруссии в 1806–1807 гг. являлись для среднего французского обывателя справедливой карой прусскому двору за дерзкий ультиматум, посланный Фридрихом-Вильгельмом III «миролюбивому» императору Наполеону, которому жить не дают беспокойные соседи. О четвертом разгроме Австрии в 1809 г. Наполеон и подавно не переставал говорить как о войне «оборонительной», вызванной австрийскими угрозами. Только о вторжении в Испанию и Португалию принято было помалкивать.

Все эти фантазии и лживые выдумки в 1812 г. никого уже не обманывали во Франции, да и в ход почти вовсе не пускались.

Заставить Россию экономически подчиниться интересам французской крупной буржуазии и создать против России вечную угрозу в виде вассальной, всецело зависимой от французов Польши, к которой присоединить Литву и Белоруссию, — вот основная цель. А если дело пойдет совсем гладко, то добраться до Индии, взяв с собой уже и русскую армию в качестве «вспомогательного войска».

Для России борьба против этого нападения была единственным средством сохранить свою экономическую и политическую самостоятельность, спастись не только от разорения, которое несла с собой континентальная блокада, уничтожившая русскую торговлю с англичанами, но и от будущего расчленения: в Варшаве не скрывали, что одной Литвой и Белоруссией поляки не удовлетворятся и что надеются со временем добраться при помощи того же французского цезаря до Черного моря. Для России при этих условиях война 1812 г. явилась в полном смысле слова борьбой за существование, обороной от нападения империалистского хищника.

Отсюда и общенародный характер великой борьбы, которую так геройски выдержал русский народ против мирового завоевателя.

Чем была война 1812 г. в общей исторической системе, в последовательном видоизменении революционных и наполеоновских войн? Нельзя не вспомнить здесь ту отчетливую схему, прямо подводящую к ответу на поставленный вопрос, которую дает В. И. Ленин: войны Французской революции, которые велись против интервентов во имя защиты революционных завоеваний, обращаются с течением времени в завоевательные войны Наполеона, а эти завоевательные, грабительские, империалистские войны Наполеона в свою очередь порождают национально-освободительное движение в угнетенной Наполеоном Европе, и теперь уже войны европейских народов против Наполеона являются национально-освободительными войнами.

Война 1812 г. была самой характерной из этих империалистских войн. Крупная французская буржуазия (особенно промышленная) нуждается в полном вытеснении Англии с европейских рынков; Россия плохо соблюдает блокаду, — нужно ее принудить. Наполеон делает это первой причиной ссоры. Той же французской буржуазии, на этот раз и промышленной и торговой, необходимо заставить Александра I изменить декабрьский таможенный тариф 1810 г., неблагоприятный для французского импорта в Россию. Наполеон делает это вторым предметом ссоры. Чтобы создать себе нужный политический и военный плацдарм против России, Наполеон стремится в том или ином виде создать для себя сильного, но покорного ему вассала на самой русской границе, организовать в тех или иных внешних формах польское государство, — третий повод к ссоре. В случае удачи затеваемого похода на Москву Наполеон говорит то об Индии, то о «возвращении через Константинополь», т. е. о завоевании Турции и уже заблаговременно посылает (в 1810, 1811, 1812 гг.) агентов и шпионов в Египет, в Сирию, в Персию.

Далее, сулила ли эта завоевательная империалистская война, хотя бы в виде побочного, второстепенного (с точки зрения Наполеона) результата, освобождение русских крестьян?

Ни в коем случае. Гадать тут не приходится. Наполеон сейчас же после похода — еще даже не успел кончиться кровавый год — категорически признавал, что никогда и не помышлял об освобождении крестьян в России. Он знал, что их положение хуже, чем положение крепостных в других европейских странах. Он даже говорил о русских крестьянах, пользуясь термином «рабы», а не «крепостные». Но он не только не пытался склонить в свою сторону симпатии русского крестьянства декретом об уничтожении крепостного права, но боялся, как бы ответом на его грабительское нашествие не явилась крестьянская революция в России. Он не хотел рыть пропасть между собой и помещичьим царем и помещичьей Россией, потому что он не нашел в России (так ему казалось и так он говорил) «среднего класса», т. е. той буржуазии, без которой он, буржуазный император, просто не мыслил перехода феодальной или полуфеодальной страны в колею нового строя, нужного для развития новых социально-экономических отношений. Ведь он вполне сознательно всюду искал этот «средний класс» и на нем стремился основать новую государственность. Русскую буржуазию он хотел найти и не успел, не сумел, все равно почему, но не нашел. А не найдя, отказался вообще от какого-либо активного вмешательства в русскую внутриполитическую жизнь, потому что из двух других сил, с которыми ему оставалось считаться, помещичья Россия была ему, несмотря ни на что, близка, а крестьянская революция страшна. Он застал русское крестьянство в цепях и ушел, даже и не попробовав к ним прикоснуться, напротив, например в Белоруссии и Литве, укреплял эти цепи.

Такое поведение Наполеона было вовсе не случайным. Мысли и настроения свои по этому поводу он ничуть не скрывал, хотя его ясные и точные высказывания относятся лишь к периоду, когда поход окончился. Но нам именно с этого и нужно начать, чтобы вполне уяснить его воззрения.

В тронном зале Тюильрийского дворца, на заседании сената 20 декабря 1812 г., говоря о только что кончившемся походе на Россию, Наполеон сказал: «Война, которую я веду против России, есть война политическая: я ее вел без враждебного чувства. Я хотел бы Россию избавить от бедствий, которые она сама на себя навлекла. Я мог бы вооружить наибольшую часть ее населения против ее же самой (против России. — Е. Т.), провозгласив свободу рабов. Большое количество деревень меня об этом просило. Но когда я узнал грубость нравов этого многочисленного класса русского народа, я отказался от этой меры, которая предала бы смерти, разграблению и самым страшным мукам много семейств»1. Эти слова Наполеона не нуждаются в пояснениях. Мы не находим ничего похожего на «многочисленные» прошения деревень ни в одном исходящем за время русского похода от французов и от самого Наполеона свидетельстве, ни в одном письме, ни в одном даже беглом указании. Ясно, что это один из тех политически выгодных вымыслов, перед которыми Наполеон никогда не останавливался. Но ясно и другое: он отлично понимал, что, освобождая крестьян, он мог бы вооружить их этим против крепостнического русского правительства. Знал, но не хотел, боялся к этому оружию прибегнуть. Не душителю революции, не императору божьей милостью Наполеону I, которому Александр еще перед самым нашествием писал: «государь, брат мой», не «брату» Александра I, не зятю Франца Австрийского было освобождать русских крестьян.

Да и что другое мог он сказать, будучи тем, кем он в это время был? Ведь в тот же день, в том же тронном зале, принимая вслед за сенатом Государственный совет, Наполеон хвалил это учреждение за монархические чувства, говорил «о благодеяниях монархии», громил «идеологию», «принцип восстания», «народное верховенство» и с целомудренным порицанием поминал якобинцев, «режим людей крови»2.

Эту новую выдумку о русских крестьянах, просивших его об освобождении, он повторяет и в письме к брату, вестфальскому королю Жерому, от 18 января 1813 г.: «Большое количество обитателей деревень просили у меня декрета, который дал бы им свободу, и обещали взяться за оружие в помощь мне. Но в стране, где средний класс малочислен, и когда, испуганные разрушением Москвы, удалились люди этого класса (без которых было невозможно направлять и удерживать в должных границах движение, раз уже сообщенное большим массам), я почувствовал, что вооружить население рабов — это значило обречь страну на страшные бедствия; у меня и мысли о том не было»3.

Завоевателем, а не освободителем вступил Наполеон в Россию. Не об уничтожении крепостного права думал он, а о том, чтобы погнать потом в случае удачи эту крепостную массу в качестве «вспомогательных войск» (его собственное выражение) на Гималаи и за Гималаи, в Индию. Но относительно русского народа он так же жестоко заблуждался, как и относительно испанского. 2

Когда впервые стал сколько-нибудь явственно вырисовываться на европейском горизонте призрак войны обеих империй? Говорить об этой войне, задумываться о ней дипломаты стали впервые с начала 1810 г., а большинство лишь с конца того же года.

Но подспудные течения подмывали франко-русский союз уже давно. Напомним в нескольких словах о предшествующих столкновениях России с Наполеоном.

Под Аустерлицем 2 декабря 1805 г. Наполеон нанес страшное поражение австрийским и русским войскам, — но уже и там французы очень хорошо видели разницу между поведением русских солдат и несравненно менее стойким и мужественным поведением австрийцев. В 1807 г. русские войска, посланные царем спасать Пруссию от окончательного покорения, сразились с Наполеоном сначала в кровавой битве под Эйлау (8 февраля 1807 г.), где исход сражения остался нерешенным, а затем в битве под Фридландом (14 июня 1807 г.), где Наполеон остался победителем. Александр I тогда же заключил с Наполеоном не только мир, но и союз. Это произошло уже в ближайшие дни после Фридланда, во время личного

свидания Наполеона с Александром в г. Тильзите. Этих тяжелых уроков Александр не забывал. Он знал, что в России (и особенно в русской армии) широко распространено недовольство «позорным Тильзитским миром». Дело было не только в позоре. Наполеон заставил Александра примкнуть к так называемой «континентальной блокаде», т. е., другими словами, Россия обязывалась ничего у англичан не покупать, ничего англичанам не продавать, не допускать англичан в Россию и объявить Англии войну. От этой меры, придуманной Наполеоном для удушения и разорения Англии, русские землевладельцы и купцы тяжело страдали, русская торговля совсем упала, государственные финансы России оказались в самом тяжелом положении. Франко-русский союз, оформленный в Тильзите в 1807 г., дал первую трещину уже в 1808 г., во время сентябрьского свидания обоих императоров в Эрфурте, и эта трещина очень серьезно расширилась в 1809 г., во время войны Наполеона с Австрией. Остановимся пока на этих двух годах: 1807–1809.

Александр, в панике после фридландского разгрома, решился не только на мир, но на самую крупную и решительную перемену, вернее, на полный переворот во всей своей политике.

Не наша задача давать тут полную характеристику Александру как человеку и правителю. Этот человек в своей жизни несколько раз менялся. Наследником он был одним, после убийства Павла — другим, перед Аустерлицем — третьим, после Аустерлица — четвертым, после Тильзита — пятым. А еще сколько предстояло изменений в 1814 г.! Сколько еще в годы Голицына и Аракчеева! И не просто менялись его настроения: менялись его отношение к людям, его воззрения на людей, его отношение к жизни, проявления его характера. Кто-то из его современников выразился так: Александр, как Будда по индийским сказаниям, проходит всю жизнь через разные «преображения», «становления», разные «аватары», поэтому у него и является всякий раз совсем новое лицо. Нас тут интересует его «преображение» перед войной 1812 г. и во время этой войны. Кем он был тогда? Каковы были его стремления? Александр умел держать себя в руках, как ни один из русских царей и как вообще очень редко какой-либо из самодержцев в любой стране.

В 1805 г., как известно, он потерпел позорнейший разгром под Ауетерлицем, и притом решительно ни на кого нельзя было свалить вину: все знали, что сам царь вопреки воле Кутузова повел армию на убой и, когда все провалилось, публично расплакался и убежал с кровавого поля. Но враг был так опасен, дворянство, окружавшее царя, настолько ненавидело и опасалось этого врага, что Александру, можно сказать, многое отпустили из его аустерлицкого греха, за то что он все-таки не заключил с Наполеоном мира, а через год после Аустерлица выступил снова против «врага рода человеческого». На этот раз война оказалась затяжной и еще более кровопролитной. Как будто улыбнулась надежда смыть аустерлицкий позор, который так болезненно переживался именно потому, что после суворовских и румянцевских побед Александр начал свое царствование с этого страшного поражения. Пултуск, Эйлау с очень большими натяжками все-таки могли, в особенности для помещичьей провинциальной публики, сойти за победы. Но вот наступает весна 1807 г.: Гейсберг и Фридланд. Новое поражение, да еще на этот раз такое, которое разразилось у самой русской границы. В русской главной квартире полная паника. И Александр просит перемирия, посылает князя Лобанова-Ростовского к Наполеону немедленно после страшного фридландского поражения.

Происходит свидание на неманском плоту. Оба императора обнимаются, целуются, мигом заключают не только мир, но и союз. Уже в самом Тильзите среди всех этих торжеств и братаний начались неприятности. Офицерство не очень скрывало, что ему стыдно за себя и за царя, что Тильзит хуже и позорнее Аустерлица. Затем нехорошо вышло и с королем и королевой прусскими. Александр их предал и продал, так говорила вся Европа, именно говорила, а не писала и не печатала: при Наполеоне Европа вообще не весьма много писала и совсем мало печатала. За прощальным обедом королева Луиза стала горько выговаривать Александру, так коварно поступившему, и вдруг разрыдалась, и это произвело тогда впечатление на общественное мнение. Конечно, дело было не в затемнении «рыцарского»

образа царя, не в коварном нарушении «клятвы у гроба Фридриха II», когда меньше чем за два года до Тильзита Александр поклялся Фридриху-Вильгельму III и Луизе в вечном союзе и дружбе. Все эти сентиментальности были не так уж важны. Даже и не то было самое беспокойное и неприятное, что пришлось любезничать и целоваться с этим самым Бонапартом, который в 1804 г. так грубо и публично в своей ноте напомнил Александру I об убийстве Павла (когда Александр вздумал было протестовать против казни герцога Энгиенского). В политике цари и не то еще переносят. Важнее всего было то, что дворянская Россия, в представлении европейских правительств изображавшая «общественное мнение» России, решительно негодовала по поводу Тильзитского мира. Александр вернулся после Тильзита не только с израненным самолюбием, но и с ощущением незримой угрозы, над ним нависшей.

Дворянство ни за что не хотело ни континентальной блокады, приносившей землевладению и экспортной торговле России громадные убытки, ни дружбы с ненавистным Наполеоном, в чьем образе оно продолжало видеть порождение Французской буржуазной революции и угрозу своему владычеству. Дворянство было недовольно. А Александр знал из истории русских царей XVIII в. и из истории своего отца, что бывало с российскими самодержцами, когда дворянство начинало очень на них сердиться. И все-таки царь крепился, таил в себе раздражение, таил беспокойство, таил все те чувства, которые потом получил возможность высказывать. Он вовсе не был безвольным. У него был характер, и в иных случаях очень твердый. Он умел долго и упорно желать и ждать. Широкого, зрелого государственного ума у него никогда не было, и, например, чудовищную, злодейскую бессмыслицу военных поселений выдумал он сам, а вовсе не Аракчеев. И уже выдумав что-нибудь, царь ни перед чем не останавливался, чтобы провести в жизнь свою выдумку, — ни перед гнусностью, ни перед жестокостью. Чтобы отстоять, например, те же свои военные поселения, он готов был, как известно, «уставить виселицами» всю дорогу от Петербурга до Чудова.

Из Тильзита он вернулся с одним определенным планом, осуществление которого должно было, по его мнению, не только загладить все поражения и весь позор двух проигранных войн, но и покрыть его славой, не меньшей, а большей, чем слава Екатерины. В осуществимость этого плана, по-видимому, никто, кроме него, не верил, но тем упорнее он за это держался. Это была мысль о широких территориальных приобретениях в Турецкой империи: Молдавия, Валахия, может быть, Константинополь. Наполеон поманил его этим во время тильзитских переговоров, когда оба императора совещались вдвоем целыми ночами, когда Наполеон «отдавал» Александру Турцию, а Александр обязывался «отдать» Наполеону Европу. Наполеон уже тогда, конечно, думал обмануть Александра и дать ему несравненно меньше, чем обещал, и уже во всяком случае ни минуты не думал об уступке Константинополя.

Но Александр был не из тех, кого легко обмануть. Во всяком случае не из тех, кого долго можно обманывать. «Александр слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым», — сказал о нем хорошо его знавший Сперанский. Можно сказать о нем и так: он был недостаточно глубок и гибок, чтобы обмануть Наполеона, но и слишком хитер и тонок, чтобы Наполеон мог его надолго обмануть.

Финляндию, на завоевание которой (с целью покарать англофильскую Швецию) указал ему Наполеон, царь в 1808 г. в самом деле заполучил. Но этого ему было мало. А больше Наполеон не давал.

Александр уже давно, уже с Аустерлица, никому не доверял и знал, что его не уважают («считают дурачком», как он выразился сам впоследствии). Ожидая нападения со стороны Наполеона, он не мог не знать одного: нового Тильзита ему не простят. И далекая Сибирь, куда он собирался «отступать», была для него в самом деле более приемлема и безопасна, чем Зимний дворец, в случае если бы он опять смалодушествовал, как там, на тильзитском плоту. И он сообразил, что настоящий личный для него риск — это преждевременное

прекращение войны. Во всяком случае страшнее самой тяжелой войны был бы лично для него мир, заключенный с победившим неприятелем.

Русский царизм был, по определению классиков марксизма, жандармом Европы. После 1812 г. Александр сделал Россию общепризнанным руководителем сил мировой реакции, когда русская дипломатия деятельно старалась подавить революцию на всем земном шаре до Перу, Боливии и Мексики включительно. Но даже если мы коснемся первого времени царствования Александра, которое потом по сравнению с последним периодом стало называться «дней Александровых прекрасное начало», то и в эти годы, кончившиеся нашествием Наполеона, Александр очень охотно выступал «рыцарем без страха и упрека», борющимся за троны и алтари против дерзновенной революции. В 1805 г., летом и ранней осенью, перед началом кампании, именно Александр стремился дать войне характер всеевропейской интервенции во французские дела и окончить ее восстановлением династии Бурбонов. Так понимала вся Европа это стремление царя придать начинавшейся кампании 1805 г. огромные общеевропейские размеры. В Тильзите скрепя сердце ему пришлось от этой роли отказаться. Но когда с 1810 г. его беспокойному и порой довольно проницательному уму начало представляться, что есть возможность сбросить тильзитское иго и во всяком случае примириться с дворянской оппозицией, снова повернув руль политики в противоположную от Тильзита сторону, то Александр не мог долго колебаться. Все его прошлое, все его интимные настроения и убеждения толкали его на этот путь.

Но почему в 1810 г. стала намечаться политическая возможность такого нового поворота руля? 3

Когда в начале 1810 г. Наполеон выбирал себе невесту (из двух кандидаток), в дипломатических кругах говорили: он будет вскоре воевать с той державой, которая не даст ему своей принцессы. Анну Павловну ему не дали, Марию-Луизу Австрийскую он получил в тот же час, как ее потребовал. Но торговая буржуазия, например, гамбургское купечество, судила более оптимистично и менее проницательно: «Теперь, наконец, он прекратит свои войны, Европа обретет мир». Так толковали в Гамбурге. Представлялось, что после нового разгрома, который претерпела Австрия от Наполеона в 1809 г., и после женитьбы его на дочери австрийского императора власть французского императора на континенте Европы так укрепилась, что Англия долго не продержится и пойдет на любой мир, чтобы избавиться от ожидающего ее банкротства, которое неминуемо при дальнейшем проведении континентальной блокады. Но не так судил сам Наполеон. Для него «австрийский брак» был крупнейшим обеспечением тыла, в случае если придется снова воевать с Россией. Как и всем политическим комбинациям в этот период своего царствования, сближению с Австрией Наполеон придавал прежде всего стратегическое значение. Он ясно сознавал, что главное оставшееся дело — сокрушение Англии — немыслимо, пока балтийское, беломорское, черноморское побережья не заперты для английских товаров по крайней мере так же прочно, как береговые части Французской империи, и еще яснее он видел, что без нового и решительного разгрома русских военных сил эта цель абсолютно недостижима. Мало того, недостижима и полная обеспеченность его бесконтрольной власти над северным европейским побережьем, недостижимо покорение Испании, нельзя ждать полного отказа от всех надежд на национальное освобождение в германских странах.

И вот с 1810 г. начинается эта знаменитая политика «движущейся границы», собственно не начинается, а лишь усиливается: Наполеон простыми декретами присоединяет к своей империи новые и новые земли, наводняет прусские крепости войсками, и острие его могущества все ближе и ближе продвигается на восток, к России. В то же время усиливаются жестокие преследования против нарушителей континентальной блокады.

Безмолвие царило в устрашенной Европе.

Современники утверждали, что позднейшим поколениям очень трудно понять политическую

атмосферу тогдашней Европы. Князь П. А. Вяземский, друг Пушкина, писал впоследствии: «Наполеон… был равно страшен и царям, и народам. Кто не жил в эту эпоху, тот знать не может, догадаться не может, как душно было жить в это время. Судьба каждого государства, почти каждого лица более или менее, так или иначе, не сегодня, так завтра зависела от прихотей тюильрийского кабинета, или от боевых распоряжений наполеоновской главной квартиры. Все были как под страхом землетрясения или извержения огнедышащей горы… Никто не мог ни действовать, ни дышать свободно»4.

Присоединение Голландии к Французской империи в июне 1810 г., перевод трех французских дивизий с юга Германии на север ее, к Балтийскому морю, в августе 1810 г., посылка из Французской империи 50 тысяч ружей в герцогство Варшавское и артиллерийского полка в занятый французами Магдебург — все эти грозные признаки приближающейся новой бури русская дипломатия ставила в прямую связь с «австрийским браком» и австрийским союзом Наполеона5. Россия становилась Наполеону не нужна, его власть над Европой получала новую точку опоры в Вене.

Во второй половине 1810 г. началось уже, как выражается Нессельроде, «проведение трианонского тарифа вооруженной рукой», — и всюду в Европе запылали костры, на которых сжигались английские товары. России было предложено принять такие же меры, но русское правительство это отвергло, так как этим нарушались «независимость и интересы» России. В декабре 1810 г. Наполеон присоединил к своей империи ганзейские города — Гамбург, Бремен, Любек — и уж, кстати, всю территорию между Голландией и Гамбургом, в том числе герцогство Ольденбургское. Сестра Александра Екатерина была женой сына и наследника герцога Ольденбургского. Александр протестовал. Но Наполеон «прибавил новое оскорбление», приказав своему министру герцогу де Кадору даже не принять русской ноты протеста. Наконец, в декабре 1810 г. последовало издание нового русского тарифа, в котором повышались пошлины на предметы роскоши и на вина, т. е. как раз на товары, ввозимые в Россию из Франции.

Отношения между обоими императорами с тех пор не переставали резко ухудшаться.

Чем больше Наполеон наводнял войсками Польшу и Пруссию вопреки условиям Тильзитского мира об эвакуации их из Пруссии, чем более придирчиво и зорко наблюдал он за исполнением правил блокады, тем теснее тайные упования русского правительства связывались с Англией.

В докладе, представленном Наполеону 7 апреля 1810 г. Министром иностранных дел герцогом де Кадором, император прочел: «Британский кабинет не потерял надежды сблизиться с Россией, а также с турками, и таким путем обеспечить себе на Балтийском море, в Архипелаге и на Черном море более полезные для своих мануфактур ресурсы, чем те, которые дало бы переходящее перемирие, даже если бы оно открыло порты Франции, Германии, Голландии и Италии»6.

Герцог де Кадор опасается, что это может удаться англичанам: вокруг Александра происходит борьба «интересов»; и Англия «обещаниями, посулами выгод, соблазнительными гарантиями» может много сделать. «Продажность петербургского двора никогда не подвергалась сомнениям. Эта продажность была открытой в царствования Елизаветы, Екатерины, Павла. Если же в нынешнее царствование она не так публична, если у нас есть в России несколько друзей, недоступных английским предложениям, как, например, граф Румянцев, князья Куракины и очень небольшое число других, то не менее справедливо и то, что большинство царедворцев отчасти по привычке, отчасти из привязанности к императрице-матери, отчасти из досады на уменьшение своих доходов вследствие изменившегося денежного курса, отчасти под влиянием подкупа являются тайными сторонниками Англии».

Герцог де Кадор в этом секретном своем докладе откровенно сознается, что трудно воспрепятствовать возможному сближению Англии с Россией: «Как достигнуть перерыва на всех пунктах тайных сношений Англии и России, когда взаимные интересы, более или менее насущные, заставят оба двора возобновить эти сношения?» Нужно сказать, что этот министр Наполеона — Шампаньи, получивший титул герцога де Кадора, — был только послушнейшим орудием воли своего повелителя и свою миссию видел в том, чтобы подыгрываться и повторять все, что соответствовало страстям и мыслям императора. Так, он ставит себе в заслугу, что его предшественники стремились заключить мир с Англией, а он, герцог де Кадор, стоит за продолжение войны. А для этого нужно закончить завоевание Испании, и тогда, заперты все порты Европы. «В Кадисе, ваше величество, будете в состоянии порвать или укрепить связи с Россией». От Кадиса до Петербурга английские суда и товары никуда не должны быть допущены.

В декабре 1810 г., после опубликования нового русского тарифа, о войне между обеими империями заговорили в самых разнообразных слоях европейских народов.

В первый раз в переписке с любимой сестрой Екатериной Павловной Александр 26 декабря 1810 г. пишет: «По-видимому, кровь еще должна будет проливаться; по крайней мере я сделал все, что было человечески возможно, чтобы этого избежать». Дело идет о лишении Петра Ольденбургского (а следовательно, и сына его Георга, мужа Екатерины Павловны) его герцогства, захваченного Наполеоном. Больше он ничего не говорит в письме, но очень многозначительно прибавляет список вопросов, о которых он намерен беседовать с сестрой лично7. Он собирался тогда в Тверь, где она жила, и действительно явился туда в марте 1811 г. В этом списке вопросов почетное место занимают именно военные вопросы: устройство армии, увеличение ее численности, резервы и т. д. Если в грубом по существу и грубо обставленном захвате Ольденбурга со стороны Наполеона можно было предполагать, кроме желания обеспечить надзор за морскими берегами северной Германии, еще желание лично задеть Александра, то Александр это именно так и понял. А главное, он стал понимать, что эта провокация не обойдется без продолжения, если Наполеон уже нашел необходимым его оскорблять.

Очень многозначительный разговор имел Александр с наполеоновским послом Коленкуром в мае 1811 г. Наполеон как раз тогда сменил Коленкура именно за то, что Коленкур всецело стоял за сохранение мира с Россией и считал, что Наполеон умышленно и неосновательно придирается к царю.

Прощаясь с Коленкуром в середине мая 1811 г. (Коленкур выехал из Петербурга 15 мая), Александр сказал ему между прочим: «Если император Наполеон начнет войну, то возможно и даже вероятно, что он нас побьет, но это ему не даст мира. Испанцы часто бывали разбиты, но от этого они не побеждены, не покорены, а ведь от Парижа до нас дальше, чем до них, и у них нет ни нашего климата, ни наших средств. Мы не скомпрометируем своего положения, у нас в тылу есть пространство, и мы сохраним хорошо организованную армию. Имея все это, никогда нельзя быть принужденным заключить мир, какие бы поражения мы ни испытали. Но можно принудить победителя к миру. Император Наполеон после Ваграма поделился этой мыслью с Чернышевым; он сам признал, что он ни за что не согласился бы вести переговоры с Австрией, если бы она не сумела сохранить армию, и при большем упорстве австрийцы добились бы лучших условий. Императору Наполеону нужны такие же быстрые результаты, как быстра его мысль; от нас он их не добьется. Я воспользуюсь его уроками. Это уроки мастера. Мы предоставим нашему климату, нашей зиме вести за нас войну. Французские солдаты храбры, но менее выносливы, чем наши: они легче падают духом. Чудеса происходят только там, где находится сам император, но он не может находиться повсюду. Кроме того, он по необходимости будет спешить возвратиться в свое государство. Я первым не обнажу меча, но я вложу его в ножны последним. Я скорее удалюсь на Камчатку, чем уступлю провинции или подпишу в моей завоеванной столице мир, который был бы только перемирием». Коленкур, правда, слишком иногда идеализирует Александра. Но в данном

случае его показание весьма правдоподобно. Вообще надо иметь в виду, что мемуары Коленкура были написаны уже позже и ряд моментов мог получить ретроспективно иное освещение.

Коленкур страшился войны с Россией. Вернувшись в Париж 5 июня 1811 г., он тотчас же был принят Наполеоном и передал ему эти слова царя. Коленкур настаивал на том, что нужно пожертвовать мыслью о восстановлении Польши во имя сохранения мира и союза с Россией. Он утверждал вместе с тем, что Россия первая ни в коем случае не начнет войны. Наполеон возражал. Как всегда, и в эту свою пору Наполеон, ни одним звуком не упоминая о крестьянстве, о крепостном праве в России и т. д., стал излагать Коленкуру свои соображения: что дворянство русское — класс развращенный, гнилой, своекорыстный, недисциплинированный, неспособный к самопожертвованию и после первых же неудачных битв, после первых же шагов нашествия дворяне испугаются и заставят царя подписать мир. Коленкур категорически возражал: «Вы ошибаетесь, государь, насчет Александра и русских. Не судите о России по тому, что вам другие о ней говорят, не судите русскую армию по тому, какой ее видели после Фридланда, раздавленную и обезоруженную. Будучи под угрозой уже год, русские приготовились и укрепились; они высчитали все шансы. Они учли даже возможность своих больших поражений. Они подготовились к защите и сопротивлению до крайности». Наполеон слушал и переводил разговор на другое — на свою великую армию, неисчерпаемые средства своей мировой монархии, говорил о своей непобедимой гвардии, о том, что, сколько свет стоит, ни у одного полководца не было в распоряжении таких огромных сил, таких великолепных во всех отношениях войск. Коленкур указывал на несправедливые требования: Россия должна с полнейшей точностью выполнять тягостные и разорительные для нее условия континентальной блокады, тогда как сам Наполеон их нарушает во имя интересов казны и французской промышленности, давая лицензии, т. е. разрешения, для торговли с Англией отдельным купцам и финансистам. Наполеон пропускал мимо ушей все эти аргументы Коленкура. «Да одна хорошая битва покончит с этой прекрасной решимостью вашего друга Александра и со всеми его фортификациями, сделанными из песка», — заявил Наполеон.

Коленкур с чувством, близким к отчаянию, видел, что ему ровно ничего не удается сделать и что полная уверенность в победе, возраставшая в Наполеоне с каждым месяцем, по мере того как развертывались его грандиозные приготовления, мешает ему сколько-нибудь серьезно отнестись к опасениям и предостережениям. Русско-французские отношения были в самом деле запутаны: Александр I и главная масса дворянства в 1811 г. уже не так боялись Наполеона, как ему это было бы желательно. А Наполеон, так долго и так удачно разрубавший все гордиевы узлы политики своим мечом, не хотел понять, почему на этот раз он должен отказаться от этого способа, если его меч так силен и так остро отточен, каким еще никогда не был до сих пор. Все усилия Наполеона сосредоточивались на двух задачах: во-первых, завершить подготовку к войне так, чтобы меньше всего оставить на долю случая, чтобы сделать победу совершенно обеспеченной и неизбежной, и, во-вторых, если Россия не пойдет на все уступки и войну можно будет начать, устроить так, чтобы ответственность за войну легла на Александра, а не на него, Наполеона.

Генерал-адъютант граф Шувалов был принят Наполеоном в Сен-Клу 13 (1) мая 1811 г. «Я не хочу воевать с Россией. Это было бы преступлением, потому что не имело бы цели, а я, слава богу, не потерял еще головы и еще не сумасшедший… Неужели могут думать, что я пожертвую, быть может, 200 тысячами французов, чтобы восстановить Польшу? Впрочем, я не могу воевать: у меня 300 тысяч человек в Испании. Я воюю в Испании, чтобы овладеть берегами. Я забрал Голландию, потому что ее король не мог воспрепятствовать ввозу английских товаров, я присоединил ганзейские города по той же причине, но я не коснусь ни герцогства Дармштадтского, ни других, у которых нет морских берегов. Я не буду воевать с Россией, пока она не нарушит Тильзитский договор»8, - так начал Наполеон. Он и продолжал в таком же духе, делая вид, что не верит миролюбию Александра, и перемежая свои жалобы

угрозами: «Русские войска храбры, но я быстрее собираю свои силы. Проезжая, вы увидите двойное против вашего количество войска. Я знаю военное дело, я давно им занимаюсь, я знаю, как выигрываются и как проигрываются сражения, поэтому меня нельзя испугать, угрозы на меня не действуют». И тут же он указывает Шувалову на выгоды дружбы с ним, на выгоды тильзитской политики: «Сравните войну, которая была при императоре Павле, с теми, которые были потом. Государь, войска которого были победоносны в Италии, обзавелся после этого только долгами. А император Александр, проиграв две войны, которые вел против меня, приобрел Финляндию, Молдавию, Валахию и несколько округов в Польше».

Шувалов вынес такое впечатление, что Александру следует немедленно решать, хочет ли он мира или войны с Наполеоном.

Летом 1811 г. Александр считает войну вероятной. Переписываясь с сестрой все о том же ольденбургском событии, в котором Екатерина Павловна непосредственно была заинтересована, Александр говорит, что он смотрит на это дело безнадежно: «Чего можно разумно ожидать от Наполеона? Разве он такой человек, чтобы отказаться от приобретения, если только его не принудят силой оружия? И есть ли у нас средства силой оружия заставить его это сделать?» Но у Александра есть надежда, можно сказать, инстинктивная уверенность, что мировое наполеоновское владычество не может быть прочным: «Мне кажется более разумным надеяться на помощь от времени и даже от самих размеров этого зла, потому что я не могу отделаться от убеждения, что это положение вещей не может длиться, что страдание во всех классах как в Германии, так и во Франции столь велико, что по необходимости терпение должно иссякнуть». Правда, Александр уповает еще и на помощь божию, проявляемую в экстренных случаях путем цареубийства (конечно, не в Петербурге, а в Париже), и с большой симпатией пишет о некоем молодом человеке, который, по слухам, выстрелил недавно в Наполеона и потом застрелился. И царь надеется, что молодой человек «найдет подражателей»9. Вообще, «так или иначе это положение вещей должно окончиться», повторяет он снова.

Наконец дело дошло до открытой враждебной демонстрации. 15 августа 1811 г. с обычным торжественным церемониалом праздновался день именин Наполеона. Одним из актов этого торжества был, как всегда, парадный прием в большом тронном зале Тюильрийского дворца всех дипломатических представителей. Император сидел на троне, когда появились с низкими поклонами послы и посланники в раззолоченных мундирах, осыпанных орденскими звездами. Русский посол князь Куракин был в первом их ряду.

Наполеон сошел с трона и, подойдя к Куракину, завязал разговор. Старик Куракин, екатерининский вельможа, обладавший всеми тайнами придворного искусства, не пользовался полным доверием Александра и существовал в Париже больше для представительства. Настоящими представителями царя в Париже были скорее советник посольства Нессельроде и полковник Чернышев, чем старый князь. Но тут, на торжественной аудиенции дипломатического корпуса, конечно, фигурировал именно Куракин. При неимоверной роскоши наполеоновского двора и всей придворной и великосветской жизни в тогдашнем Париже старый екатерининский царедворец старался не ударить лицом в грязь и не уступать никому во внешнем блеске своего обихода. Разговор императора с послом очень быстро принял весьма напряженный характер. Наполеон стал обвинять царя в военных приготовлениях и в воинственных намерениях. Он объявил, что не верит, будто царь обижен на него за присоединение Ольденбурга. Дело в Польше. «Я не думаю о восстановлении Польши, интересы моих народов этого не требуют. Но если вы принудите меня к войне, я воспользуюсь Польшей как средством против вас. Я вам объявляю, что я не хочу войны и что я не буду с вами воевать в этом году, если вы на меня не нападете. Я не питаю расположения к войне на севере, но если кризис не минет в ноябре, то я призову лишних 120 тысяч человек; я буду продолжать это делать два или три года, и если я увижу, что такая система более утомительна, чем война, я объявлю вам войну… и вы потеряете все ваши польские провинции. По-видимому, Россия хочет таких же поражений, как те, что испытали

Пруссия и Австрия. Счастье ли тому причиной, или храбрость моих войск, или то, что я немножко понимаю толк в военном ремесле, но всегда успех был на моей стороне, и, я надеюсь, он и дальше будет на моей стороне, если вы меня принудите к войне». Зная, какие надежды возлагаются его противниками на Испанию, Наполеон спешит уверить Куракина, что у него со временем будет в действующей армии 700 тысяч человек, «которых будет достаточно, чтобы продолжать войну в Испании и чтобы воевать с вами». И у России не будет союзников. Тут Наполеон откровенно разоблачает, зачем он навязал Александру после Тильзита прусский Белосток, а после 1809 г. австрийский Тарнополь. «Вы рассчитываете на союзников, но где они? Не Австрия ли, у которой вы похитили в Галиции 300 тысяч душ? Не Пруссия ли, которая вспомнит, как в Тильзите ее добрый союзник Александр отнял у нее Белостокский округ? Не Швеция ли, которая вспомнит, что вы ее наполовину уничтожили, отобрав у нее Финляндию? Все эти обиды не могут быть забыты, все эти оскорбления отомстятся, — весь континент будет против вас!»

Куракин около сорока минут не мог вставить ни одного слова. Послу едва удалось промолвить, что Александр остается верным другом и союзником Наполеона. «Слова!» — возразил Наполеон и снова начал жаловаться на происки Англии, которая ссорит Россию с Францией.

Наполеон наконец предложил выработать новые соглашения. Куракин отвечал, что у него нет для этого полномочий. «Нет полномочий? Так напишите, чтобы вам их прислали».

Послы вассальной и полувассальной Европы с напряженным вниманием слушали эти долгие, публично бросаемые в лицо послу обвинения. Прием кончился. Во все концы Европы полетели известия о неминуемом нападении Наполеона на Россию.

В ноябре 1811 г. Александр уже не может себе позволить отлучиться из Петербурга, чтобы съездить к сестре: «Мы здесь постоянно настороже: все обстоятельства такие острые, все так натянуто, что военные действия могут начаться с минуты на минуту. Мне невозможно удалиться от центра моей администрации и моей деятельности; мне нужно ждать более благоприятного момента, или же война и вовсе помешает мне»10.

В конце ноября 1811 г. русский посол князь Куракин не сомневался в неизбежности нападения Наполеона на Россию и сообщал канцлеру Румянцеву о целом ряде распоряжений Наполеона по военной и административной части, которые прямо указывали на близкое начало военных действий. Мечта сохранить мир должна быть оставлена: «Не время уже нам манить себя пустою надеждою, но наступает уже для нас то время, чтоб с мужеством и непоколебимою твердостию, достояние и целость настоящих границ России защитить»11.

С Куракиным при французском дворе стали обходиться небрежно и даже просто невежливо. Старик просил инструкций на случай предстоящего разрыва и боялся быть задержанным в Париже в случае войны. 4

В начале 1812 г. Наполеону удались два казавшиеся ему очень важными, но по существу не весьма для него затруднительные дела: заключение военных союзов с Пруссией и с Австрией против России.

Король Фридрих-Вильгельм III дошел к тому времени до последней степени запуганности. Он трепетал, как осиновый лист, перед своим страшным победителем. Король приказывал своим министрам раньше, чем делал их министрами, справляться в Париже, угодны они Наполеону или не угодны. Наполеон не уводил из Пруссии войск, напротив, вводил новые, держал гарнизоны в ее крепостях, обращался с прусским королем, как с проштрафившимся фельдфебелем, унижая его по всякому поводу и даже вовсе без повода. А король Фридрих-Вильгельм III умел трусить. Это было единственное, что он умел делать. Никогда ни

один из наполеоновских маршалов или родных братьев, рассаженных Наполеоном на разные европейские престолы, не обнаруживал такого низкопоклонства, такой панической боязни перед императором, как именно прусский король.

Еще осенью 1811 г. Наполеон дал понять Фридриху-Вильгельму III, что ему предоставляется на выбор или вступить в тесный военный союз с Наполеоном для общей войны против России, или распрощаться со своей короной, так как в случае отказа маршал Даву уже имеет инструкцию занять Берлин и покончить с существованием прусского государства. Положение было очень ясное и безвыходное, особенно принимая во внимание позицию Австрии.

Дело в том, что руководитель австрийской политики Меттерних определенно решил, что Австрия должна принять участие в готовящейся войне, и именно на стороне Наполеона. В конечной победе Наполеона Меттерних тогда не сомневался и уже вперед учитывал богатые милости от французского императора. Но даже и в случае неудачи Наполеона все равно обе стороны, Россия и Франция, так будут ослаблены войной, что Австрия всегда будет в состоянии выгодно продать свою помощь тому, кому захочет. И уже 17 декабря 1811 г. в Париже между Наполеоном и австрийским послом Шварценбергом состоялось соглашение, на основании которого спустя некоторое время и был заключен франко-австрийский военный союз. Австрия обязывалась выставить против России вспомогательный корпус в 30 тысяч человек, который поступал под верховное командование Наполеона, а Наполеон соглашался вернуть Австрии Иллирийские провинции, которые он у нее отнял по Шенбруннскому миру 1809 г. Но Австрия получала эти провинции лишь после окончания войны Наполеона с Россией, и притом Австрия обязывалась уступить Галицию восстановляемой Наполеоном Польше.

Все колебания прусского короля после этого кончились. Ему было дано знать, что Наполеон, сверх всего, обещал Австрии отдать Прусскую Силезию в случае, если Пруссия не заключит с ним военного союза против России. Итак, предстояло близкое расчленение и конечная гибель государства или полнейшее подчинение его воле Наполеона. Король решился.

24 февраля 1812 г. Пруссия заключила союзный трактат с Наполеоном. Она обязалась выставить вспомогательный корпус в 20 тысяч человек, который должен был постоянно пополняться (в случае убыли) и всегда быть равным своей первоначальной численности. Пруссия также брала на себя обязательство предоставлять французским военным властям овес, сено, спиртные напитки и т. п. в определенных огромных количествах. За это прусский король выпросил у Наполеона обещание пожаловать Пруссии что-нибудь из отвоеванных русских земель. Вот что гласит этот любопытный пункт:

«В случае счастливого исхода войны против России, если, несмотря на желания и надежды обеих высоких договаривающихся сторон, эта война будет иметь место, его императорское величество (Наполеон — Е. Т.) обязуется доставить прусскому королю территориальное вознаграждение, чтобы возместить жертвы и убытки, которые (прусский. — Е. Т.) король понесет во время войны». В бумагах Михайловского-Данилевского к копии этого договора приложена интересная справка:

«По заключении союза с Францией, направленного против России, король потребовал от французского правительства в случае успешного исхода кампании уступки Курляндии, Лифляндии и Эстляндии. Когда Марэ, герцог Бассано, доложил императору о притязаниях Пруссии, Наполеон по этому поводу зло заметил: „А клятва над гробом Фридриха?“»12. Это он вспоминал о сентиментальной комедии с клятвами в вечной любви и дружбе, разыгранной Александром I, Фридрихом-Вильгельмом III и королевой прусской Луизой в октябре 1805 г. в потсдамском мавзолее.

В то, что австрийцы в самом деле будут очень серьезно сражаться против русских, не все верили. Ланжерон, спеша в Россию к началу войны, прямо писал Воронцову из Бухареста 22

мая 1812 г.: «Шварценберг командует 30 тысячами австрийцев, этот выбор мне не страшен, потому что он не ненавидит нас, и я не думаю, чтобы эти 30 тысяч много и усердно сражались бы против нас».

Но другие не были так оптимистичны.

Из «Подробной описи собственноручным письмам» Александра к Барклаю де Толли мы узнаем о намерении царя «отразить усилия Австрии против России подкреплением славянских народов и доставлением им возможности соединиться с недовольными венгерцами». Царем даже был намечен уже человек для «приведения в действие сего плана» — адмирал Чичагов13.

Самая мысль об этом основана, между прочим, на круглом невежестве насчет истинных взаимоотношений между «славянскими народами», входившими в состав Австрии, и венгерцами, но эта идея очень характерна: она показывает, что Александр в апреле 1812 г., как только узнал о договоре между Австрией и Наполеоном, отнесся с самыми серьезными опасениями к этому факту.

Итак, приходилось считаться с участием Австрии и Пруссии в предстоящей войне. Захочет Наполеон идти на Киев, — у него крепко усилен правый фланг помощью Австрии. Захочет идти на Петербург через Ригу и Псков, — у него усилен левый фланг участием Пруссии. Захочет идти на Смоленск и Москву, — пруссаки и австрийцы будут и на левом и на правом флангах оттеснять русские войска от линии центрального движения великой армии.

Положение становилось все труднее, дела принимали все более угрожающий характер. Но все равно в апреле — мае 1812 г. уже никакие уступки Александра предупредить войну не могли и даже не могли приостановить движение отдельных частей наполеоновских армий от Рейна, от Эльбы, от Дуная, от Альпийских гор, от Северного моря, медленно, но непрерывно двигавшихся к Неману.

Были налицо некоторые обстоятельства, которые поддерживали дух Александра и его приближенных. Во-первых, уже в апреле, а потом в мае Меттерних под большим секретом и окольными путями дал знать, что Австрия не весьма серьезно смотрит на свое участие в предстоящей войне. Она даже не выставит и полных 30 тысяч и вообще не пойдет дальше известных, очень близких к австрийско-русской границе пределов. Эти тайные переговоры продолжались и потом, уже во время войны: Меттерних таким путем устраивал для Австрии на всякий случай тайную перестраховку. Во-вторых, к большому своему счастью, царь удостоверился в эти весенние месяцы 1812 г., что шведы будут не на стороне Наполеона, а на стороне России, и, значит, можно будет не тратить и не раздроблять военных сил для защиты Финляндии и северных подступов к Петербургу с суши и с моря.

К началу лета объявились и еще новые благоприятные обстоятельства. 5

С первых же дней 1812 г. обе стороны уже не сомневались в близости войны. Неожиданное дело о шпионаже еще более обострило отношения.

Русское правительство узнало не все, но очень многое о французской великой армии.

Александр Иванович Чернышев, который потом был при Николае I военным министром, начинал тогда свою карьеру. Он был уже полковником и флигель-адъютантом, хотя ему было всего 28 лет. Прикомандированный к русскому посольству в Париже, Чернышев несколько раз ездил курьером с письмами Александра к Наполеону и с письмами Наполеона к Александру. Наполеону Чернышев сумел понравиться своей тончайшей лестью и уменьем подавать умно и кстати реплики в разговорах о военном деле, о чем так любил говорить французский император. Вкрадчивый царедворец, молодой блестящий красавец, абсолютно беспринципный карьерист, впоследствии жестокий палач декабристов, всегда возбуждавший

нравственное омерзение даже в видавшем всякие виды придворном окружении трех императоров, которым он успел за свою долгую жизнь понравиться, Чернышев знал, как подойти к каждому из этих трех так непохожих друг на друга людей:

к Александру, к Наполеону, к Николаю. А больше ему ничего никогда и не требовалось. Ласка Наполеона открыла Чернышеву доступ во все салоны Парижа и дала связи в верхах французской бюрократии. С начала 1811 г. Чернышев обзавелся знакомством с Мишелем, служившим в главном штабе французской армии и давно уже сносившимся с русским посольством. Каждое 1-е и 15-е число месяца французский военный министр представлял императору так называемый «Отчет о состоянии» всей французской армии со всеми изменениями в численности ее отдельных частей, со всеми переменами в ее расквартировании, с учетом всех последовавших за полмесяца новых назначений на командные посты и т. д. Эти отчеты попадали в руки Мишеля на несколько коротких часов. Мишель наскоро снимал копии и доставлял их Чернышеву за соответствующее вознаграждение. Так у них и шло дело вполне благополучно и организованно больше года, с января 1811 по февраль 1812 г. Но от императорской тайной полиции укрыться было трудно даже при всей ловкости Чернышева и всей осторожности Мишеля. Что-то показалось тайной полиции неладным, и в феврале 1812 г., когда Чернышева не было дома, у него произвели тщательный обыск, конечно неофициальный. Обыскали и одного курьера на границе. Обыски дали такие результаты, что у Наполеона уже сомнений никаких не осталось в истинной роли полюбившегося ему русского полковника. Наполеон, почти окончательно к этому времени решивший, что война с Россией неизбежна, ни в каком случае не мог и не хотел порывать с Александром теперь же. Ему необходимо было иметь в своем распоряжении еще 3–4 месяца, и материал был задержан. Чернышев после этого тайного, деликатного, но все же очень зловещего по своему значению и по своим результатам домашнего обыска предпочел не очень засиживаться на берегах Сены. Он почтительнейше откланялся в Тюильрийском дворце и уехал в Россию. Перед отъездом из Парижа он сжег все бумаги, которые могли бы дать императорской тайной полиции ответ на вопрос, неотступно стоявший перед нею со времени этого февральского ловко завуалированного обыска: измена доказана, Чернышев имел доступ к секретнейшим документам, но кто предатель? Случай дал разгадку тайны. Торопясь с отъездом, Чернышев забыл приказать поднять ковры в своих комнатах. Как только он уехал, французская полиция явилась в дом. Под одним из ковров около камина было найдено письмо, писанное рукой Мишеля, каким-то образом туда завалившееся. Мишель был немедленно арестован, судим и публично гильотинирован 2 мая 1812 г. Суд над ним и еще тремя обвиняемыми был нарочно сделан гласным: Наполеон хотел представить народу дело так, что именно Россия стремится напасть на Францию и подсылает шпионов.

Итак, хотя у русского правительства в начале войны были лишь сравнительно давние сведения — от февраля 1812 г., - но за четыре месяца эти полные и богатейшие сведения в общем не могли еще окончательно устареть. А о передвижениях и переменах, происшедших во французской армии за самое последнее время, русское командование кое-что знало от других своих агентов, помельче и незаметнее, сидевших и в Париже, и в Германии, и в особенности в Польше.

Наполеон был весьма раздражен раскрывшимся шпионажем. Министр иностранных дел герцог Бассано написал 3 марта 1812 г. очень ядовитое письмо русскому послу князю Куракину: «Его величество был тягостно огорчен поведением графа Чернышева. Он с удивлением увидел, что человек, с которым император всегда хорошо обходился, человек, который находился в Париже не в качестве политического агента, но в качестве флигель-адъютанта русского императора, аккредитованный (личным. — Е. Т.) письмом к императору, имеющий характер более интимного доверия, чем посол, воспользовался этим, чтобы злоупотребить тем, что наиболее свято между людьми. Его величество император жалуется, что под названием, вызывавшим доверие, к нему поместили шпионов, и еще в мирное время, что позволено только в военное время и только относительно врага;

император жалуется, что шпионы эти были выбраны не в последнем классе общества, но между людьми, которых положение ставит так близко к государю. Я слишком хорошо знаю, господин посол, чувство чести, которое вас отличало в течение всей вашей долгой карьеры, чтобы не верить, что и вы лично огорчены делом, столь противным достоинству государей. Если бы князь Куракин, — сказал император, — мог принять участие в подобных маневрах, я бы его извинил; но другое дело — полковник, облеченный доверием своего монарха и так близко стоящий к его особе. Его величество только что дал графу Чернышеву большое доказательство доверия, имея с ним долгую и непосредственную беседу; император был тогда далек от мысли, что он разговаривает со шпионом и с агентом по подкупу»14.

Моральное негодование Наполеона против шпионажа не мешало ему в это самое время содержать массу шпионов в России. Не помешало также уже с апреля — мая озаботиться изготовлением фальшивых русских ассигнаций для потребностей будущего похода.

Но, подготовляя все силы к нашествию, Наполеон не мог пока ускорить надвигавшийся разрыв.

Были налицо некоторые явления во внутренней жизни Франции, которые мешали Наполеону начать войну раньше. К числу этих причин прежде всего нужно отнести затруднения с хлебом, в некоторых департаментах весьма значительные. В Нормандии поднялись голодные восстания, которые приходилось подавлять оружием. Начались обширные и небывало смелые спекуляции скупщиков, наживавшихся на народном бедствии. Наполеоновская администрация не могла сразу остановить сумасшедший рост цен на хлеб. Маркс впоследствии писал, что буржуазия Франции этими своими спекуляциями способствовала задержке похода на Россию, а тем самым содействовала и конечной неудаче затевавшейся войны.

Я нашел в корреспонденции Наполеона интересное и авторитетнейшее подтверждение мысли Маркса о серьезном значении весеннего хлебного кризиса 1812 г. во Франции. Наполеоновская пресса замалчивала этот кризис, но Маркс с обычным своим чутьем исторической правды уловил из беглых указаний случайных источников истинные размеры явления. Цитируемое мною письмо еще не было опубликовано, когда Маркс сделал свое замечание. Вот что писал Наполеон своему министру мануфактуры и торговли графу Колэну де Сюсси в Париж из села Глубокого 19 июля 1812 г., в разгар русской кампании: «Я с удовольствием вижу, что трудные времена прошли; мы тогда перенесли жестокое испытание. Я этим обязан отчасти ложным сведениям, которые были мне даны министерством внутренних дел. Если бы я слушал их чиновников, я бы еще более запоздал с запрещением вывоза хлеба, и мы уже не совладали бы с кризисом»15.

В конце февраля 1812 г. тон Куракина меняется. Ему начинает казаться, что Наполеон еще не решился на воину, еще колеблется и что следует с русской стороны сделать все зависящее, чтобы избежать грозного столкновения, которого русский посол явно страшился. Но спустя два месяца, 23 апреля 1812 г., прежний пессимизм вполне овладевает Куракиным: «Все заставляет думать, что война уже давно решена в мыслях императора французов»16.

27 (15) апреля большая аудиенция была дана Куракину Наполеоном. Куракин просил об эвакуации войск из Пруссии. «Где у людей в Петербурге головы, если они думают, что можно достигнуть исполнения желаний, действуя на меня угрозами?» — воскликнул Наполеон (хотя Куракин никаких угроз не высказывал). Куракин говорил о колоссальных вооружениях Наполеона, о его «союзе» с Пруссией, явно враждебном России. Наполеон или не слушал и говорил свое, или повторял свой решительный отказ.

Именно в этой аудиенции Куракин услышал из уст самого Наполеона, что и Австрия вступила в союз с Наполеоном.

На другой день после аудиенции у императора Куракин посетил министра иностранных дел герцога Бассано. Куракин шел почти на все уступки: Россия берет назад протест по поводу герцогства Ольденбургского и начнет переговоры о компенсации в пользу герцога (от чего она до сих пор отказывалась); Россия вносит в тариф 1810 г. специальные оговорки, ставящие французскую торговлю в исключительное положение, в изъятие из правил этого тарифа. Но Россия по-прежнему требует эвакуации Пруссии во имя условий Тильзитского договора, и, наконец, Россия отстаивает свое право торговать с нейтральными державами.

Все эти переговоры уже ни к чему привести не могли. Куракин потребовал выдачи ему паспорта для отъезда. Его водили довольно долго, пока выдали требуемое. Герцог Бассано, уже после отъезда Наполеона из Парижа, все еще хотел внушить Куракину мысль, что войны, может быть, не будет. Это делалось по приказу Наполеона, который всеми мерами хотел предупредить вторжение русских войск в Варшавское герцогство или в Пруссию.

Наполеон крайне возмущался требованием эвакуации Пруссии, называл это дерзким ультиматумом, а так как он все равно уже бесповоротно решил воевать, то ухватился за этот «ультиматум» как за доказательство, что не он, а царь первый перешел в наступление. Но ему хотелось оттянуть начало войны до июня. Поэтому нужно было пустить в ход кое-какие проволочки, завести мнимые переговоры и т. д. Одновременно хорошо было бы, чтобы свой человек посмотрел, что делается в Вильне, в русской армии. И вот Наполеон призывает своего генерал-адъютанта графа Нарбонна и посылает его в Вильну.

Граф Нарбонн, видный аристократ, бывший министр Людовика XVI, был тонок и хитер. Но перехитрить Александра ему не удалось. 6

21 апреля 1812 г. Александр выехал из Петербурга к армии. В самый день его отъезда канцлер Румянцев пригласил к себе французского посла Лористона. «Он мне сказал от имени своего властелина, — пишет Лористон маршалу Даву, — чтобы я передал императору Наполеону, что и в Вильне, как и в Петербурге, он (Александр. — Е. Т.) будет его другом и самым верным его союзником; что он не хочет войны и сделал бы все, чтобы ее избежать; что его путешествие в Вильну обусловлено приближением французских войск к Кенигсбергу и предпринято затем, чтобы помешать генералам сделать какое-нибудь движение, которое могло бы вызвать разрыв»17.

Впечатления, которые вынес Нарбонн из этой разведывательной (под предлогом переговоров) поездки в Вильну к Александру, сводились к следующему18. Русская; армия ни в коем случае не начнет первая военных действий, не перейдет через Неман, не займет Мемеля, Александр не заключил никакого договора с Англией, но сделает это при первом же пушечном выстреле. Вообще, если бы повести переговоры, то Александр уступил бы по всем пунктам «за исключением одного, который считает необходимым император (Наполеон. — Е. Т.)». Во всех русских проектах наблюдается «большая неуверенность», происходящая оттого, что они не знают намерений Наполеона. По трем очень важным вопросам Нарбонн не сумел дать правильные сведения. Он полагал, что сражение будет дано немедленно после вторжения Наполеона в Россию. С Швецией, по его сведениям, еще договора у России нет, хотя Швеция, «по-видимому», против Наполеона. Наконец, он считал, что мир России с Турцией еще далек.

На самом же деле с Швецией о главном было уже договорено, и Александр имел твердую уверенность, что Бернадотт, называвшийся наследным принцем, но фактически уже бывший шведским королем, ни в коем случае не выступит против России. Мир с Турцией был заключен вскоре после того, как Нарбонн побывал у Александра. Если мы вспомним, что в конце жизни на острове Св. Елены Наполеон прямо признавал свою ошибку в том, что он пошел на Россию, несмотря на соглашение Александра с Швецией и несмотря на мир России с Турцией, то поймем, до какой степени существенно было бы Наполеону в эти решающие дни твердо знать, что эти два события несомненны и реальны. И еще не доглядел Нарбонн,

что Александр, идя на все уступки до вторжения, не сможет быть таким сговорчивым после вторжения: «Император Александр, по-видимому, готов к тому, чтобы проиграть две или три битвы, но он прикидывается, будто он решился, если понадобится, продолжать биться в Татарии»19. Мы узнаем здесь формулу, которую Александр не переставал повторять с некоторыми чисто стилистическими видоизменениями в течение всего 1812 г.

Что скрывается под намеком Нарбонна в его донесении маршалу Даву относительно неуступчивости Александра в единственном пункте, который Наполеон считает необходимым, об этом мы узнаем из инструкции, которую Нарбонн получил из Парижа перед своей поездкой: «В конце концов между нами и Россией есть единственный вопрос, который важен: это вопрос о нейтральных и об английской торговле… Американские суда, которые приходят в русские порты, это суда английские, и они плавают за английский счет». Инструкция снабжает Нарбонна аргументами, в случае если Александр будет спорить: если бы эти суда были в самом деле американскими, то Англия их преследовала бы и хватала, а не защищала бы на море, как она это делает. Это главный пункт разногласия, а относительно восстановления Польши пусть Александр успокоится: «Его величество (Наполеон. — Е. Т.) не думает о Польше. Он имеет в виду только французские интересы». Рекомендовалось Нарбонну также «не скрывать огромных сил» Наполеона: 400 тысяч человек на Висле, два корпуса в Берлине, один в Кельне, один в Майнце и «при первом пушечном выстреле» будут призваны 200 тысяч по набору будущего 1813 г. Эта инструкция, помеченная 3 мая 1812 г., уже поручает Нарбонну хорошенько высмотреть, пока он будет в России, все, что касается русской армии, политических настроений в Литве и т. д.

Интересно отметить, что Наполеон, посылая графа Нарбонна к Александру, не только имел в виду получить случайные, может быть, и очень интересные военные сведения о России и русской армии, но также рассчитывал на него еще в одном отношении: дело было в начале мая; русские силы уже были возле Немана; нужно было воспрепятствовать им первым начать военные действия. Поэтому Нарбонну поручается вести самые мирные речи. Если же это не поможет и русские перейдут через Неман, тогда он должен притвориться удивленным и все-таки вести переговоры с Александром и постараться даже заключить перемирие и вообще «добрыми словами остановить движение (русской армии. — Е. Т.) и дать его величеству (Наполеону. — Е. Т.) время прибыть на место». Приказывая составить эту инструкцию, Наполеон считал нужным дать понять своему посланцу, что собеседник у него будет не простой. «Его величество поручает мне, — пишет министр иностранных дел, — рекомендовать вам быть очень сдержанным, соблюдать меру и осторожность и не терять из виду, что вы имеете дело с человеком тонким и подозрительным». Мы видели, что опасения Наполеона оказались напрасными: Россия ни в коем случае не собиралась первой начать военные действия. Мы видели также, что весь отчет Нарбонна о свидании с Александром, пересланный им через маршала Даву Наполеону, не заставил Наполеона отказаться от вторжения. Он успокоился: война начнется, как он желал, его переходом через Неман. Русские растерянно ждут. Сейчас же после вторжения будет новый Аустерлиц.

Александр не только опасался вымолвить графу Нарбонну хоть одно слово, которое походило бы на капитуляцию перед Наполеоном, но он считал даже самое присутствие Нарбонна в Вильне компрометирующим. Нарбонн приехал в Вильну 18 мая, говорил в этот день с царем, потом 19 мая снова говорил с царем, у которого и обедал. Но 20 мая утром к нему ни с того ни с сего пришли граф Кочубей, Нессельроде и еще кое-кто из царской свиты «с прощальными визитами». Он вовсе не собирался уезжать, когда ему принесли с царской кухни много великолепных, вкуснейших съестных припасов и вин «на дорогу». Только он приготовился удивиться этой новой непрошенной любезности, как все эти странности разъяснились: к графу Нарбонну явился курьер, почтительно уведомивший его сиятельство, что лошади для него «уже готовы» и в шесть часов вечера он может уехать из Вильны.

Нарбонну оставалось только прямым путем отправиться из Вильны к Наполеону в Дрезден. После его доклада о предстоящей войне заговорили уже с абсолютной уверенностью. 7

Большинство дипломатов Европы верило в победу Наполеона. Но были налицо и такие факторы, которые если не уравнивали шансы, то все же должны были серьезно учитываться обеими сторонами.

Во-первых, Испания. Правы были те современники, которые утверждали, что начиная с 1808 г. Наполеон всегда мог бороться лишь одной рукой, потому что значительная часть сил оставалась в Испании. Вдумаемся хотя бы в тот факт, что когда Наполеон подошел к Бородину, то вся бывшая при нем армия была вдвое меньше той его армии, которая тогда же, осенью 1812 г., дралась и погибала в Испании.

Среди перехваченных в 1812 г. у французов бумаг была одна, относившаяся к 1810 г., доносившая Наполеону о бесконечной резне в Испании: «У Франции более 220 тысяч войска в Испании, а французы господствуют только в тех пунктах, где стоят их войска. Не заметно никакого улучшения в общественном мнении; никакой надежды на успокоение умов, на привлечение вождей, на покорение народа. Новые силы еще идут к Пиренеям… 300 тысяч человек будут еще пущены в ход и, может быть, погибнут в этой губительной войне. И, по мнению людей самых осведомленных, самых преданных, наиболее решившихся содействовать целям императора, ему не удастся покорить полуостров со всеми силами своей империи»20.

Так обстояло дело и в 1808 и в 1810 гг., так оно было и в 1812 г.

Вторым обстоятельством, менее важным по существу, чем «испанская язва», но тоже облегчавшим положение России, был неожиданный поворот в шведской политике. Наполеоновский маршал Бернадотт (князь Понте-Корво) был избран наследным принцем шведским. Любопытно, что в Швеции его избрали в 1810 г., думая этим угодить Наполеону, хотя на самом деле эти два человека уже давно не терпели друг друга и Наполеон был только раздражен, когда это избрание состоялось. Умный, ловкий, смелый, честолюбивый Бернадотт, как и многие другие маршалы Наполеона, начал службу в маленьких чинах в начале Французской революции, и когда он в 1844 г. скончался (уже будучи королем шведским, Карлом XIV), то, к величайшему конфузу всего шведского двора, при его бальзамировании на его руке оказалась вытравленная надпись: «Смерть королям!» Очевидно, он не предвидел, что ему суждено будет сделаться основателем королевской династии.

Бернадотт сейчас же после появления своего в Швеции начал сближаться с Александром. В этом ему помогала и значительная часть шведской аристократии, возмущенная самоуправством Наполеона, который простым распоряжением отнял у Швеции так называемую шведскую Померанию, которой шведы владели с XVII в. Александр обещал также способствовать Швеции в приобретении Норвегии21.

Для России запастись нейтралитетом, а особенно дружбой и союзом с Швецией было поистине очень важно. Слишком живо стояло у всех в памяти, как в 1790 г., в разгар войны с турками, неожиданно в Финском заливе появился шведский флот и в Петербурге был слышен грохот морской артиллерии.

Бернадотт, наследный принц шведский, уже давно забыл, что он был когда-то наполеоновским маршалом, и никогда не вспоминал, что он был когда-то солдатом Французской революции. Для него Александр был другом, Наполеон — врагом, правда, очень сильным, но все-таки не таким опасным, каким мог бы стать Александр. От Наполеона Швецию охраняло море, на котором, как и на всех морях вообще, господствовали англичане. А от Александра, да еще после присоединения Финляндии к России, Бернадотта ничто не охраняло. И Бернадотт занял решительно дружескую позицию по отношению к России еще весной 1812 г. Бернадотт знал, что Наполеон очень раздражен этим. Он предупреждал русского посланника в Стокгольме Сухтелена, что и ему, Бернадотту, и Александру грозит

смерть от подосланных из Парижа убийц. Однако Бернадотт предлагал уже наперед военную помощь России, если русские дела пойдут очень плохо22.

Много помог делу сближения России с Швецией один из самых близких в это время к Александру людей — Армфельд. Энергичный; очень неглупый, страстно ненавидевший Наполеона, перекочевавший к русскому двору и необычайно быстро сблизившийся с Александром, швед Армфельд играл в Петербурге перед взрывом войны 1812 г. очень большую роль. Что он очень много способствовал важному соглашению между Россией и Швецией — и подготовке этого дела и завершению его, — это признали оба шведских представителя в 1811 и 1812 гг. (Шенбуш, а за ним его преемник в петербургском дипломатическом корпусе Левенгольм). Армфельд, подталкивая Александра к разрыву с Наполеоном, в то же время не скрывал от себя слабых сторон всего русского государственного организма: «Я веду открытую войну с господами министрами насчет всего, что касается администрации, финансов и таможни… Надо быть здесь, на месте, надо войти в постоянные сношения со здешними чиновниками, чтобы удостовериться в том, как страна эта отстала от остального мира; русские чиновники, это собрание медведей, или полированных варваров. Фридрих II говорил, что Швеция на сто лет отстала от века; Россия, по-моему, отстала на тысячу лет, — так писал он в доверительных письмах из Петербурга. — В России не существует законов, которым бы подчинялись»23.

Армфельд, замечу тут же, деятельнейшим образом вел интригу против Сперанского и способствовал больше всех внезапной немилости и ссылке Сперанского.

26 (14) апреля 1812 г. в г. Эрсбро, в Швеции, была вполне закончена эта крайне важная дипломатическая миссия: русский посланник Сухтелен и шведский наследный принц Бернадотт обменялись ратификацией соглашения. Отныне Россия могла не бояться внезапного нападения с севера, когда ей придется бороться с Наполеоном на западной границе или в центре, на московских путях.

Третьим благоприятным для России обстоятельством был мир с Турцией.

Поездка графа Нарбонна в Вильну имела довольно неожиданные последствия, и притом крайне вредные для Наполеона, на другом конце Европы, в Бухаресте, где в это время шли мирные переговоры между Турцией и Россией Русским уполномоченным был Кутузов, турецким — великий визирь. Кутузов изо всех сил спешил подписать мир, который освободил бы русскую дунайскую армию и позволил бы ей вовремя явиться между Днепром и Неманом для участия в грозной битве. Турки после шестилетней войны с Россией были истощены, но все-таки еще могли держаться, тем более что знали о готовящемся нападении на Россию со стороны Наполеона. Если что смущало великого визиря, то разве лишь опасение, что никакой войны между Россией и Наполеоном не будет, что состоится примирение, и тогда Россия все силы направит на Турцию. При этих условиях Кутузов очень ловко использовал известие о поездке Нарбонна в Вильну: турки удостоверились, что дело идет именно к примирению России с Наполеоном, потому что зачем бы иначе Наполеону было снова начинать переговоры с царем. 22 мая в Бухаресте был подписан мир между Россией и Турцией, и мир, довольно выгодный для России: границей была объявлена река Прут, Бессарабия оставалась за Россией, на Кавказе «исправлялась граница» тоже в пользу России.

От Молдавии и Валахии Россия отказывалась, и обе провинции оставались в руках Турции. Но самое главное, бесценное преимущество этого Бухарестского мира заключалось в том, что освобождалось несколько десятков тысяч русских солдат, воевавших против Турции; теперь их можно было направить на русско-австрийскую границу против австрийского вспомогательного корпуса Шварценберга, который должен был вторгнуться в Россию одновременно с войсками самого Наполеона. Неожиданно быстро последовавшее

подписание русско-турецкого мира сильно подрывало ценность австрийской помощи Наполеону. Наполеон был в ярости, называл турок болванами, и это еще был один из самых вежливых эпитетов, которыми он их награждал после Бухарестского мира.

Таковы были те сравнительно благоприятные условия, которые, казалось, давали России надежду на успешность обороны от страшного противника. Но все-таки в Петербурге при дворе, в высшем дворянстве царило смятение.

Мы можем лишь в общих чертах восстановить картину этих настроений, потому что знаем о них больше всего от иностранцев. Русские современники мало писали об этом, а русские историки долгое время считали своим долгом давать вместо правдивого беспристрастного анализа какую-то торжественно-театральную постановку с целью возвеличения патриотического духа именно в «высших» классах русского общества в годину нашествия. На самом же деле и Бернадотт в Швеции, и германские монархи, и датский двор получали одно донесение за другим от своих официальных представителей и неофициальных наблюдателей, и все эти донесения подчеркивали, что и сам царь обеспокоен в высшей степени и, главное, вокруг него раздражены и встревожены очень многие. Одни думают — и их меньшинство, — что царь погубил Россию, рассорившись с Наполеоном, а другие — и этих большинство — являются непримирнмейшими врагами Наполеона, сочувствуют надвигающейся войне, но почти единодушно считают, что Александру не справиться с идущей на Россию грозой и что хорошо бы царя как-нибудь устранить за его ненадобностью и слабостью и заменить кем-нибудь более подходящим. Иностранцы (швед Левенгольм например) ушам своим не верили, слушая все пересуды и раздраженные речи, громко, как ни в чем не бывало, произносившиеся в петербургских аристократических салонах весной 1812 г.

Сперанский был брошен царем на съедение именно этим влиятельным аристократам, видевшим слабость царя и подозревавшим царя в том, что он может в решительный момент струсить и снова покориться Наполеону. Мнимая «измена» ненавистного дворянству Сперанского, считавшегося приверженцем союза с Наполеоном, была выдуманным поводом к расправе с государственным секретарем. Но ссылка Сперанского не- обезоружила тех, кто продолжал не доверять царю. Тот же Левенгольм подчеркивает, что сам царь знает, до какой степени ему не доверяют.

При этих-то настроениях Александр неожиданно выехал со своей свитой в Вильну, к армии. Спасался ли он от раздражающих и угнетающих петербургских нареканий и сплетен? Считал ли, что этот отъезд к армии положит конец дворянским опасениям, будто он, царь, уже готов смириться? Во всяком случае на первых же порах ему пришлось в Вильне принять нежданно-негаданно наполеоновского генерал-адъютанта графа Нарбонна и перед лицом всей Европы провозгласить в последний раз — это он понимал очень хорошо — свое отношение к назревающим событиям. Мы уже видели чем окончилась поездка Нарбонна в Вильну.

С очень смешанными чувствами дворянство России следило за приближением страшной грозы. Тут была и радость, что порвано с «тильзитским рабством», что конец разорительной континентальной блокаде, конец подозрительным антидворянским новшествам Сперанского, тут был и страх перед грозным, непобедимым завоевателем, — и в то же время какая-то инстинктивная уверенность в победе.

С поразительной проницательностью старый граф Воронцов, русский посол в Лондоне, за три недели до перехода Наполеона через Неман предсказывает исход войны. Если бы не пожелтевшая бумага, рыжие чернила и другие несомненные признаки, то положительно можно было бы усомниться в подлинности этого документа.

«Вся Европа ждет с раскрытыми глазами событий, которые должны разыграться между

Двиной, Днепром и Вислой. Я боюсь только дипломатических и политических событий, потому что военных событий я нисколько не боюсь. Даже если начало операций было бы для нас неблагоприятным, то мы всё можем выиграть, упорствуя в оборонительной войне и продолжая войну отступая. Если враг будет нас преследовать, он погиб, ибо чем больше он будет удаляться от своих продовольственных магазинов и складов оружия и чем больше он будет внедряться в страну без проходимых дорог, без припасов, которые можно будет у него отнять, окружая его армией казаков, тем больше он будет доведен до самого жалкого положения, и он кончит тем, что будет истреблен нашей зимой, которая всегда была нашей верной союзницей»[24]. И когда уже началось отступление русских армий, старый граф пишет новое письмо своему сыну Михаилу Семеновичу Воронцову, генерал-майору в багратионовских войсках, убеждая русских военачальников не падать духом: «пусть имеют терпение», «пусть не падают духом из-за нескольких поражений», «нужно иметь упорство и твердость Петра Великого». Уже то именно, что старый граф собственноручно писал эти письма, а не диктовал их, не желая, по-видимому, чтобы в Лондоне узнали, о чем он пишет сыну, показывает все значение, которое он придавал своим советам. Он явно страшился, как бы царь не пал духом, и, разумеется, хотел, чтобы его сын довел до сведения Александра эти советы.

Но далеко не все ему подобные сохранили его уверенность, когда узнали о вторжении. Правда и то, что, сидя в Лондоне, легче было сохранить хладнокровие, чем сидя в Вильне. 8

19 мая 1812 г. утром Наполеон с императрицей, сопутствуемый частью императорскогв двора, выехал в Дрезден. Говорилось, что он едет в Дрезден для смотра великой армии на Висле, но все знали, что он едет на войну с Россией. Бесконечный поезд императорских карет быстро двигался через Германию на Майнц, Вюрцбург, Бамберг. Знаки рабского почтения и полной покорности встречали императора. Вассальные германские государи без шляп, согнувшись в три погибели, приветствовали императора на его остановках, но население тихо и молчаливо теснилось по пути, и в громадной свите императора кое-кто успел приметить угрюмые взгляды исподлобья. Наполеон и сам в свои светлые минуты не мог не сознавать, что не лжет его верный генерал Рапп, командующий в Данциге и доносящий о всеобщей ненависти немцев к завоевателю. Германия 1812 г. уже не была той, которую раздавил Наполеон в 1806–1807 гг. и которую продолжал топтать в 1808, 1809 и в следующие годы. С внешней стороны, казалось, перемен не было никаких. Правда, уже в 1809 г., когда Наполеон был занят войной с Австрией, на севере Германии произошли одна-две отчаянные попытки восстания, но они не нашли поддержки и тотчас же были затоплены в крови. С тех пор французский гнет уже не встречал организованного отпора. В 1810 г. Наполеону вздумалось присоединить к империи ганзейские торговые города и уже заодно все побережье Северного моря от Голландии. Сказано — сделано. Вздумалось произвести еще кое-какие аннексии — сделано. Вздумалось наводнить Пруссию войсками, несмотря на полный мир с нею, — сделано. Но в эти годы происходили большие сдвиги в жизни германского народа. Былые симпатии, возбужденные введением Наполеоновского кодекса, тускнели и исчезали, и чисто захватнический, грабительский, империалистский характер наполеоновских завоеваний делался для большинства очевидным. Германия должна быть колонией для сбыта французских товаров; германская промышленность есть враг французской промышленности и поэтому должна быть стеснена. Германский народ должен управляться наполеоновскими наместниками вроде короля Жерома Бонапарта, которому была отдана вся центральная и часть северной Германии (Вестфальское королевство), или вроде баварского или саксонского королей, или князей Рейнского союза, или же на германских престолах должны сидеть запуганные рабы из прежних династий вроде Фридриха-Вильгельма III в Пруссии. Наполеон уже знал о пробуждении глухого протеста в Германии, о появлении Тугендбунда, организации патриотически настроенных студентов. Подозрительным оком он глядел на это, но испугать его начинавшееся движение не могло.

И уже во всяком случае теперь, в мае 1812 г., двигаясь триумфатором по Германии,

ежедневно догоняя и перегоняя свои бесчисленные войска, устремляющиеся к востоку, чувствуя себя в полном смысле слова диктатором европейского континента, Наполеон мог еще с досадой вспомнить об испанских оборванцах, которые осмеливаются презирать все его могущество и нисколько не расположены сдаваться, но тревожиться тем, что студенты в Лейпциге или Геттингене поют в тавернах патриотические песни, или тем, что какой-то ему тогда неизвестный профессор Фихте читает подозрительные лекции, Наполеон счел бы в этот момент смешным. Короли, герцоги, князья Германии соперничали в лести и низкопоклонстве и мечтали лишь о том, чтобы властелин дозволил им отправиться в Дрезден, куда он сам устремлялся. Когда в 1810 г. в парижском соборе Нотр-Дам праздновалась вторично свадьба Наполеона с Марией-Луизой (в первый раз эта церемония происходила в Вене, причем Наполеона «по доверенности» замещал в церкви его маршал Бертье), то шлейф Марии-Луизы несли одновременно пять королев, и тогда в Европе исподтишка острили, что короли завидуют королевам и горюют, что у самого Наполеона нет тоже шлейфа, который можно было бы за ним нести общими усилиями. Теперь, весной 1812 г., подобострастие, запуганность, низкопоклонство проявлялись еще более постыдно, чем в 1810 г.

Король и королева саксонские выехали из Дрездена далеко навстречу приближавшемуся Наполеону.

Гремели пушечные салюты, шпалеры войск и толпы народа запрудили все площади и улицы, когда повелитель Европы въехал в столицу вассальной Саксонии.

В Дрезден прибыл на поклонение своему всемогущему зятю также император австрийский Франц I вместе со своей женой. Король прусский специально просил у Наполеона разрешения также явиться в Дрезден, и когда Наполеон всемилостивейше разрешил, король мигом явился.

Наполеон держал себя с ними в Дрездене милостиво. Правда, все эти монархи при разговоре с ним почтительно обнажали голову, а он оставался в шляпе, иногда он забывал пригласить их сесть, не всем и не сразу давал руку, но на эти мелочи принято было внимания не обращать. В общем же он был благосклонен, ни на кого из них не кричал, никого не лишил престола, и вернулись они по своим столицам из Дрездена благополучно.

Эти дрезденские торжества, этот огромный съезд вассальных монархов — все это имело смысл грандиозной антирусской демонстрации. Здесь-то и услышал Наполеон доклад графа Нарбонна, прискакавшего из Вильны в Дрезден.

Простившись со своими коронованными вассалами, оставив Марию-Луизу и весь свой двор в Дрездене, Наполеон выехал к великой армии, несколькими потоками устремлявшейся к Неману. Он держал путь на Познань, Торн, Данциг, Кенигсберг, Инстербург, Гумбинен. На рассвете 21 июня он прибыл в местечко Вильковышки, в нескольких километрах от Немана. 22 июня по его приказу началось движение от Вильковышек к реке. В авангарде великой армии шел 3-й полк конных егерей.

Есть с десяток различных показаний о численности великой армии, перешедшей через Неман. Наполеон говорил о 400 тысячах человек, барон Фэн, его личный секретарь — о 300 тысячах, Сегюр — о 375 тысячах, Фезанзак — о 500 тысячах. Цифры, даваемые Сент-Илером (614 тысяч) и Лабомом (680 тысяч), явно принимают во внимание и резервы, оставшиеся в Германии и в Польше. Большинство показаний колеблется между 400 и 470 тысячами. Цифра 420 тысяч — цифра, на которой останавливаются чаще всего показания, говорящие именно о переходе через Неман; 30 тысяч австрийцев корпуса Шварценберга в войне участвовали, но через Неман не переходили. В главных силах Наполеона числилось около 380 тысяч человек, на обоих флангах (у Макдональда на северном, рижском, направлении и у Шварценберга на южном) — в общей сложности 60–65 тысяч.

Затем в течение июля и августа на русскую территорию было переброшено еще около 55 тысяч человек, наконец, уже в разгаре войны, еще корпус маршала Виктора (30 тысяч человек) и для пополнения потерь маршевые батальоны (около 70 тысяч человек).

О составе этой армии и ее особом характере я говорю в следующей главе. Здесь отмечу лишь, что большинство показаний современников и очевидцев сходятся на том, что настроение большей части армии в момент перехода через Неман было бодрое. В победе мало кто сомневался, а люди повосторженнее говорили вслух об Индии, куда они пойдут после победы над русскими, о золотых слитках и кашемировых тканях Дели и Бенареса.

Наполеон мчался между бесконечными движущимися шпалерами своих войск, окруженный свитой, нагоняемый эстафетами и курьерами, диктуя и рассылая приказы, обгоняя корпус за корпусом, торопя начатое.

Полумиллионная армия мельком, мимолетно видела тучную приземистую фигуру в сером сюртуке и треугольной шляпе, устремляющуюся к востоку то в карете, то на арабской лошади таким аллюром, каким не могли, конечно, передвигаться кавалерийские массы, и это мимолетное для каждого отряда великой армии видение, как передают в своих воспоминаниях очевидцы, возбуждало тогда во многих самое страстное и неутолимее любопытство. Куда он гонит эту несметную вооруженную массу? Каковы точные цели этого человека, воля которого царит над Европой?

Если, говоря об Александре, мы должны были сделать оговорку и подчеркнуть, что он менялся и в 1812 г. был не таким, каким был раньше или позже, то не в меньшей степени это следует учитывать, анализируя Наполеона.

Еще с первой своей большой войны — завоевания Италии в 1796 г. — Наполеон, по собственным словам, «разучился повиноваться» — повиноваться людям. Но с 1807 г., с Тильзита, он стал терять способность повиноваться также обстоятельствам и считаться с ними. «Я теперь все могу», — сказал он вскоре после Тильзита своему брату Люсьену. Политика? Политику, по его мнению, делают большие батальоны, а у кого же больше батальонов, чем у него? Экономика? Ее тоже он думает сломить большими батальонами: нужно только завоевать Европу и подчинить окончательно Россию, и ни одного килограмма товаров англичане нигде не продадут, обанкротятся и задохнутся. Люди — дети и рабы, и с ними можно делать что угодно, а их цари и короли не только рабы, но и лакеи и всегда будут лизать руку, которая их бьет, и всегда предпочтут роль наполеоновских приказчиков и главноуправляющих его владениями и поместьями всякой другой роли, пока, опять-таки пока, «большие батальоны» будут в распоряжении и грозного барина.

Было, правда, одно непонятнейшее исключение, над которым давно уже с недоумением останавливался Наполеон, — это Испания. Испанцы плюют на французских офицеров, ведущих их на расстрел. Наполеон поставил перед ними дилемму: покорность или смерть, но испанцы плюют и на смерть. Тогда, именно потому, что он уже разучился считаться с обстоятельствами, еще вовсе не добившись завоевания Испании, зная, что ему придется, начиная войну с Россией, оставить в Испании больше 200 тысяч отборного войска, — Наполеон решил… вербовать насильно этих самых испанцев в великую армию, направляющуюся к Неману. Мы увидим дальше, что из этого вышло.

Это лишь один из показателей того, какой сдвиг произошел к 1812 г. в психологии Наполеона. Мудрено ли, что он до конца дней никак не мог понять всей исторической невозможности того, что он стал считать вполне достижимой целью? Мудрено ли что когда уже все было кончено, он в доверительных беседах на острове Св. Елены продолжал считать, очевидно, очень скромным и безобидным свой идеал (точнее то, что он на острове Св. Елены находил целесообразным выдавать за свой идеал): удайся поход 1812 г., он, Наполеон, совсем успокоился бы, уже не воевал бы, объезжал бы свои владения, помогал бы страждущим,

наводил бы порядок и справедливость и т. д. Словом, абсолютная его власть над Европой — это было, так сказать, программой-минимум, которую он до конца жизни считал еще очень скромной и умеренной!..

На самом деле в июне 1812 г. по пути от Дрездена до Вильковышек, сделав только что в Дрездене генеральный смотр своим низкопоклонным трепещущим вассалам, приветствуемый восторженными кликами французских частей своей полумиллионной армии на всем пути, Наполеон мечтал о несравненно большем, но не говорил своей армии того, что сказал в доверительной беседе графу Нарбонну. И эта таинственность оставляла в душе тех, кто спустя многие годы вспоминал об этом времени, самое сильное и волнующее впечатление. Офицерство знало, что на этот раз даже чины императорского штаба, даже маршалы получили лишь самые краткие, самые общие инструкции и что основная цель войны толкуется чуть ли не каждым маршалом по-своему и по-разному. Ни в одной из бесчисленных войн Наполеона этого ощущения полной неизвестности и загадочности затеянного дела у армии не было. Когда спустя шесть недель в Витебске граф Дарю осмелился в глаза Наполеону сказать, что никто во французской армии не понимает, зачем ведется эта война, то он был совершенно прав, и недаром Наполеон промолчал тогда. И все-таки теперь, когда несметные силы стройными блестящими рядами двигались к Неману, даже и неизвестность манила.

Если мы спустя 130 лет, зная все то, чего не знали современники, попытаемся восстановить и точно сформулировать цели Наполеона, то при всех усилиях законченный, логический и твердо обоснованный ответ не получится, а только простое сопоставление нескольких одинаково достоверных и часто противоречащих одно другому высказываний единственного лица, которое могло бы этот ответ дать. Вот приезжает в Дрезден из Вильны граф Нарбонн. Император Наполеон немедленно его принимает и выслушивает. Так как Нарбонн именно затем и посылался в Вильну, чтобы из его миссии ничего не вышло, то император переходит к более для него интересному предмету разговора. «Теперь пойдем на Москву, а из Москвы почему бы не повернуть в Индию? Пусть не рассказывают Наполеону, что от Москвы до Индии далеко! Александру Македонскому от Греции до Индии тоже было не близко, но ведь это его не остановило? Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва… Предположите, Нарбонн, что Москва взята, Россия повержена, царь пошел на мир или погиб при каком-нибудь дворцовом заговоре, и скажите мне, разве невозможен тогда доступ к Гангу для армии французов и вспомогательных войск, а Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы это здание меркантильного величия Англии обрушилось». Значит, основные объекты начинающейся войны — Москва и Индия? Но нет! Тут же, в те же дни, Наполеон говорит, что царь вынуждает его к войне своим «ультиматумом» (об очищении Пруссии от французских войск), что цель войны — образумить царя и отклонить его от возможного сближения с Англией и что эта война чисто «политическая», т. е. затевается для определенной дипломатической цели; едва эта цель будет достигнута, Наполеон готов будет мириться. Такая же сбивчивость, такие же разноречия и в определении ближайшей стратегической цели: завоевать Литву и Белоруссию и на этом кончить кампанию 1812 г. и в Витебске ждать просьбы царя о мире? Или идти на Москву и тут ждать этой просьбы? Есть положительные высказывания Наполеона и о первом варианте и о втором. Мудрено ли, что великая армия от маршалов до кашеваров не знала, зачем ее ведут в Россию, когда сам император в точности никак не мог сформулировать ответа на этот вопрос.

Впоследствии, в ноябре 1812 г., в боях под Красным, казаки отбили часть обоза маршала Даву, и среди других бумаг и планов там оказались карты Турции, Средней Азии и Индии, «так как Наполеон проектировал нашествие на Индостан сделать одним из условий мира с Александром». Это обстоятельство подтвердил в разговоре с английским генералом Вильсоном сам Александр, утверждая, что, отвергнув мир с Наполеоном, он, царь, спас для англичан Индию…25.

Армия Наполеона прошла Германию и вскоре вошла в Польшу. «Освобождение» Польши было одним из лозунгов, но на самом деле это было лишь одной из обстановочных деталей начинающейся войны. Польша прежде всего должна была быть резервом для пополнения новыми рекрутами великой армии. А что дальше с ней сделает Наполеон, в самом ли деле подарит ей русскую Литву и Белоруссию, это видно будет. Обязательств на себя Наполеон никаких не брал.

Прибыв в помещичий дом в Вильковышках, Наполеон написал 22 июня воззвание к великой армии: «Солдаты, вторая польская война начата. Первая кончилась во Фридланде и Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву. Она не хочет дать никакого объяснения своего странного поведения, пока французские орлы не удалятся обратно через Рейн, оставляя на ее волю наших союзников. Рок влечет за собой Россию, ее судьбы должны совершиться. Считает ли она нас уже выродившимися? Разве мы уже не аустерлицкие солдаты? Она нас ставит перед выбором: бесчестье или война. Выбор не может вызвать сомнений. Итак, пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию. Вторая польская война будет славной для французского оружия, как и первая. Но мир, который мы заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы».

Это воззвание и было объявлением войны России: никакого другого объявления войны Наполеон не сделал. 23 июня Наполеон и со свитой и один ездил по берегу Немана. Строились три моста, постройка третьего закончилась в 12-м часу ночи с 23 на 24 июня. Четвертый мост, около Ковно, также мог быть использован для переправы.

В ночь на 24 июня 1812 г. Наполеон приказал начать переправу. Жребий был брошен.

«В первом часу пополуночи за рекой Неманом можно было слышать постоянный и необычайный шум и движение. Весь город слышал это, и несомненно все догадывались, что такое движение производил марш большого войска; был слышен бой барабанов и несколько ружейных выстрелов выше Ковно… Совершенно неожиданно в шестом часу утра авангард войск французских и польских вошел в город и выстроился на плацу»26, — так узнало Ковно о вторжении Наполеона. Всю ночь с 24 на 25 июня, весь день и ночь, 25, 26, 27 июня четырьмя непрерывными потоками наполеоновская армия по трем новым мостам и четвертому старому — у Ковно, Олитта, Мереча, Юрбурга — полк за полком, батарея за батарей, непрерывным потоком переходила через Неман и выстраивалась на русском берегу.

«Мой друг, я перешел через Неман 24-го числа в два часа утра. Вечером я перешел через Вилию. Я овладел городом Ковно. Никакого серьезного дела не завязалось. Мое здоровье хорошо, но жара стоит ужасная»27, - таково было первое известие о начале великой войны, которое Наполеон послал из Ковно императрице 25 июня 1812 г.

«В день 12(24) июня 1812 г. восстала жестокая буря: Наполеон, почитающий себя непобедимым и думая, что настало время снять с себя личину притворства, прервал все переговоры, доселе продолжавшиеся, дабы выиграть время… Шестнадцать иноплеменных народов, томящихся под железным скипетром его властолюбия, привел он на брань против России»28, - писал Барклай де Толли.

Наполеон стоял у одного из мостов, здороваясь с бесконечно проходившими полками. Перейдя со старой гвардией через реку, он без свиты помчался к соседнему лесу.

Нигде никого не было. Пустынные поля, песок, лес и опять лес, тянущийся, сколько может охватить глаз. Мертвое молчание, ни души, ни признаков человеческого жилья, по всему горизонту угрюмая, темная, беспредельная лесная гуща — таковы были первые впечатления

великой армии на русской территории.

Глава II

От вторжения Наполеона до начала наступления великой армии на Смоленск

1

В Вильне, поздно вечером 24 июня Александр узнал на балу, данном в его честь, о переходе Наполеона через русскую границу. На другой день, 25 июня, в десять часов вечера он призвал бывшего в его свите министра полиции Балашова и сказал ему: «Ты, наверно, не ожидаешь, зачем я тебя позвал: я намерен тебя послать к императору Наполеону. Я сейчас получил донесение из Петербурга, что нашему министру иностранных дел прислана нота французского посольства, в которой изъяснено, что как наш посол князь Куракин неотступно требовал два раза в один день паспортов ехать из Франции, то сие принимается за разрыв и повелевается равномерно и графу Лористону просить паспортов и ехать из России. Итак, я хотя весьма слабую, но вижу причину в первый еще раз, которую берет предлогом Наполеон для войны, но и та ничтожна, потому что Куракин сделал это сам собой, а от меня не имел повеления». Александр прибавил: «Хотя, впрочем, между нами сказать, я и не ожидаю от сей посылки прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит новым доказательством, что начинаем ее не мы». В два часа ночи царь вручил Балашову письмо для передачи Наполеону и велел на словах в разговоре с французским императором прибавить, что «если Наполеон намерен вступить в переговоры, то они сейчас начаться могут, с условием одним, но непреложным, т. е. чтобы армии его вышли за границу; в противном же случае государь дает ему слово, докуда хоть один вооруженный француз будет в России, не говорить и не принять ни одного слова о мире».

Балашов выехал в ту же ночь и уже на рассвете прибыл к аванпостам французской армии в местечко Россиены. Французские гусары проводили его сначала к Мюрату, а потом к Даву, который весьма грубо, невзирая на протест, отнял у Балашова письмо Александра и послал его с ординарцем к Наполеону. На другой день Балашову было объявлено, чтобы он передвигался вместе с корпусом Даву к Вильне. Только 29 июня, Балашов попал, таким образом, в Вильну, а на другой день, 30 июня, к нему пришел камергер Наполеона граф Тюренн, и Балашов явился в императорский кабинет. «Кабинет сей был та самая комната, из которой пять дней тому назад император Александр I изволил меня отправить»1.

Для изложения беседы Балашова с Наполеоном у нас есть только один источник — рассказ Балашова. Но, во-первых, записка Балашова писана им явно через много лет после события, во всяком случае уже после смерти Александра I, может быть, даже незадолго до смерти самого Балашова;

на обложке рукописи было написано: «29 декабря 1836 года», а Балашов скончался в 1837 г. Во-вторых, придворный интриган и ловкий карьерист, министр полиции, привыкший очень свободно обходиться с истиной, когда это казалось кстати, Александр Дмитриевич Балашов явственно «стилизовал» впоследствии эту беседу, т. е. особенно свои реплики Наполеону (о том, что Карл XII выбрал путь на Москву через Полтаву; о том, что в России, как в Испании, народ религиозен, и т. п.). Это явная выдумка. Не мог Наполеон ни с того ни с сего задать Балашову совершенно бессмысленный вопрос: «Какова дорога в Москву?» Как будто в его штабе у Бертье давно уже не был подробно разработан весь маршрут! Ясно, что Балашов сочинил этот нелепый вопрос, будто бы заданный Наполеоном, только затем, чтобы поместить — тоже сочиненный на досуге — свой ответ насчет Карла XII и Полтавы. Точно так же не мог Наполеон сказать: «В наши дни не бывают религиозными», потому что Наполеон много раз говорил, что даже и во Франции много религиозных людей, и в частности он

убежден был в очень большой религиозности и в силе религиозных суеверий именно в России. А выдумал этот вопрос сам Балашов опять-таки исключительно затем, чтобы привести дальше свой тоже выдуманный ответ, что, мол, в Испании и в России народ религиозен. С этими оговорками и отбросив выдумки, можно все-таки принять на веру почти все, что Балашов приписывает в этой беседе самому Наполеону, потому что это вполне согласуется с аналогичными, вполне достоверными высказываниями Наполеона в другое время и в беседах с другими лицами.

У Балашова было два свидания с Наполеоном в этот день, 30 июня 1812 г.: одно — тотчас после императорского завтрака, второе — за обедом и после обеда. «Мне жаль, что у императора Александра дурные советники, — так начал Наполеон. — Чего ждет он от этой войны? Я уже овладел одной из его прекрасных провинций, даже еще не сделав ни одного выстрела и не зная, ни он, ни я, почему мы идем воевать». Балашов отвечал, что Александр хочет мира, что Куракин по своей воле, никем не уполномоченный, потребовал свой паспорт и уехал и что никакого сближения у России с Англией нет. Наполеон раздраженно возражал, доказывая, что Александр оскорбил его, требуя увода его войск из Пруссии, и т. д. «В сие время; форточка у окна отворилась от ветра. Наполеон подошел к окну, потому что мы все ходили по комнате оба, и ее наскоро затворил. Но когда она опять растворилась, а он был в довольно разгоряченном виде, то, не заботясь ее более затворять, вырвал ее из своего места и бросил в окно».

Наполеон говорил о том, что он вовсе не собирался воевать с Россией, что он даже все свои личные экипажи послал было в Испанию, куда хотел отправиться. «Я знаю, что война Франции с Россией не пустяк ни для Франции, ни для России. Я сделал большие приготовления, и у меня в три раза больше сил, чем у вас. Я знаю так же, как и вы сами, может быть, даже лучше, чем вы, сколько у вас войск. У вас пехоты 120 тысяч человек, а кавалерии от 60 до 70 тысяч. Словом, в общем меньше 200 тысяч. У меня втрое больше». Дальше Наполеон спросил, как не стыдно Александру приближать к себе гнусных и преступных людей — Армфельда, Штейна, «негодяя, выгнанного из своего отечества» (Наполеон забыл прибавить, что именно он сам и приказал прусскому королю изгнать Штейна за то, что Штейн сочувствовал испанцам и стремился к освобождению Пруссии от наполеоновского ига). Около Александра — «Беннигсен, который, говорят, имеет некоторые военные таланты, каких, впрочем, я за ним не знаю, но который обагрил свои руки в крови своего государя». Эти последние слова «своего государя» были написаны Балашовым и потом выскоблены, им ли самим или кем другим — неизвестно, но выскоблены плохо, прочесть было возможно2. Что это действительно сказал Наполеон, не может быть никакого сомнения: Наполеон уже не в первый раз в жизни корил публично Александра в убийстве отца.

Дальше Наполеон плохо скрыл свое раздражение по поводу отступления Барклая от Вильны. Ему хотелось, чтобы Барклай оставался на месте, а он бы мог разгромить его немедленно, и это бы очень устроило Наполеона. «Я не знаю Барклая де Толли, но, судя по началу кампании, я должен думать, что у него военного таланта немного. Никогда ни одна из ваших войн не начиналась при таком беспорядке… Сколько складов сожжено, и почему? Не следовало их устраивать или следовало их употребить согласно их назначению. Неужели у вас предполагали, что я пришел посмотреть на Неман, но не перейду через него? И вам не стыдно? Со времени Петра I, с того времени, как Россия — европейская держава, никогда враг не проникал в ваши пределы, а вот я в Вильне, я завоевал целую провинцию без боя. Уж хотя бы из уважения к вашему императору, который два месяца жил в Вильне со своей главной квартирой, вы должны были бы ее защищать! Чем вы хотите воодушевить ваши армии, или, скорее, каков уже теперь их дух? Я знаю, о чем они думали, идя на Аустерлицкую кампанию, они считали себя непобедимыми. Но теперь они наперед уверены, что они будут побеждены моими войсками».

Балашов, возражая, сказал: «Так как ваше величество разрешает мне говорить об этом

предмете, я осмеливаюсь решительно предсказать, что страшную войну предпринимаете вы, государь! Это будет война всей нации, которая является грозной массой. Русский солдат храбр, и народ привязан к своему отечеству…» Наполеон снова прервал его и стал опять говорить о своих силах: «Я знаю, что ваши войска храбры, но мои не менее храбры, а у меня их бесконечно больше, чем у вас». Наполеон стал грозить, что он пройдет до русских пустынь, что, если нужно, он сделает и две и три русские кампании. Он восторгался поляками, их пылом, их патриотизмом. «Как вы будете воевать без союзников, когда, даже имея их, вы никогда ничего не могли поделать? Например, когда Австрия была с вами, я должен был ждать нападений в самой Франции на разных пунктах. Но теперь, когда вся Европа идет вслед за мной, как вы сможете мне сопротивляться?» — «Мы сделаем, что можем, государь».

Несколько переменив тему, Наполеон тогда начал упрекать Александра в том, что он сам, уклонившись от тильзитской политики, от дружбы с ним, Наполеоном, «испортил свое царствование»: царь получил бы не только Финляндию, но получил бы Молдавию и Валахию, а со временем «он получил бы герцогство Варшавское, не теперь, о нет! но со временем». Эта фраза в устах Наполеона необычайно характерна для него вообще и для его отношений к Польше в частности. Сам он только что восторгался перед Балашовым энтузиазмом и преданностью поляков, их готовностью проливать кровь за него. И тут же он готов их предать и выменять на те или иные выгоды от возможной в будущем дружбы с Александром. На отдельных людей и на целые народы Наполеон смотрел исключительно как на пешки в своей игре. Это у него всегда выходило так непосредственно, что, вероятно, он очень удивился бы, если бы Балашов указал ему на весь цинизм и всю ошеломляющую бессовестность его слов о Варшавском герцогстве. Но ни Балашов и никто из его собеседников никогда и не думали выражать его величеству истинных чувств, которые нередко возбуждала в них его откровенность. И уж во всяком случае в Балашове в тот момент неожиданные слова Наполеона могли возбудить только разве злорадное чувство по отношению к полякам, которые в это же время оглашали улицы Вильны криками «Виват цезарь!» и благословляли небо, ниспославшее им великого освободителя отчизны.

И снова Наполеон стал гневно жаловаться на Александра, который осмеливается окружать себя его, Наполеона, врагами, да еще не русскими, а иностранцами.

К концу этой первой аудиенции разговор пошел о предметах незначащих. Наполеон осведомлялся о здоровье канцлера Румянцева, о Кочубее. Для чего-то Наполеон прикинулся, будто не помнит фамилии Сперанского, с которым был лично знаком еще от самого свидания в Эрфурте, т. е. с сентября 1808 г. «Скажите, пожалуйста, почему удалили… этого, который у вас был в вашем государственном совете…. Как его зовут?.. Спи… Спер… я не могу вспомнить его имени!» — «Сперанский», — подсказал Балашов. — «Да!» — «Император был им недоволен». — «Однако это не вследствие измены?» — «Я не предполагаю этого, государь, так как о подобных преступлениях было бы неминуемо опубликовано». — «В таком случае это какое-нибудь злоупотребление, может быть воровство?» Зачем Наполеону понадобилось ломать эту комедию, неизвестно. Он не только, разумеется, помнил фамилию Сперанского, но, несомненно, знал все, что было известно по делу Сперанского самому Балашову. Конечно, он знал и то, что именно этот самый Балашов в качестве министра полиции и отправлял Сперанского в ссылку из Петербурга. О сановниках Александра, о всех придворных интригах Петербурга и Павловска Наполеон имел от своих шпионов самую детальную информацию.

За обедом, к которому был приглашен Балашов, присутствовали, кроме императора, еще маршалы Бертье и Бессьер, и Коленкур, герцог Виченский. После обеда серьезный разговор возобновился. «Боже мой, чего же хотят люди? — воскликнул Наполеон, говоря об Александре. — После того как он был побит при Аустерлице, после того как он был побит под Фридландом, — одним словом, после двух несчастных войн, — он получает Финляндию, Молдавию, Валахию, Белосток и Тарнополь, и он еще недоволен… Я не сержусь на него за

эту войну. Больше одной войной — больше одним триумфом для меня…» И опять начались возмущенные нападки на Штейна, Армфельда, Винценгероде, которыми окружил себя Александр. «Скажите императору Александру, что так как он собирает вокруг себя моих личных врагов, то это означает, что он хочет мне нанести личную обиду и что, следовательно, я должен сделать ему то же самое. Я выгоню из Германии всю его родню из Вюртемберга, Бадена, Веймара, пусть он готовит им убежище в России… Англия не даст денег России, у нее самой денег нет. Швеция и Турция при удобном случае все-таки еще нападут на Россию. Генералов хороших у России нет, кроме одного Багратиона. Беннигсен не годится: как он себя вел под Эйлау, под Фридландом! А теперь он еще постарел на пять лет, он всегда был слаб, делал ошибку за ошибкой, что же будет теперь?» И дальше снова (уже вторично) об убийстве Павла, о том, что Александр «знает преступления» Беннигсена. «Я слышу, что император Александр сам становится во главе командования армиями? Зачем это? Он, значит, приготовил для себя ответственность за поражение. Война — это мое ремесло, я к ней привык. Для него это не то же самое. Он — император по праву своего рождения; он должен царствовать и назначить генерала для командования. Если тот поведет дело хорошо — наградить, если плохо — наказать, уволить. Лучше пусть генерал будет нести ответственность перед ним, чем он сам перед народов, ибо и государи тоже несут ответственность, этого не следует забывать». «Потом, — пишет Балашов, — походив немного, подошел он к Коленкуру и, ударив его легонько по щеке, сказал: „Ну, что же вы ничего не говорите, старый царедворец петербургского двора?.. Готовы ли лошади генерала? Дайте ему моих лошадей, ему предстоит долгий путь!“»

На этом кончилась аудиенция Балашова. Он уехал и не знал о той сцене, которая разыгралась сейчас же после его отъезда там же, в кабинете императора. Об этой сцене нам рассказывает Сегюр. Он, кстати, передает, очевидно, со слов одного из присутствовавших маршалов, в несколько ином виде шутку, произнесенную императором во время разговора с Балашовым: «Впрочем, император Александр имеет друзей даже в моей императорской главной квартире», — сказал Наполеон, и, указывая Балашову на Коленкура, прибавил: «Вот рыцарь вашего императора. Это — русский во французском лагере». Коленкур страшно обиделся на эту шутку, передает Сегюр, и едва Балашов вышел, как Коленкур с большим волнением спросил у Наполеона, за что он его оскорбил. Коленкур с жаром говорил, что он — француз, хороший француз, что он это доказал и еще докажет. И тут же Коленкур, который, будучи послом в Петербурге, не переставал заботиться об укреплении франко-русского союза, а потом уже, после своей отставки, все время старался убедить Наполеона отказаться от войны с Россией, — теперь высказал уже разом все, что у него накипело на душе. Да и не могло его не потрясти и не взволновать все, что только что произошло в его присутствии: с выходом Балашова из комнаты, где император все время старался как можно больнее уязвить Александра, исчезла последняя слабая надежда предотвратить опаснейшую авантюру. Коленкур сказал, что он докажет императору, что он, Коленкур, хороший француз, именно тем, что будет повторять, что эта война неполитична, опасна, что она погубит армию, Францию, самого императора; что, впрочем, так как император его оскорбил, то он уйдет от императора и просит дать ему дивизию в Испании, «где никто не хочет служить» и где он, Коленкур, будет как можно дальше от императора, оскорбившего его3. Наполеон пробовал его успокоить, но напрасно. Он ушел не помирившись. На другой день Наполеон прекратил ссору, во-первых, дав формальный приказ Коленкуру остаться и, во-вторых, обласкав и утешив его. Это сильное волнение Коленкура едва ли было вызвано одной лишь шуткой Наполеона. То ли еще терпел от него Коленкур на своем веку! Мы знаем теперь из позднейших показаний и самого Коленкура и окружающих, что не только в эти первые дни рокового похода, но и гораздо раньше у него было ощущение разверзающейся под ногами пропасти в связи с начавшейся войной. 2

Балашов вернулся и доложил Александру о разговоре с Наполеоном.

Итак, война была решена окончательно и бесповоротно.

Александр после некоторого колебания решил никакого торжественного манифеста о войне не опубликовывать. Был только отдан приказ по войскам 13 (25) июня 1812 г., объявляющий о вторжении Наполеона и начале войны.

В необнародованном тогда проекте манифеста о войне с Наполеоном4 Александр говорил о «тяжких узах», которые «добровольно» он возложил на себя во имя сохранения мира, и прежде всего обращался к полякам, увещевая их не верить Наполеону и подумать о рабстве, которое их ждет, если они поддадутся ему: «Кто не ведает о порабощении всех стран западных, под игом французского императора страждущих? Кто не испытал, что под названием новоустановленных царств французский император ищет только новых данников и новых жертв для окровавленного алтаря своей славы?» Дальше указывалось на отказ Наполеона ратифицировать соглашение о Польше, говорилось о занятии Германии французскими войсками и постепенном приближении их к русским границам, об отнятии у герцога Ольденбургского всех его владений, что явилось, пишет Александр, личным оскорблением для царя, связанного родством с ольденбургскими герцогами. Наконец, манифест переходит и к самому главному: «Стремясь уравнять нас в разорении и обессилении с властями, ему повинующимися, он требовал, чтобы мы прекратили всякую торговлю под предлогом, якобы нейтральные суда, к портам нашим пристающие, служили средством к распространению английской промышленности и ее селений, в Восточной и Западной Индии находящихся». Александр отвергает обвинение, будто бы он дозволял торговлю с Англией, напротив, поминает о своих «строгих мерах» против торговли с англичанами.

Но «никакой договор и никакое даже кривое истолкование обязательств наших с Францией не принуждали нас к пагубному уничтожению всякой морской торговли». И это было бы тем более «безрассудно», что сам французский император позволяет у себя торговать с нейтральными государствами и даже дает некоторым частные лицам разрешение торговать с Англией. Точно также неосновательны претензии Наполеона относительно русского тарифа 1810 г. «Сие наглое притязание предписывать образ внутренних учреждений державам столь само собою неприлично, что не заслуживает пространнейших доводов к опровержению».

И, несмотря на все это, продолжает манифест, Александр все же хотел пойти на всевозможные уступки, даже на изменения в тарифе в пользу французской промышленности и торговли французскими винами, даже на всякий отказ от протеста по делу герцога Ольденбургского. Только оставалось требование очищения вновь занятой (Восточной) Пруссии и Померании от французских войск и желание оставить за собой право «нейтральной торговли, для самого существования империи нашей необходимой… Непостижимо казалось непричастному злоумышленности духу нашему, чтобы французский император, в слезах и стенаниях столь многих народов обвиняемый, решился еще раз поправить всякое уважение к суду божию, к мнению Европы и целого мира, к собственным выгодам своей империи и в плату за неслыханную умеренность напасть на государство, ничем его не оскорбившее. Мы еще не переставали надеяться, что рука его упадет при таковых страшных помышлениях, когда он ворвался в пределы империи нашей с военной силой».

Таков был этот неопубликованный проект манифеста. Но редактированием заниматься было некогда. Разведка доносила, что Наполеон от Немана двинулся прямой дорогой на Вильну и что впереди идет Мюрат с кавалерией. Решено было немедленно уходить из Вилъны в «укрепленный лагерь» в Дриссе, устроенный по мысли состоявшего в свите царя генерала Фуля.

Одной из самых странных и курьезных фигур в окружении Александра в момент вторжения неприятеле в Россию был, бесспорно, генерал Фуль (не Пфуль, как иногда неверно произносят и пишут, а именно Фуль — Phull). Ученый генерал, теоретик, создававший при начале всякой войны обширнейшие, точно разработанные планы, из которых никогда ничего

не выходило, Фуль начал свою карьеру в прусских войсках. Когда в 1806 г. началась война Пруссии с Наполеоном, то Фуль, бывший докладчиком по делам главного штаба при прусском короле Фридрихе-Вильгельме III, составил по обыкновению самый непогрешимый план разгрома Наполеона. Война началась 8 октября, а уже 14-го, ровно через шесть дней. Наполеон и маршал Даву в один и тот же день уничтожили всю прусскую армию в двух одновременных битвах, при Иене и при Ауэрштадте. В этот страшный час прусской истории Фуль изумил всех: он стал хохотать, как полоумный, издеваясь над погибшей прусской армией за то, что она не выполнила в точности его план. Слова «как полоумный» применил к Фулю в данном случае наблюдавший его Клаузевиц5. После этого краха он перешел на русскую службу. Он поселился в Петербурге и тут стал преподавать военное искусство императору Александру. Александр уверовал в гениальность своего учителя и взял с собой на войну 1812 г. этого раздраженного, упрямого, высокомерного неудачника, не выучившегося за шесть лет пребывания в России ни одному русскому слову и презиравшего русских генералов за незнание, как ему казалось, стратегической науки.

По совету Фуля, Александр, не спросив ни Барклая, ни Багратиона, приказал устроить «укрепленный лагерь» в местечке Дриссе на Двине. По мысли Фуля, этот лагерь, где предполагалось сосредоточить до 120 тысяч человек, мог по своему срединному положению между двумя столбовыми дорогами воспрепятствовать Наполеону одинаково как идти на Петербург, так и на Москву. И когда Наполеон внезапно перешел через Неман, русской армии было велено отступать на Свенцяны, а оттуда в Дриссу.

«Дрисский лагерь мог придумать или сумасшедший, или изменник», — категорически заявили в глаза Александру некоторые генералы посмелее, когда армия с царем и Барклаем во главе оказалась в Дриссе. «Русской армии грозит окружение и позорная капитуляция, Дрисский лагерь со своими мнимыми „укреплениями“ не продержится и нескольких дней», — утверждали со всех сторон в окружении Александра.

Находившийся в небольших чинах при армии Барклая Клаузевиц, осмотревший и изучивший этот лагерь как раз перед вступлением туда 1-й русской армии, делает следующий вывод: «Если бы русские сами добровольно не покинули этой позиции, то они оказались бы атакованными с тыла, и, безразлично, было бы их 90 или 120 тысяч человек, они были бы загнаны в полукруг окопов и принуждены к капитуляции».

Нелепый план Фуля, плохое подражание Бунцловскому лагерю Фридриха II, был, конечно, оставлен уже спустя несколько дней после вторжения Наполеона, но существенный вред эта фантазия бездарного стратега успела все-таки принести. Согласно идее таких «укрепленных лагерей», обороняющийся должен действовать непременно при помощи двух разъединенных армий: одна защищает лагерь и задерживает осаждающего неприятеля, а другая, маневрируя в открытом поле, тревожит осаждающих атаками и т. д. Русская армия и без того уже самой природой литовско-белорусского Полесья была разделена на две части, к тому же совершенно неизвестно было, куда и какими дорогами двинется Наполеон. А пока носились с планом дрисской защиты, эти разделенные две русские армии и подавно не делали и не могли делать никаких усилий для своего соединения. На несколько дней засела 1-я русская армия в этом лагере на левом берегу Двины, напротив местечка Дриссы, в сотне километров от Динабурга (Двинска) вверх по течению Двины.

Царь, по свидетельству очевидцев, прибыл в Вильну с твердым убеждением в пригодности плана Фуля. Однако все были против плана Фуля. Но никто ничего толкового не предлагал, кроме Барклая де Толли, которого слушали мало. Он советовал отступать, не идти на верный проигрыш генеральной битвы у границы. Александр и его свита явно преуменьшали численность французской армии, накапливавшейся у Вислы и Немана. Они знали манеру Наполеона запугивать врагов своей непреодолимостью, и некоторые этим объясняют недоверие Александра к слухам об огромных размерах великой армии. Но, помимо этого, приближенные Александра не могли не принять во внимание и громадных сил, которые

Наполеон должен был оставить в Испании, по-прежнему неукротимо пятый год против него борющейся. Знали и о гарнизонах, которые Наполеон вынужден был разбросать по необъятной империи, тянущейся от Антверпена и Амстердама до Балканского хребта, от Гамбурга, Бремена и Любека до Неаполя, от Калабрии, Апулии и Данцига до Мадрида. Однако с первых дней войны эти утешительные иллюзии должны были исчезнуть, и надежды стали сменяться растерянностью.

Как мы увидим дальше, едва войдя в Дрисский лагерь, руская армия стала готовиться к немедленному уходу из этой западни, а царь перестал не только разговаривать с Фулем, с которым раньше не разлучался, но даже смотреть на Фуля.

В момент вторжения Наполеона русские войска были разбросаны на пространстве в 800 верст. Некоторые уверяют, что Барклай де Толли сначала думал о сражении, по тут же пришлось от этой мысли отказаться: численность наполеоновских войск, вступивших в Россию, оказалась гораздо большей, чем предполагали в русском штабе и при дворе.

У Багратиона было в конце нюня 1812 г. шесть дивизии, а Наполеон направил против него почти вдвое — 11 дивизии. У Барклая было 12 дивизий, а Наполеон двинул против него около 176.

Первоначальный план, по свидетельству генерала графа Толя, заключался в том, чтобы действовать наступательно, и только «непомерное превосходство его (Наполеона. — Е. Т.) сил, сосредоточившихся на Висле между Кенигсбергом и Варшавой, и некоторые политические обстоятельства» побудили переменить план, «положено было вести войну оборонительную», потому что из 360–400 тысяч (считая уже с донским войском и гвардией), которые были в тот момент в России, непосредственно Наполеону противопоставить можно было всего лишь, уже считая с армией Тормасова, 220 тысяч человек7. Да и то эта цифра была лишь на бумаге.

Решено было отступать. «Правда, что с таким предположением должно было пожертвовать некоторыми нашими провинциями, но из двух неизбежных зол надлежало избрать легчайшее, потерять на время часть, нежели навсегда целое». Последние слова графа Толя показывают, в какой тревоге находились двор и генералитет, выжидая в Вильне окончательного решения Наполеона.

Эта первая потеря русской государственной территории привела в смятение ближайшее окружение Александра.

«Как? В пять дней от начала войны потерять Вильну, предаться бегству, оставить столько городов и земель в добычу неприятелю и, при всем том, хвастать началом кампании! Да чего же недостает еще неприятелю? Разве только того, чтобы без всякой препоны приблизиться к обеим столицам нашим? Боже милосердный! Горючие слезы смывают слова мои!»

Так писал государственный секретарь Шишков в первые дни войны8. Так ощущали приближенные царя потерю Вильны. Уже поэтому можно было предвидеть, как будет дальше восприниматься потеря других русских земель.

Наполеон полагал, переходя Неман, что русская действующая непосредственно против него армия равна приблизительно 200 тысячам человек. Он ошибался. На самом деле, если исключить южную армию (генерала Тормасова), которому противостоял австрийский корпус Шварценберга, вот какими силами располагало русское командование в день вторжения Наполеона: в армии Барклая (1-й армии) было 118 тысяч человек; в армии Багратиона (2-й армии) — 35 тысяч человек, в общем — 153 тысячи. При отступлении к Дриссе, к Бобруйску, к Могилеву, к Смоленску в эти армии вливались гарнизоны и пополнения, и это первоначальное число возросло бы до 181 800 человек, если бы не пришлось выделить для охраны петербургских путей армию (генерала Витгенштейна) в 25 тысяч человек и если бы не

потери в боях (7 тысяч человек). За вычетом этих двух цифр из 181 800 получается 149 800 человек, которые должны были бы оказаться в Смоленске 3 августа, когда, наконец, Барклай и Багратион соединились. Но на самом деле оказалось в Смоленске всего-навсего. 113 тысяч человек, т. е. на 36 800 человек меньше, чем можно было бы ожидать. Болезни, смертность от болезней, отставание съели эту огромную массу. Размеры этой убыли смущают генерал-квартирмейстера Толя, и он в своих воспоминаниях склонен даже поэтому несколько усомниться в точности первоначальной цифры; по его мнению, в момент вторжения Наполеона обе русские армии вместе (Багратиона и Барклая) были равны не 153 тысячам человек, но тысяч на 15 меньше9. Во всяком случае огромная убыль больными и отсталыми в русской армии не подлежит никакому сомнению. Дезертирство литовских уроженцев из русской армии в этот период войны было, и по русским и по французским свидетельствам, значительным.

Так или иначе, в Смоленске оказалось всего 113 тысяч человек для защиты не Смоленска, а России.

Как обстояло дело с артиллерией?

Оборудование русской армии артиллерией было сравнительно удовлетворительно.

Реорганизация артиллерии, проводившаяся Аракчеевым (с 1806 г.), привела к тому, что уже в 1808 г. русская армия имела в своем составе 130 рот с 1550 орудиями, а к началу войны с Наполеоном в 1812 г. — 133 роты с 1600 орудиями. Тогда же, во время войн с Наполеоном, с 1805 по 1812 г. были введены некоторые технические усовершенствования в оборудовании лафетов, передков и ящиков, продержавшиеся, замечу к слову, в России почти без дальнейших изменений до 1845 г., хотя в Европе артиллерийское дело очень быстро развивалось в это время10. Можно сказать, что за всю первую половину XIX в. никогда русская артиллерия не была до такой степени близка к французской по своей боеспособности, как именно в 1812, 1813, 1814 гг. Это соотношение с тех пор уже не переставало изменяться в невыгодную для России сторону, пока дело не дошло до севастопольского разгрома.

В общем русские войска к моменту перехода Наполеона через Неман были, относительно говоря, лучше снабжены артиллерией, чем великая армия: у русских приходилось на каждую тысячу солдат приблизительно семь орудий, а Наполеон имел на каждую тысячу солдат не более четырех орудий. Конечно, абсолютное число орудии при этом расчете у него все-таки было больше, чем у русских, но это происходило оттого, что его армия в начале войны была гораздо больше русской. А когда численность обеих армий уравновесилась (в дни Бородина), то на стороне русской артиллерии обозначился даже некоторый перевес. Что касается организации управления артиллерией, создания специальных артиллерийских бригад в каждой дивизии и т. д., то все это было заимствовано в 1806–1812 гг. от наполеновской армии (Наполеон завершил свои главные преобразования в области артиллерии в 1805 г.).

Каждая русская пехотная дивизия состояла из 18 батальонов и имела в общем 10 500 человек. Каждый пехотный полк состоял из двух батальонов линейных и одного запасного, обучавшегося в тылу. Кавалерийский полк состоял из шести эскадронов и одного запасного. Кавалерия была равна 48 тысячам человек. Артиллерия делилась на роты, и каждая из них была равна 250 человекам. Всего в России весной 1812 г. было 133 артиллерийских роты. По подсчетам графа Толя, общее количество войск, которыми располагала Россия в начале кампании 1812 г., считая уже и Кавказскую линию, и Грузию, и Крым с Херсонской губернией, было равно 283 тысячам пехоты, 14 тысячам кавалерии, 25 тысячам артиллерии, и сверх того, 30 тысячам донских казаков и гвардии, охранявшей Петербург. У Наполеона, не считая войск, стоявших гарнизонами во всех странах его громадной империи, и кроме нескольких сот тысяч, воевавших в Испании, было к началу кампании под руками 360 тысяч пехоты, 70 тысяч кавалерии и 35 тысяч артиллерии. Сюда не входят вспомогательные части «союзных» с

Наполеоном Австрии и Пруссии11.

О численности армии, непосредственно действовавших против наступающего Наполеона, сказано выше.

Слабой стороной русской армии была невежественность части офицерского и даже генеральского состава, хотя, конечно, не следует забывать и группы передового офицерства, из которой вышли и некоторые будущие декабристы. В 1810 г. Россия отказалась от старой, фридриховской военной системы и ввела французскую систему, но последствия этой перемены едва ли могли за два года сказаться решающим образом. Другой слабой стороной была варварски жестокая, истинно палочная и шпицрутенная дисциплина, основанная на принципе: двух забей, третьего выучи. Аракчеевский принцип, всецело поддерживаемый царем, принцип плацпарадов и превращения полка в какой-то кордебалет, с вытягиванием носков и т. п., уже вытеснял (но еще не вполне успел вытеснить к 1812 г.) суворовскую традицию — подготовки солдата к войне, а не к «высочайшим» смотрам. Третьей слабой стороной было неистовое хищничество: не только воровство разных «комиссионеров» и прочих интендантских чинов, но казнокрадство не всех, конечно, но многих полковых, ротных, батальонных и всяких прочих командиров, наживавшихся на солдатском довольствии, кравших солдатский паек. Тяжка, вообще говоря, была участь солдата, так тяжка, что бывали случаи самоубийств солдат именно по окончании войн, так как на войне легче приходилось иной раз, чем во время мира; увечья и смерть в бою казались краше, чем выбивание челюстей и смерть при проведении сквозь строй в мирное время. На войне зверство начальников не проявлялось так, как во время мира.

Конечно, нельзя рисовать все исключительно черной краской: офицеры не все были ворами и зверями, и среди них были такие, которые хорошо относились к солдатам, были и генералы, обожаемые солдатами, вроде Багратиона, Кульнева, Коновницына, Раевского, Неверовского. И еще два обстоятельства не следует упускать из вида: еще Герцен настойчиво утверждал, что офицерство и генералитет при Александре были в среднем все-таки более гуманны к солдату, чем в николаевские времена, после декабрьского восстания, а помимо всего в грозную годину, о которой тут идет речь, даже палач Аракчеев временно присмирел.

Барклай вышел из Вильны 26 июня и пошел по направлению к Дрисскому укрепленному лагерю. Но уже когда он выходил из Вильны, и он сам, и Александр, и все окружающие царя были убеждены, что этот Дрисский лагерь — вздорная выдумка бездарного и нагло самоуверенного Фуля.

8 июля Александр прибыл в Дриссу и принялся объезжать лагерь во всех направлениях. Александр был от природы органически лишен понимания войны и военного дела. У Романовых, начиная с Павла, это было прочной родовой чертой, передававшейся по наследству. Быть может, именно оттого-то они все (и больше всех Александр I, Николай I, Константин и Михаил Павловичи) так страстно и были привязаны к фронтовой шагистике, к парадам, что стратегия настоящей войны была им чужда и непонятна.

В грозных условиях, в которых царь оказался, он очень присмирел. Это уже не был тот самоуверенный и легкомысленный офицер, который вопреки воле Кутузова повел на убой и на позор русскую армию под Аустерлицем. Тут, разъезжая вокруг Дриссы в критические летние дни 1812 г., царь, как говорят нам очевидцы, молчал и больше вслушивался в речи Мишо, Барклая, Паулуччи и вглядывался в их лица. И речи и лица этих людей говорили одно и то же: Дрисский лагерь — бессмысленная выдумка тупого немца, и нужно бежать из этой ловушки без оглядки, не теряя времени.

Сам Александр, для которого Фуль до сих пор был многочтимым авторитетом в вопросах стратегии и тактики, защищать своего профессора дальше не умел и не хотел. Нужно было думать прежде всего о личном спасении.

Барклай со стотысячной армией вступил в Дриссу 10 июля, а уже 16 июля со всеми войсками, бывшими в Дриссе, со всем обозом, со всеми запасами и с самим царем покинул Дрисский лагерь и пошел по направлению к Витебску. Первой большой остановкой на этом пути был Полоцк. И в Полоцке решилась благополучно головоломная задача, которая еще от Вильны, а особенно от Дриссы, стояла неотступно перед русским штабом: как отделаться от царя? Как поделикатнее и наиболее верноподданно убрать Александра Павловича подальше от армии?

Уж довольно было того, что успел напутать и напортить царь в эти первые дни войны.

Только после перехода Наполеона через Неман решено было соединить 1-ю армию (Барклая) со 2-й (Багратиона). Александр, как всегда, обнаруживал абсолютную неспособность к военному делу. Он не доверял Барклаю, но не доверял и Багратиону и не понимал, что до соединения армий Багратион стремится только как можно искуснее и с наименьшими потерями от наседающих французов спасти маленькую армию, которую ему дали. Он корил Багратиона за то, что тот «не успел» предупредить маршала Даву и не занял «вовремя» Минска. «Вот Багратион, кажется, не Барклай, но что сделал!» — сказал царь по этому поводу с упреком, сидя сам еще в нелепом Дрисском лагере и не понимая, что Багратион хотел уйти от Даву (и блестяще выполнил это), а вовсе не подвергаться верной гибели в Минске.

Царя нужно было обезвредить и притом по возможности безотлагательно.

Еще перед выходом из Дриссы находившийся при царе государственный секретарь Шишков оказал русской армии эту очень важную услугу. Шишков видел, что пребывание Александра в армии просто гибельно для России. Но как убрать царя, человека очень обидчивого и злопамятного? А ведь тут даже и не нужно было быть очень обидчивым, чтобы обидеться… «Зная образ мыслей его, что присутствие свое в войсках он почитает необходимо нужным и не быть при них вменяет себе в бесславие, мог ли я на мои слова и представления столько понадеяться, что они преодолеют в кем собственное его предубеждение и силу славолюбия?» Шишков со многими заговаривал об этом щекотливом деле, и все с ним соглашались, но никто не решался предложить царю покинуть армию. «Некоторые даже утверждали, что если кто сделает ему такое предложение, то он сочтет его преступником и предателем». В полное отчаяние привели Шишкова слова в проекте приказа царя по армии: «Я всегда буду с вами и никогда от вас не отлучусь». Шишков тогда решился. Он прямо посоветовал царю исключить эти слова, а затем ему удалось привлечь к исполнению своего намерения Балашова и Аракчеева.

Убеждая Александра всевозможными доводами в необходимости уехать из армии, Аракчеев, Балашов и Шишков в том коллективном письме, которое они решились подать императору, не могли, разумеется, привести самого существенного аргумента, т. е. что Александр страшно мешает своим присутствием, вмешиваясь в военные дела, смущая и раздражая генералов, разъезжая со свитой болтунов, нашептывателей и тунеядцев вокруг Дриссы. Авторы письма так боялись грозного нашествия, что уже махнули рукой на не совсем придворный свой образ действий: просить царя убраться подальше и не путаться под ногами Барклая и Багратиона в этот страшный миг русской истории. Но все-таки облечь эту невежливость необходимо было в сколько-нибудь приемлемую форму. Потрудились они втроем немало: черновик их письма занимает четыре страницы большого формата, мелко исписанные12. Курьезен один из приводимых ими резонов: «Примеры государей, предводительствовавших войсками своими, не могут служить образцами для царствующего ныне государя императора, ибо на то были побудительные причины. Петр Великий, Фридрих Второй и нынешний наш неприятель Наполеон должны были делать то: первый — потому, что заводил регулярные войска; второй — потому, что все его королевство было, так сказать, обращено в воинские силы; третий — потому, что не рождением, но случаем и счастием взошел на престол. Все сии причины не существуют для Александра Первого».

Царь мог бы принять за насмешку это сопоставление его особы с Петром, Фридрихом и Наполеоном, если бы не знал, что все три автора далеки от иронии. Но при своем бесспорном уме и тонкости царь сообразил, что если уж эти трое тоже рекомендуют ему помочь армии своим отсутствием, то упираться было бы нелепо.

«Если государю императору угодно будет ныне же, не ожидая решительной битвы, препоручить войска в полное распоряжение главнокомандующего и самому отбыть от оных…» — робко настаивали три сановника.

Умная сестра Александра Екатерина Павловна со своей стороны понимала, что ни малейшей пользы от присутствия царя в армии нет, а вред может быть очень большой. Александр даже жаловался, что сестра гонит его из армии: «Если я хотела выгнать вас из армии, как вы говорите, то вот почему: конечно, я считаю вас таким же способным, как ваши генералы, но вам нужно играть роль не только полководца, но и правителя. Если кто-нибудь из них дурно будет делать свое дело, его ждут наказание и порицание, а если вы сделаете ошибку, все обрушится на вас, будет уничтожена вера в того, кто, являясь единственным распорядителем судеб империи, должен быть опорой…»13 и т. д. Словом, хорошо бы царю упражнять свои способности где-нибудь не в армии, а в любом другом месте.

И Александр покинул армию.

Когда гофмаршал граф Толстой (дело было в Полоцке, уже при отступлении из Дриссы) отвел в сторону Шишкова и шепнул ему на ухо: «Знаешь ли, что к ночи велено приготовить коляски, ехать в Москву?», то Шишков, по собственному своему признанию, «едва мог словам его поверить, радость моя была неописанна, теплейшая молитва пролилась из уст моих к подателю всех благ, творцу небесному».

Возблагодарив горячо творца неба и земли за то, что наконец царь согласился убраться из армии, Шишков сел составлять манифест к русскому народу. Царь ехал в Москву и поручил ему это дело. Шишков и другие были так счастливы, как если бы пришло известие о победе. Они, по-видимому, считали отсутствие царя первым условием для успешной обороны против вторгшегося неприятеля14, и в манифесте, составленном для царя, Шишков предусмотрительно обещал, что «мы» будем вообще в разных концах государства. Уточнения были бы опасны, очевидно, потому, что царь в других местах был, по внутреннему убеждению Шишкова, не столько полезен, сколько вреден. Верноподданнейший автор трактата «О старом и новом слоге» очень ловко в этом смысле прикрыл свои истинные опасения величавыми, старинными речениями своего проекта манифеста. 3

Барклай остался единоличным распорядителем судеб 1-й армии. Он приказал отступать на Витебск. Начальником его штаба был назначен А. П. Ермолов, генерал-квартирмейстером — полковник Толь.

Много было споров вокруг вопроса о «плане Барклая». Есть (очень, правда, немногие) показания, говорящие как будто о том, что Барклай де Толли с самого начала войны — и даже задолго до войны — полагал наиболее правильной тактикой в борьбе с Наполеоном и использовать огромные малолюдные, трудно проходимые пространства России, заманить его армиию как можно дальше и здесь спокойно ждать ее неизбежной гибели.

Гораздо больше есть положительных свидетельств, в том числе исходящих от самого Барклая, что он отходил только вследствие полной невозможности задержать наседающую на него великую армию и что при малейших шансах на успешное сопротивление он с готовностью принял бы генеральный бой. Но и все эти якобы непререкаемые свидетельства тоже не решают вопроса. Ведь при том страшном давлении, которое испытывал военный министр и командующий 1-й армией, Барклай, от 24 июня, когда Наполеон вторгся в Россию, до 29 августа, когда в Цареве-Займище Барклай окончательно узнал о назначении на его

место Кутузова, — он и не мог высказаться иначе, чем он высказывался. Он должен был подчеркивать, что отступает лишь по случайным причинам, а на самом деле будто бы рвется в бой и только ищет позицию получше. Он должен был бы так говорить все равно, даже если бы на самом деле принципиально не хотел никаких боев, а всецело проводил тактику отхода и заманивания врага в глубь страны. В его штабе начальником был Ермолов, друг и тайный корреспондент Багратиона. А что Багратион направо и налево честит Барклая и немцев-изменников, — об этом Барклаю было очень хорошо известно. Что его подозревает в измене и московский генерал-губернатор Ростопчин, что это повторяют хором приведенные в полную панику помещики, трепещущие, как бы Наполеон не отменил крепостное право на занимаемой им территории, — и это Барклай знал.

Таким образом, эти громогласные (и ни к чему реальному не ведущие) высказывания о желании дать бой были лишь слабыми попытками самозащиты, и ничего на них обосновывать нельзя.

Военные критики не склонны считать Барклая очень крупным полководцем и в уровень с Кутузовым и Багратионом его не ставят.

Вот мнение очевидца, участника войны 1812 г., оберквартирмейсгера 6-го корпуса Липранди, автора замечательной критики военной литературы о 1812 г., с анализом которого очень считались всегда специалисты: «Я смею заключать, что, как до Смоленска, так и до самой Москвы, у нас не было определенного плана действия. Все происходило по обстоятельствам. Когда неприятель был далеко, показывали решительность к генеральной битве и, по всем соображениям и расчетам, думали наверное иметь поверхность (одержать верх. — Е. Т.), но едва неприятель сближался, как все изменялось, и опять отступали, основываясь также на верных расчетах. Вся огромная переписка Барклая и самого Кутузова доказывает ясно, что они не знали сами, что будут и что должны делать»15.

При этом следует, однако, учитывать и определенную целеустремленность в действиях Барклая. Все-таки Липранди забывает, что отступление от Дриссы было маршем-маневром, знаменовавшим переход к новому оперативному плану: к соединению обеих русских армий. Великая заслуга Барклая не в том, что он перед войной и в начале войны говорил о заманивании неприятеля в глубь страны. Многие говорили об этом задолго до начала войны: и шведский наследный принц Бернадотт, и даже бездарный Фуль, и другие. Еще Наполеон сказал, что выигрывает битвы не тот, кто предложил план, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение и выполнил его. Даже если признать, что до Витебска у Барклая были колебания, то от Витебска Барклай шел намеченным путем с большой моральной отвагой, не обращая внимания ни на какие препятствия и противоборствующие течения. Позднейшая военная критика подвергла осуждению некоторые действия Барклая во время отступления, усмотрела непоследовательность в его (не осуществившемся) намерении дать битву при Цареве-Займище и т. д., но, например, самую позицию, намеченную Барклаем при Цареве-Займище, нашла все-таки более. выгодной сравнительно с бородинской позицией. Эту мысль высказывает и Маркс в своей коротенькой (в две страницы), но очень содержательной статье о Барклае, написанной им в 1858 г. для «New American Cyclopedia»16. Но Маркс правильно отмечает, что с начала войны отступление русской армии стало «делом не свободного выбора, а суровой необходимости».

У Барклая оказалось достаточно силы воли и твердости духа, чтобы при невозможном моральном положении, когда его собственный штаб во главе с Ермоловым тайно агитировал против него в его же армии и когда командующий другой армией, авторитетнейший из всех русских военачальников, Багратион, обвинял его довольно открыто в измене, — все-таки систематически делать то, что ему повелевала совесть для спасения войска. Агитация против Барклая шла сверху. От своих генералов и полковников солдаты научились говорить вместо «Барклай де Толли» — «Болтай да и только»; от начальства они узнали, что Ермолов будто бы просил царя «произвести его, Ермолова, в немцы», потому-де, что немцы получают

награды; сверху вниз шли слухи, что состоящий при Барклае Вольцоген — наполеновский шпион. Все это еще до Смоленска делало положение крайне трудным. Доверие к главнокомандующему явно было подорвано, и каждый новый этап отступления усиливал зловещую молву о Барклае.

Трудно ему было отбиваться от нападений Багратиона еще и потому, что за ним не было ни геройского поприща, ни блестящей репутации в армии, не лежало на нем и отблеска сияния суворовской славы, не было железного характера, словом, не было всего того, что в избытке было у Багратиона. Трудолюбивый военный организатор, по происхождению шотландец, которого ошибочно часто называют немцем, понравившийся Александру исполнительностью и ставший военным министром, осторожный стратег, инстинктивно нащупавший верную тактику, Барклай нашел в себе гражданское мужество идти против течения и до последней возможности стоять на своем.

Граф Толь, генерал-квартирмейстер 1-й армии (Барклая), в своих замечательных воспоминаниях, обработанных и изданных генералом Бернгарди, утверждает, что в начале войны в Вильне решительно никто в русском штабе и понятия не имел о той роли, какую сыграют в этой войне колоссальные пространства России. Это выявилось само собой уже в процессе войны17. Отступление же диктовалось с самого начала нежеланием Барклая рисковать русской армией. Барклай страшился уничтожения армии в первые же дни войны. Свидетельство графа Толя, генерал-квартирмейстера в штабе Барклая, уже само по себе имело бы для нас решающее значение, если бы даже оно не подтверждалось рядом таких же неопровержимых показаний, включая сюда и документы, исходящие от самого Барклая. Не «скифский план» искусственного заманивания противника, а отход под давлением превосходных сил — вот что руководило действиями Барклая в первые месяцы войны. О «скифском плане» стали говорить уже на досуге, когда не только война 1812 г. окончилась, но когда уже и войны 1813–1815 гг. давно отошли в область прошлого. Первым вспомнил о скифах сам Наполеон в 1812 г., как увидим дальше.

В дальнейшем мы ознакомимся в главных чертах с тем, как документы рисуют нам настроения крестьян, дворян, купечества в разгаре и в конце нашествия. Очень скудна и случайна эта документация, но несравненно еще скуднее та, которая относится к первым неделям и месяцам войны.

Тем не менее можно считать твердо установленным следующее. Дворянство в массе своей с первого дня вторжения Наполеона питало лютый страх, что завоеватель, постепенно продвигаясь в глубь страны, будет освобождать крестьян от крепостного права и подымать их на помещиков. Это был стародавний страх, который давал себя чувствовать уже в 1806–1807 гг. Ростопчин докладывал царю об этих опасениях дворянства еще в воину 1806–1807 гг. и уверял, что народ в России толкует о Бонапарте как об освободителе от крепостничества. Конечно, в 1812 г., когда впервые Наполеон вел против царя войну на русской территории, эти опасения должны были в огромной степени обостриться. Дальше в своем месте будет сказано, как французские власти сразу же стали высылать, по просьбе польских помещиков, карательные команды в «бунтующие» деревни для усмирения крестьян.

Но всего этого ни в Петербурге, ни в Москве и нигде вообще в коренной России не знали. Занятая Литва и часть Белоруссии были отрезаны, все, что там творилось, стало известно лишь впоследствии.

А пока, в эти грозные месяцы, когда Наполеон, казалось, неудержимо и успешно стремится к своей цели и идет на Москву, сметая на своем пути все препятствия, и в высшем столичном дворянстве в Петербурге и в Москве и в огромной толще среднего, поместного дворянства страх перед возможным декретом об освобождении крестьян, который издаст Наполеон, неотступно стоял перед душевладельцами, и каждая новая весть об отступлении русской армии приводила их в отчаяние. Для дворянского, наиболее тогда активного и политически

влиятельного класса, бесспорно, для большинства этого класса ненавистный Барклай, ответственный виновник бесконечных отступлений, был изменником или в лучшем случае позорным трусом еще с первых дней войны.

Вот почему упорный, безнадежный раздор между Барклаем де Толли, с одной стороны, и Петром Ивановичем Багратионом, с другой, — был не просто ссорой двух генералов, расхождением во мнениях двух стратегов. За этой борьбой со страстным вниманием следили все, кто стоял близко к штабам, а когда об этой борьбе узнал московский генерал-губернатор Ростопчин, то через его посредство и широкие дворянские круги приняли в ней страстное участие. Князь Багратион был тогда в расцвете своих сил и на вершине своей военной репутации. О нем заговорили впервые уже давно, в годы суворовских войн, и знали, что Багратион и Кутузов были любимцами Суворова, его учениками и помощниками, и что из них двоих именно Багратион воспринял полнее всего суворовскую тактику. О Багратионе ходили бесчисленные рассказы и легенды. У него была необыкновенная способность сохранять полнейшее спокойствие в самых, казалось бы, отчаянных обстоятельствах и брать на себя, такие выступления, когда на один шанс сохранения жизни приходилось 99 потери ее. Это очень хорошо знали и солдаты, которые обожали Багратиона, как они не обожали никого, кроме Кутузова, после смерти Суворова, и начальство, которое этими свойствами Багратиона пользовалось неоднократно. Кутузов, когда ему нужно было в ноябре 1805 г., при отступлении к Ольмюцу, спасти русскую армию от капитуляции, выдвинул против всех полчищ Наполеона ничтожный отряд с Багратионом во главе, обрекая этот отряд на истребление, лишь бы выгадать нужное время. И Багратион блистательно исполнил поручение, сам только каким-то случаем спасшись от смерти. Таких событий в карьере Багратиона было сколько угодно. Он и от других требовал героизма. Служить при нем, в его штабе, считалось опасной, но высокой честью, и туда стремились попасть, хотя все знали, что багратионовские адъютанты на свете долго не заживаются.

К числу свойств этого человека, и таких, с которыми он никогда не умел справляться, относилась его гневливость. Не то, чтобы Багратион был вспыльчивым в обычном смысле слова, напротив, он поражал всех своим величавым спокойствием, несловоохотливостью, восточной сдержанностью и сановитостью в обхождении. Но когда он находил предмет, казавшийся ему достойным его гнева и борьбы, то он не знал меры в своем раздражении, не сдерживал — и не хотел сдерживать — силы своих ударов и не всегда соразмерял в гневе свои удары с действительными требованиями борьбы.

Вот что говорит в своем большом специальном военно-историческом исследовании всех действий Багратиона от начала войны 1812 г. до Смоленска профессор Академии генерального штаба Иностранцев: «Среди сотрудников Суворова князь Багратион занимал первое место, и потому, конечно, действия его армии… должны были служить особенно характерным выражением искусства и системы его великого учителя… Характерной чертой князя. Багратиона как полководца является глубокое понимание превосходства духа над материей, унаследованное им от его великого учителя».

Неустанная заботливость о солдате, идущая параллельно с предъявлением ему требовании величайшего напряжения сил, уменье привлекать к себе сердца людей и владеть ими, высокое гражданское мужество, выражавшееся неоднократно в принятии решений, расходившихся с указаниями свыше, быстрота и твердость в выполнении, искусная организация форсированных маршей — вот главные характерные черты Багратиона, по мнению Иностранцева, этого наиболее глубокого (и наиболее овладевшего архивным материалом) специалиста, анализировавшего подробнейшим образом, не только день за днем, но час за часом, все военные действия и распоряжения Багратиона от Немана до Смоленска.

Никого не удивило бы, если бы, например, Александр в начале войны 1812 г. назначил его главнокомандующим. Но Александр этого не сделал. С другой стороны, царь боялся обидеть

Багратиона назначением Барклая де Толли. С характерной для Александра половинчатостью и нерешительностью он назначил обоих: Барклая — командующим 1-й армией, Багратиона — командующим 2-й, причем каждый из них оказался независимым в своих действиях от другого. Это лукавое решение, очень запутывавшее все дела, дополнялось еще одной существенной чертой: 1-я армия (Барклая) была в два с лишним раза больше 2-й (багратионовской).

Началось нашествие, и тут между обоими командующими возникла та безнадежная ссора, о которой я выше упоминал. Багратион смотрел на тактику Барклая, как на тактику ошибочную. Он рвался в бой, но со своими ничтожными силами он не мог, не губя своей армии, противостать огромным силам Наполеона, а все его призывы к Барклаю оставались безрезультатными. Неистовый гнев Багратиона возрастал и возрастал, потому что при отсутствии поддержки со стороны Барклая он принужден был и сам тоже отступать, а это он считал гибелью для России.

Еще не прошло и полных пяти дней с момента вторжения Наполеона на русскую территорию, как уже обнаружился полный раздор между обоими главными командирами русских армий.

«Но, государь, очень уже неприятно видеть, что князь Багратион, вместо того чтобы исполнять немедленно приказы вашего величества, теряет свое время на излишние рассуждения, да еще, сообщая их генералу Платову, запутывает голову этому генералу», — так писал Барклай де Толли царю 17 июня 1812 г., видя, что Багратион решительно не желает повиноваться его приказам. Барклай знал, к своей величайшей досаде, что Багратион нисколько не верит, будто приказы из штаба 1-й армии идут от самого царя. Багратион не хуже Барклая понимал, что это лишь очень прозрачная хитрость со стороны Барклая и что пишет приказы не царь, а Барклай.

Багратион был в состоянии почти непрерывного раздражения. Он ненавидел Барклая и не верил ему. Уже с первых дней войны Багратион без ярости не может говорить о Барклае. Нельзя воспроизвести в печати всех слов, какие он пускает в оборот в своем письме от 15 (3) июля, писанном к Ермолову, начальнику штаба Барклая и личному другу Багратиона: «Стыдно носить мундир, ей-богу, я болен… Что за дурак… Министр Барклай сам бежит, а мне приказывает всю Россию защищать. Пригнали нас на границу, растыкали, как шашки, стояли, рот разиня, загадили всю границу и побежали… Признаюсь, мне все омерзело так, что с ума схожу… Прощай, Христос с вами, а я зипун надену». Он несколько раз в эти дни и недели отступления, последние недели своей жизни, грозил уйти в отставку, надеть зипун и солдатскую сумку, стать солдатом, надеть сюртук, сбросить «опозоренный» Барклаем русский мундир и т. п. Позднейшая военная критика не согласилась с Багратионом, и если иной раз высказывалось мнение, что, может быть, Барклай должен был дать генеральный бой под Смоленском, то во всяком случае отступление его от Вильны до Смоленска признается вполне правильным и логичным. «Я ни в чем не виноват, — писал Багратион Аракчееву 8 июля (26 июня) 1812 г., - растянули меня сперва, как кишку, пока неприятель ворвался к нам без выстрела, мы начали отходить неведомо за что. Никого не уверишь ни в армии, ни в России, чтобы мы не были проданы. Я один всю Россию защищать не могу. Первая армия тотчас должна идти к Вильне непременно, чего бояться? Я весь окружен и куда продерусь, заранее сказать не могу». Багратион хотел, чтобы Аракчеев повлиял на Александра, и он даже хочет пугнуть царя внутренними восстаниями: «Я вас прошу непременно наступать… а то худо будет и от неприятеля, а может быть, и дома шутить не должно. И русские не должны бежать. Это хуже пруссаков мы стали… но вам стыдно… Я не имею покоя и не вижу для себя, бог свидетель, рад все сделать, но надобно иметь и совесть и справедливость. Вы будете отходить назад, а я все пробивайся. Если фигуру мою не терпят, лучше избавь меня от ярма, которое на шее моей, а пришли другого командовать. Но за что войска мучить без цели и без удовольствия».

Багратион срывал свой гнев на Барклае. Не мог же он писать самому царю, чтобы тот не

мешал ему! Ведь что спасло Багратиона от грозившей ему неминуемой капитуляции? Не только грубые ошибки бездарного Жерома Бонапарта, короля вестфальского, но и собственный блестящий стратегический талант русского полководца. Багратион получает в Слуцке известие, что к Бобруйску направляются громадные неприятельские силы. Не теряя ни одной минуты, форсированным маршем Багратион спешит к Бобруйску, чтобы успеть миновать опасное место, хотя знает, что Александр этого не желает и раздражен этим отходом. 14 июля Платов, по приказу Багратиона, имел удачное дело против французских конных егерей при местечке Мир, отбросил их и разгромил часть их полка. Это несколько задержало преследование и дало главным силам Багратиона возможность сравнительно более спокойно совершить свой отход. Вот, наконец, миновав страшнейшую опасность, спасши свою армию, спасши обозы, совершив дело, которое при таких условиях никто в тогдашней Европе, кроме разве самого Наполеона, не мог бы сделать, Багратион приходит в Бобруйск и здесь получает «рескрипт» Александра: царь (и до того времени зливший, смущавший и всячески сбивавший с толку Багратиона) изволит делать ему выговор за то, что Багратион не пошел в Минск, куда идти, по мнению Багратиона, не было никакого смысла и, главное, никакой возможности. В том же рескрипте царь давал и новые советы на будущее время, столь же несерьезные и ненужные. И опять Багратион, к счастью, как увидим дальше, не послушался. 25, 26 27 июля Багратион, пройдя к Новому Быхову, перешел со всей своей спасенной им армией через Днепр. 4

В течение десяти жарких и томительных июльских дней Барклай шел от Дриссы через Полоцк к Витебску, последовательно получая донесения от лазутчиков и от разведки, что Наполеон с главными силами тоже идет на Витебск. Если бы при Барклае была вся армия, которой он располагал на Дриссе, то и в таком случае можно было опасаться, что против 100 тысяч русских Наполеон приведет в Витебск от 150 до 200 тысяч человек. Но ведь у Барклая не было даже и полных 75 тысяч человек: он должен был выделить из своих 100 тысяч целую четверть (25 тысяч человек) для усиления Витгенштейна, охранявшего опасную дорогу на Петербург.

Тревога в Петербурге была большая, и придворная аристократия не очень задерживалась в том году в столице. Панически трусила мать Александра, вдова Павла I, императрица Мария Федоровна. Она все куда-то собиралась, укладывалась, наводила справки о максимально безопасных местах и т. д. Лишь когда Александр приехал в Петербург, где благоразумно и просидел всю войну, Мария Федоровна несколько поуспокоилась. В такой же тревоге находился и цесаревич Константин Павлович. Но он больше возлагал свои надежды не на бегство, а на скорейший мир с Наполеоном. Впрочем, Константин еще пока был «при армии», т. е. путался в штабе, давал советы, раздражал Барклая до того, что молчаливый и сдержанный Барклаи начинал несправедливо нападать на своих адъютантов за невозможностью выругать от души назойливого цесаревича, который не только своей надменной курносой физиономией, но и нелепостью мышления напоминал своего отца Павла Петровича.

Итак, нужно было защищать Петербург с его правительственными учреждениями, с царской семьей. Такова была задача, возложенная Барклаем на Витгенштейна.

Генерал Витгенштейн был полководцем очень посредственным и нерешительным, к тому же ответственная роль защитника Петербурга сильно его подавляла. Еще в первые дни войны он имел неудачное столкновение с французами и предпринял вынужденное отступление к Друе. В войсках Витгенштейна было много отрядов ополчения. Но ведь ополченцы нисколько не уступали регулярным войскам в храбрости, упорстве, ненависти к врагу. Вот характерный случай. Внтгенштейн приказывает пехоте отступить. И вот что произошло, по словам очевидца: «Регулярные войска тотчас же повиновались, но ополчение никак не хотело на то согласиться. „Нас привели сюда драться, — говорили ратники, — а не для того, чтоб отступать!“ Сие приказание было повторено вторым и даже третьим адъютантом, но ополчение не хотело и слышать этого. Храбрые ратники, незнакомые еще с воинской

подчиненностью, горели только желанием поразить нечестивого врага, пришедшего разорять любезную их родину».

Дело дошло до того, что сам командующий северным фронтом Витгенштейн должен был примчаться уговаривать ополченцев. Не стрелять же было в них? Обратимся снова к рассказу очевидца: «Наконец, приезжает и сам генерал. „Ребята, — говорит он, — не одним вам драться с неприятелем! Вчера мы его гнали, а сегодня моя очередь отступить. Позади вас поставлены пушки; если вы не отойдете, то нельзя будет стрелять". — „Изволь, батюшка, — отвечали они: — что нам заслонять пушки, а от неприятеля не отступим!"»

В конце концов Витгенштейн кое-как уломал их. Ополченцы «отошли с досадой, говоря генералу: ты велел — ты и отвечай». После артиллерийского огня двинули и ополчение на французов. «Ратники подобно разъяренным львам бросились на неприятелей и не замедлили нанести им знатную потерю».

Мы увидим дальше, что ополченцы, влившиеся в армию Кутузова, нисколько не уступали ополченцам, которыми располагал Витгенштейн. Это были крестьяне, часто уже немолодые, взятые от сохи буквально иногда за несколько дней, в лаптях или рваных сапогах, в сермяге вместо мундира и шинели, с пиками вместо сабель и ружей, завидовавшие солдатам регулярных частей, которые шли в бой вооруженными, но сражавшиеся не хуже их.

У Витгенштейна в распоряжении было 25 тысяч человек. Против Витгенштейна шел маршал Удино (герцог Реджио). У маршала Удино было около 28 тысяч человек, хотя Наполеон распорядился с начала вторжения, чтобы у него было 37 тысяч, потому что, по мысли императора, Удино должен был, соединившись с Макдональдом, осаждавшим Ригу, угрожать Петербургу. Удино занял Полоцк и пошел к северу, стремясь, согласно уговору с Макдональдом, обойти Витгенштейна с севера и, отбросив его к югу, т. е. к левому флангу центральной наполеоновской армии, уничтожить весь витгенштейновский корпус и открыть себе дорогу на Петербург. Из этого, однако, ничего не вышло. Макдональд не выполнил ни одного из всех тех действий, какие были уговорены между ним и Удино, а раздробил свои силы между осадой Риги и г. Динабургом, куда благополучно вошел, но где и застрял. Знаменитый наполеоновский маршал, который за всю свою долгую боевую жизнь был побежден только один раз — и побежден в Италии самим Суворовым, — не потому оказался тут несостоятельным, что сробел перед Витгенштейном, который как стратег и тактик был в сравнении с ним ничтожной величиной, но дело было в том, что Макдональд совсем не верил своим войскам. Наполеон дал ему 32 500 человек, из которых две трети были пруссаки, а в остальной трети — почти все вестфальцы и баварцы и только немного поляков. Из всех этих войск усердствовали одни пруссаки.

В первый, самый тяжкий и опасный для России период войны прусские генералы, вторгшиеся в Россию под общим командованием и в составе корпуса маршала Макдональда, дрались, что называется, не за страх, а за совесть, потому что уповали, как и сам благочестивый их монарх Фридрих-Вильгельм III, получить от Наполеона в награду значительную часть русской территории — именно весь Прибалтийский край. Русские сначала думали, что пруссаки участвуют в войне только для вида, чтобы не раздражить Наполеона, и что по-настоящему биться с русскими они не станут, но, к своему удивлению, они поняли, что ошиблись. «По предположению, довольно вероятному, что прусские подданные принужденно будут вовлечены в неприятельские противу нас действия, можно было надеяться на слабое их противу войск наших сопротивление, а потому старался я оказывать некоторые виды приязненности в отношении Пруссии, думая поддержать усердие их к нам, но как довольно удостоверился я, что при нападении неприятеля на отряды командуемых мною войск и при сильном сопротивлении и поражении пруссаки дерутся даже отчаянно», то и решено было наложить в рижском порту эмбарго на прусские суда, там находящиеся18. Пруссаки не только исправнейшим образом убивали русских солдат, но и «под метелочку», как выразился один очевидец, ограбили весь край, который они занимали в 1812 г. Но едва Наполеон ушел из

России, пруссаки немедленно переметнулись на сторону России.

Не полагаясь на баварцев и вестфальцев своего корпуса, Макдональд бездействовал. Удино остался без поддержки и, желая обойти Витгенштейна, сам оказался обойденным. Между Клястицами и Якубовом он встретился с Витгенштейном, и встретился как раз тогда, когда целую треть своего отряда должен был отделить для охраны мостов через Дриссу, а другую треть под начальством генерала Вердье отправил к Себежу. 30 июля Витгенштейн имел успех в столкновении с сильно ослабленным таким образом маршалом Удино и отбросил маршала с его позиции обратно к Полоцку. Арьергардом Витгенштейна командовал генерал Кульнев, который и пустился преследовать отступающего маршала. Кульнев, подобно Н. Н. Раевскому, Багратиону, Неверовскому, Кутузову, был одним из очень немногих генералов, достигавших полной власти над солдатами без помощи зуботычин, палок и розог. Один из главных участников завоевания Финляндии, Кульнев так великодушно, по-рыцарски вел себя по отношению к побежденным, что его памяти посвящено несколько очень теплых строф в национальной финляндской поэме Рунеберга «Рассказы прапорщика Штоля», в которой воспевается сопротивление финляндского народа царскому завоеванию. Но была у Якова Петровича Кульнева одна слабая сторона: он необычайно увлекался в битве и действовал нередко очертя голову, безумно рискуя и своей и чужой жизнью. В бою под Клястицами 30 июля не его начальник Витгенштейн, а именно он, Кульнев, был победителем Удино, взял почти весь обоз маршала и 900 пленных. Увлекшись на другой день преследованием французов, Кульнев со своими 12 тысячами, которые отделил ему для этого Витгенштейн, бросился за отступающим маршалом. Неосторожно подавшись вперед, он натолкнулся на остановившийся внезапно и быстро построенный вновь в боевой порядок отряд Удино. Кульнев попал между двух огней и был отброшен с тяжкими потерями. Его отряд потерял около 2 тысяч человек и восемь орудий. Когда разбитый отряд уже отступал под огнем французских батарей, Кульнев, передают очевидцы, «печально шел в последних рядах своего арьергарда», подвергаясь наибольшей опасности обстрела. Французское ядро ударило в него и оторвало обе ноги. Смерть последовала почти моментально. Разбив Кульнева, отряд маршала Удино все-таки вернулся в Полоцк и здесь с этих пор, т. е. со 2–3 августа, долго стоял в бездействии. Корпус Витгенштейна тоже не подавал особых признаков жизни, довольствуясь больше обсервационной, чем непосредственно активной ролью. А Макдональд по-прежнему казался бесцельно им мобилизованным между Ригой и Динабургом.

Наполеон узнал обо всех происшествиях на северном фланге уже будучи в Витебске. Он был всем этим очень раздражен и недоволен. Он узнал, конечно, что никакой настоящей победы, о которой трубили в Петербурге и в Англии, Витгенштейн над маршалом Удино не одержал. Но не в этом было дело. Император должен был примириться с тем, что и никакой существенной помощи оба его действующие на севере маршала, Удино и Макдональд, ему уже не окажут и что серьезной диверсии на Петербург русские могут не бояться.

В свою очередь и в Петербурге стало вполне ясно, что решающие действия разыграются не на петербургских, а на смоленских путях и, может быть, на московских.

Барклай и Багратион, теснимые неприятелем, отступали на Витебск и Могилев при страшной жаре, полуголодные, по целым дням не видя свежей воды. Отступление обеих русских армий было очень тяжелым. Был иной раз плох офицерский состав. Храбрости среди офицеров было сколько угодно, но иногда неосторожность, небрежность, неуменье найтись в трудную минуту мешали и Барклаю и Багратиону, не всегда давали им возможность быть твердо уверенными в том, что их приказы будут выполнены.

Интендантская часть была поставлена из рук вон плохо. Воровство царило неописуемое. Вот вступает в Поречье отходящая от французов армия Барклая (дело было в конце июля). Обнаруживается, что нечем накормить лошадей. А где же несколько тысяч четвертей овса, где 64 тысячи пудов сена, которые должны находиться, по провиантским бумагам, в

магазинах Поречья и за которые казна уже уплатила все деньги? Оказывается, как раз только что провиантский комиссионер распорядился все это сжечь, полагая, по своим стратегическим соображениям, что Наполеон может захватить Поречье. Ермолову это показалось подозрительным, он потребовал справки: когда велено было закупить и свезти весь этот овес и все сено в магазины Поречья? Оказалось, что всего две недели тому назад. А так как перевозочных средств было очень мало (почти все подводы были уже взяты армией), то в такой короткий срок свезти все было никак нельзя. Наглая ложь комиссионера выяснилась вполне: он, конечно, и не думал ничего покупать и свозить, а просто сжег пустые магазины и этим аккуратно свел баланс в отчетной ведомости. Ермолов, обнаружив это, сказал Барклаю, что «за столь наглое грабительство достойно бы, вместе с магазином, сжечь самого комиссионера»19. Но к этой мере не прибегли. Да и было бы бесполезно: нельзя же было сжечь все провиантское ведомство в полном личном составе. И поплелись дальше некормленые лошади, таща артиллерию и голодных всадников.

Очень плоха была и медицинская часть. Врачей было ничтожное количество, да и те были плохи. Организация помощи раненым решительно никуда не годилась.

«Большая часть раненых офицеров и солдат остается после первой перевязки без подания дальнейшей помощи»20, констатирует главный медицинский инспектор русской армии Вилье уже в первые дни войны. Потом дело пошло не лучше, а еще гораздо хуже. Раненные около Витебска в начале июля только 7 августа прибывают в Вязьму без всякой даже самой примитивной медицинской помощи: «Многие из них от самого Витебска привезены не перевязанные, ибо при них было только двое лекарей, а в лекарствах и перевязках — совершенный недостаток, многих черви едят уже заживо»21, - так пишет министр внутренних дел Козодавлев Александру 19 (7) августа, т. е., значит, еще до прибытия новых тысяч и тысяч, раненных при обороне и при оставлении Смоленска.

Так отступали отделенные друг от друга обе небольшие русские армии, преследуемые наседающими французами.

Наполеон гнался за победой, за новым Аустерлицем, которого он не нашел на Немане, который ускользнул от него в Вильне. 5

Всего только спустя час после ухода русских войск из Вильны туда явился Наполеон с авангардом. Мост, зажженный ушедшими русскими, еще горел. Наполеон сел на складной стул возле горевшего моста и стал расспрашивать. Он продолжал эти расспросы и во дворце, откуда незадолго выехал Александр и где теперь поселился он сам. Чаще всего он спрашивал, почему русские не дали ему сражения и где они предполагают остановиться. Когда один из опрошенных (редактор «Курьера литовского») сказал, что у русских армия в 300 тысяч человек, то Наполеон сейчас же возразил, что это ложь, и протянул ему разорванный в клочки, но найденный и склеенный французами рапорт начальника штаба Барклая де Толли самому Барклаю; из этого документа явствовало, что продовольствия для всей армии Барклая отпускалось на 92 тысячи человек22. Даже предполагая, что у Багратиона не меньше сил, Наполеон мог вывести заключение, что у русских для непосредственной борьбы с ним есть не более 185 тысяч человек. На самом деле, как мы видели, было еще меньше. А он не мог не знать, что у Багратиона меньше войск, чем у Барклая, потому что при армии Барклая — сам царь и армия Барклая должна защищать Дрисский лагерь и Петербургскую дорогу. Но раньше чем двинуться против русских, Наполеон должен был заняться в Вильне рядом неотложных дел.

«Мои друг, я в Вильне и очень занят. Мои дела идут хорошо, неприятель был очень хорошо обманут… Вильна — очень хороший город с 40 тысячами жителей. Я поселился в довольно хорошем доме, где немного дней тому назад жил император Александр, очень тогда далекий от мысли, что я так скоро войду сюда»23, - так писал Наполеон императрице Марии-Луизе вскоре после вступления в город.

В Вильне он пробыл с 28 июня по 16 июля 1812 г. Польское дворянство чествовало его, как только могло. Его называли спасителем и отцом польского отечества, воскресителем Польши из мертвых и т. д. И далеко не сразу Наполеон мог всецело отдаться военным неотложным делам.

Жомини считает величайшей ошибкой, какую Наполеон совершил за всю свою жизнь, то обстоятельство, что он так долго просидел в Вильне. По мнению этого военного историка, который проделал войну 1812 г. в качестве бригадного генерала в наполеоновской армии, если бы Наполеон, не задерживаясь в Вильне, пошел прямо к Минску, он не дал бы ускользнуть Багратиону, настиг бы и уничтожил его.

Но очень уж много разнообразнейших забот обступило Наполеона со всех сторон. Нужно было устраивать Литву, организовывать ее гражданское правление; нужно было вести тонкую, сложную политику, не давая никаких точных обещаний полякам (насчет присоединения Литвы к Польше), чтобы не затруднять этим всегда возможного мира с царем; нужно было зорко следить за обостряющимся положением в Испании; нужно было, ничего не давая самой Литве, организовать планомерное выкачивание из этой страны хлеба, сена, овса и новобранцев.

«Я люблю поляков на поле битвы, — это храбрый народ; но что касается их законодательных собраний, их „свободного вето“, их сеймов, когда они заседали верхом на лошади, с саблей в руках, то этого я не хочу», — заявил Наполеон графу Нарбонну еще перед переходом через Неман.

Он так и поступал с поляками в Вильне: ровно никаких гарантий им не давал, держал очень двусмысленные речи насчет будущего «воскрешения» Польши и присоединения к ней Литвы, но очень нетерпеливо и надменно требовал провианта и людей.

Все эти заботы бледнели перед другой тревогой, которой еще не было в душе Наполеона, когда он переходил через Неман, но которая, появившись в Вильне, уже не покидала императора в продолжение всей войны.

В первые же дни июля Наполеон стал отдавать себе отчет в тяжелых сторонах континентального климата при русском бездорожье; маршалы писали ему об этом в Вильну. «У нас тут была большая жара, теперь же очень сильные дожди, которые создают нам затруднения и приносят нам большой вред»24, - пишет император жене 2 июля.

Болезни угрожающе косили ряды армии уже с первых дней похода. В виде примера достаточно сказать, что при выступлении Наполеона из Вильны даже из немногих отборных полков, стоявших в самом городе, 3 тысячи больных и раненых солдат великой армии были оставлены в Вильне, и в самом конце июля Наполеон узнал, что они находятся в совсем отчаянном положении, что у них нет даже соломы, на которую можно было бы лечь, и что в складах не осталось никаких запасов25. Он написал суровый приказ в Вильну герцогу Бассано. Конечно, ни малейших реальных результатов от этого приказа не получилось.

Но хуже всего, даже хуже болезнетворной жары, было неожиданное, в высшей степени тяжелое положение с продовольствием людей и кормом для лошадей. Быстрота движения армии, за которой не мог угнаться обоз, породила голод и мародерство.

У Наполеона были заготовлены колоссальные магазины, обильнейший обоз, но все эти бесконечные фуры не могли угнаться за быстро двигавшейся армией, и, еще не войдя даже в пределы России, солдаты, лишенные регулярной выдачи довольствия и фуража, стали грабить население. Еще шли по земле «союзника», по Пруссии, а уже обозы отстали, и, как пишет очевидец и участник войны Росс, последовал «странный приказ: всем полкам запастись на три недели фуражом и провиантом… И вот, по деревням и дворам… отправлены были команды с офицерами во главе, с поручением вытребовать, забрать и

привезти в свои полки все необходимое. Эти команды всюду натыкались на другие, отправленные с той же целью. Никто не принимал отказа, ибо никто не смел вернуться с пустыми руками, а потому происходил просто насильственный дележ добытого. Таким образом быстро опустошены были всякие припасы из амбаров, житниц… Отпирали конюшни, впрягали вьючный скот, грузили фураж и провиант, прихватывали кстати убойный скот, привязывали его к телегам — и марш в полк! Этот приказ, столь быстро выполненный, до такой степени начисто обобрал жителей той местности, что они со всей силой почувствовали войну еще до ее начала»26. Все это творилось в Пруссии, союзной стране, до начала войны. В России, стране неприятельской, церемонились несравненно меньше.

Не только далеки были заготовленные в Пруссии гурты быков, не только отставали обозы, но и полковые пекарни и кухни не успевали использовать муку и мясо, когда припасы в начале кампании еще были налицо. Наполеон гневался: «Передайте генералу Жомини, — писал император 22 июля своему начальнику штаба Бертье, — что нелепо говорить, что нет хлеба, когда есть 500 квинталов муки на каждый день; что, вместо того чтобы жаловаться, нужно вставать в четыре часа утра и самому отправляться на мельницы и в провиантскую часть и заставлять, чтобы изготовляли 30 тысяч рационов хлеба в день; но что если он будет только спать и плакать, то он ничего не получит; что император, у которого много занятий, сам ежедневно посещает провиантскую часть»27. Но скоро ни муки, ни мяса, ни овса, ни сена долгими днями уже ниоткуда не получалось. И мародерство снова выступило на первый план.

Сложнейшие заботы обступали Наполеона. Он раздражался не только медленностью движения больших обозов великой армии из Пруссии в Литву, но и еще не менее тревожным обстоятельством, которое начало проявляться уже с начала похода.

Ни в одной наполеоновской войне, за исключением итальянской кампании 1796–1797 гг. и завоевания Египта в 1798–1799 гг. войска не грабили так бесцеремонно и не опустошали так занятую местность, как в 1812 г. в России.

Уже 2 июля, через каких-нибудь восемь дней после вторжения в русские пределы, Наполеон подписал суровый приказ по армии: арестовывать всех солдат, уличенных в грабеже и мародерстве, предавать их военно-полевому суду и в случае обвинительного приговора расстреливать немедленно. Но даже частые расстрелы, перед чем никогда не останавливался маршал Даву, не помешали продолжающимся непрерывным грабежам со стороны войск 1-го корпуса французской армии, занявшей Минскую губернию; о других корпусах нечего и говорить. Но еще больше, чем эти солдатские грабежи, разоряли Минскую, Витебскую, Виленскую, Гродненскую, Смоленскую губернии официальные поборы и реквизиции, налагаемые французскими властями. Приказом от 1 июля Наполеон учредил в Вильне правящую комиссию Литвы, и эта комиссия должна была управлять Литвой и Белоруссией, т. е. попросту организовать насильственное отнятие как у помещиков, так и у крестьян всех припасов (прежде всего хлеб, солому, сено и овес), нужных для великой армии. Комиссия действовала беспощадно и привела в состояние полной нищеты всю громадную область, где она эти полгода, с конца июня по декабрь 1812 г., «правила».

Немного припасов французам удалось получить на русских складах. Русская армия, отступала так быстро из Вильны, что не успевала забирать по пути и по сторонам от своего движения накопленные там припасы. Например, в Вилейке в руки генерала Кольбера попало 2 тысячи квинталов муки, от 30 до 40 тысяч рационов сухарей и много овса. Наполеон был в восхищении от этой находки, которая пришлась как нельзя более кстати: лошади во французской кавалерии падали тысячами от отсутствия овса, а сухари и мука тоже далеко не во всех частях великой армии оказывались в изобилии28.

Этот случай был не единичен.

В Старом Лепеле французы нашли 750 мешков муки и 327 тонн сухарей29. В Орше Наполеон нашел огромные склады.

Но не всегда от этих находок было много толку: армия быстро двигалась к Витебску, а перевозочных средств не хватало. Только что Наполеон радовался, что в Орше нашлось огромное количество муки, а уже 21 июля император раздражается и пишет генералу Груши запрос, почему он не присылает эту муку в Глубокое, где сосредоточивается центр великой армии. «Мы в величайшей нужде»30.

Дисциплина в великой армии совсем не походила на обычную дисциплину наполеоновских войск, так восхищавшую военных людей разных наций.

Один из ограбленных, виленский помещик Эйсмонт, вздумал как-то заикнуться о том, как, «по словам библии», бесчисленное войско фараона погибло в пучине Красного моря. Но это сравнение успеха не имело: «Когда я сие мое замечание сообщил некоторым последователям Наполеона, то едва не сделался жертвой моей откровенности, ибо один из сумасбродных вынул полуаршинный кинжал и бросился ко мне, закричав: „Умри, не верующий в могущество земного бога и его непостижимый порядок…“ И вот от сих пор научился я молчать»31.

Грабили, по единодушным отзывам литовцев и потом русских, больше всего баварцы, пруссаки, рейнские немцы, хорваты (из итальянского корпуса вице-короля Евгения). Императорская гвардия почти совсем не грабила. Но это не удивительно: она получала несравненно больше продовольствия, чем остальная армия.

Самая армия была не та, что прежде. В ней не было прежних волонтеров, она была даже не чисто французская, а какая-то громадная всеевропейская. Дисциплина, как сказано, не походила на ту, которая всегда царила в наполеоновских войсках. И это замечали более опытные французские офицеры постарше с первых же дней похода, они предвидели много бед и не переставали с тревогой повторять, что армия грабит, мародерствует, отстающих, дезертирующих — масса и что дело может от этого страшно пострадать.

«Но уже сказано было, что в этой кампании ничего не будет делаться так, как делалось в прежних кампаниях»32, - это характерное замечание мы находим в рукописи одного пленного французского генерала, начальника штаба 3-й кирасирской дивизии.

Никогда еще Наполеону не приходилось в самые первые дни войны выслушивать столько докладов о дезертирах, об отстающих, о солдатах, покидающих ночью полк, чтобы

образовывать грабительские мародерские шайки. Дело дошло до того, что император приказал своему начальнику штаба Бертье передать маршалу Нею повеление: «Разослать отряды кавалерии под начальством офицеров главного штаба, чтобы изловить отставших, многие из них совершают преступления и кончают тем, что попадают в руки казаков»33. И этот приказ пришлось отдать 4 июля, т. е. ровно через десять дней после открытия кампании. Грабеж, конечно, не прекратился, а продолжался под видом «питания от квартирохозяев».

Французы составляли на этот раз меньшинство в наполеоновской армии. Большинство же состояло из немцев, итальянцев, голландцев, португальцев, испанцев, иллирийских славян, хорватов, швейцарцев. Тут были люди, от души ненавидевшие Наполеона как поработителя их отечества, и шли они на войну исключительно из страха. Дезертирство для многих из них было пламенной, любимой мечтой с первого же момента вступления на русскую территорию. Конечно, другие в их среде шли, надеясь на личное обогащение, на повышение, на те выгоды, которые так щедро сыпались всегда на наполеоновскую армию во время и после всякого похода.

Но, конечно, убийственно провалилась идея Наполеона забирать в свою армию также и

испанцев только потому, что они «числились» подданными Жозефа Бонапарта.

Интересно отметить, что Наполеон отлично знал, что, например, образовывать полки сплошь из испанцев — хотя бы при французах-офицерах — дело рискованное. «Такие полки пробуют сформировать, но на них не рассчитывают»34, - писал он еще перед нашествием на Россию графу Дарю. Он предпочел вливать понемногу испанцев в чисто французские батальоны. Но и это плохо удалось: испанцы всюду оставались испанцами, ненавидящими Наполеона.

Испанцы, силой забранные в армию, не только не хотели отдавать свою жизнь для завоевания России, но норовили и тут продолжать свою бесконечную, непримиримую войну не против русских, а против французов. Вот сцена еще из того периода войны, когда наполеоновская армия быстро продвигалась в глубь России. Рассказывает французский лейтенант Куанье, дело происходит по пути из Вильны в Витебск: «Один сгоревший лес лежал вправо от нашего пути, и когда мы с ним поровнялись, я увидел, что часть моего батальона пустилась как раз туда, в этот сожженный лес. Я скачу галопом, чтобы вернуть их назад. Каково же было мое удивление, когда вдруг солдаты оборачиваются ко мне и начинают в меня стрелять… Заговорщики были из солдат Жозефа… (брата Наполеона, испанского короля), все без исключения испанцы. Их было 133; ни один француз не замешался среди этих разбойников. На другой день испанцы были схвачены французским кавалерийским отрядом. Полковник решил расстрелять не всех, а половину. Началась лотерея: часть вынимаемых билетиков была белая, часть черная. 62 человека, вынувшие черные билеты, были тут же, на месте, расстреляны, остальных полковник помиловал»35.

Подобные эпизоды показывали чрезвычайно ясно, до какой степени забота Наполеона о количестве солдат великой армии повредила ее качеству. 6

Находясь в Вильне, Наполеон должен был одновременно обдумать и предпринять две операции: против Багратиона, отступавшего со 2-й армией (45 тысяч человек) к Несвижу, и против Барклая, который уже 26 июня вышел из Вильны со своей 1-й армией (около 100 тысяч человек) по направлению к Дрисскому укрепленному лагерю на Двине.

Наиболее трудным было положение Багратиона, и Наполеон сразу же велел двинуть против него большие силы. По его приказу в погоню за Багратионом вышел из Вильны маршал Даву с 50 тысячами человек. Даву шел через Ошмяны на Минск, обходя Багратиона и отрезая отступление. Своему брату, вестфальскому королю Жерому Бонапарту, у которого было около 16 тысяч человек, Наполеон велел идти на Новогрудок, предупреждая движение туда Багратиона, который 29 июня еще был у Немана. Багратиону грозила капитуляция или полнейшее истребление.

В два часа ночи 1 июля Наполеон послал маршалу Даву следующий приказ: «Сегодня уже нет сомнения, что Багратион прошел из Беженца на Гродно, из Гродно прошел в шести лье от Вильны и направился в Свенцяны. Я организовал три сильные колонны для того, чтобы его преследовать. Все три будут под вашим начальством»36. Даву находился в этот момент в Ошмянах.

Положение Багратиона казалось отчаянным. У него было около 40 тысяч человек, так как целых две дивизии были уже при начале преследования отброшены на Волынь. За ним гнались маршал Даву с 70 тысячами, Понятовский с 35 тысячами, король вестфальский Жером Бонапарт с 16 тысячами, Груши с 7 тысячами и Латур-Мобур с 8 тысячами. Французские показания (Бельфора и др.) говорят нам, что если из этих 136 тысяч вычесть отставших, больных, мародеров, даже 46 тысяч человек, то все же останется 90 тысяч свежего, великолепно вооруженного войска с обильной кавалерией. И все-таки Багратион ушел. Французские командиры сваливали вину один на другого. Отбиваясь с обычным своим мастерством и упорством от наседавшего на него Даву, Багратион бросился к югу и здесь мог бы погибнуть, если бы Жером Бонапарт пришел вовремя и перерезал ему путь. Но

Багратиону удалось уйти раньше, чем сомкнулись французские клещи.

Маршал Даву, преследуя Багратиона, занял Могилев, занял Оршу и двинулся дальше. Столкнувшись с корпусом Раевского и наблюдая казачьи разъезды Платова, посланные Багратионом к Могилеву для маскировки собственного его отступления со всей 2-й армией, Даву замедлил движение и тут сделал убийственную ошибку, послав за Багратионом корпус Жерома Бонапарта, вестфальского короля, наиболее бездарного из всех бездарных братьев Наполеона. Для Багратиона уйти от Жерома, сбить его с толку и замести все свои следы было, что называется, вопросом жизни и смерти. Он ушел от страшной опасности. Если бы Даву стал быстро и круто теснить и догонять его со всеми своими силами, катастрофа 2-й русской армии была бы очень возможна, и во всяком случае благополучное соединение Багратиона с армией Барклая в Смоленске было бы немыслимым.

Уже 5 июля для Наполеона стало вполне очевидно, что его брат Жером упустил Багратиона и что вся эта операция в первом своем фазисе провалилась, но еще и теперь малейшая ошибка Багратиона могла его погубить. Что Жером напортил и напутал столько, сколько было в его силах, это императору стало ясно: «Сообщите вестфальскому королю, — разгневанно диктовал он Бертье, — что я крайне недоволен тем, что он не отдал все свои легкие войска князю Понятовскому для преследования Багратиона, чтобы тревожить его корпус и остановить его движение… Скажите ему, что невозможно маневрировать хуже, чем он это делал. Этого мало. Скажите ему, что все плоды моих маневров и прекраснейший случай, какой только представился на войне, потеряны вследствие этого странного забвения первых правил войны»37.

Наполеон 6 июля дает новую директиву: «Нужно либо заставить Багратиона идти в Могилев, либо отбросить его в Пинские болота. И в том и в другом случае французские части могут войти в Витебск раньше Багратиона, и Багратион окажется отрезанным». Одновременно Наполеон приказом от 6 июля подчинил Жерома со всеми его корпусами маршалу Даву38.

7 июля надежды Наполеона оживились: прибыли сведения. «Багратион в Новогрудке, преследуемый со всех сторон», — писал император вице-королю Евгению Богарне из Вильны. Но это было ошибочно. Багратион снова ушел.

7 июля Багратион послал секретный приказ полковнику Грессеру, стоявшему с отрядом в Борисове: «Узнав, что неприятель должен находиться в Минске, предписываю вам, как скоро он приблизится в 30 верстах, не ожидая другого повеления, заклепать все пушки, бросить их в воду и самим с вверенной вам командой отступить в Бобруйск»39.

Наполеон вскоре уже окончательно понял, что Багратиона не удалось окружить, и, вероятно, убедился, что Багратион — не генерал Мак и не похож на прусских генералов и что этот русский командующий, несмотря ни на что, приведет в Смоленск свою армию в полной боевой готовности.

Наполеон вновь и вновь гневно обрушился на своего бездарного брата, злополучного Жерома: «То, что вы не были осведомлены о том, сколько Багратион оставил на Волыни, что вы не знали, сколько дивизии при нем находится, что вы даже не стали его преследовать и что он мог совершить свое отступление так спокойно, как если бы никого позади него не было, — все это противно всем военным правилам»40.

Багратион, стоя в Несвиже, вечером 10 июля узнал, что маршал Даву со своим корпусом уже вошел в Минск, что король вестфальский Жером Бонапарт наступает на него из Новогрудка и что одновременно появились французские разъезды и на его левом фланге. Значит, грозят обход, окружение и капитуляция. 10 июля Багратион пришел в Слуцк, а из Слуцка пошел, все ускоряя темп отступления, к Бобруйску, куда и прибыл 18 июля. Все время ему грозила страшная опасность: маршал Даву занял последовательно Свислочь, Минск, Оршу и явно

ставил себе целью отрезать Багратиону путь к дальнейшему отступлению 19 июля Багратион, еще находясь в Бобруйске, узнал, что маршал Даву подходит уже к Могилеву Багратион очень скоро после первого известия получил и другое — что Даву уже занял Могилев. Он тогда отрядил Раевского, дав ему 15 тысяч человек, против Даву. 23 июля началась битва между деревнями Дашковкой и Салтановкои Бой, очень упорный, продолжался с перерывами весь день и стоил французам потери 3,5 тысяч, а Раевскому 2,5 тысяч человек. Раевский отступил, но это сражение дало возможность Багратиону 26 июля беспрепятственно добраться до Нового Быхова и перейти там Днепр. Такова рассказанная в нескольких словах история страшных дней, когда Багратион спас свою армию от капитуляции. Остановимся теперь на некоторых подробностях этого отступления Багратиона. За ним все время шел в качестве арьергарда конный отряд под начальством Платова. В этом отряде, кроме сборных казачьих и кавалерийских частей, находилась также гренадерская дивизия М. С. Воронцова. В Слуцке 13 июля Багратион узнал тревожнейшие факты. Даву выслал кавалерию по прямому пути па Бобруйск, а на другой день, 14-го, начальник арьергарда Платов донес ему, что большие французские силы напирают на арьергард и что с 28 июня ему приходится ежедневно выдерживать бои.

Дело в том, что еще 8 июля Даву занял Минск и пошел оттуда к Березине. Багратион со своими 45 тысячами человек оказался вновь в очень критическом положении. Он отступал, очень растянув свою армию, по узким дорогам между болотами. Когда Наполеон узнал о положении армии Багратиона, он воскликнул: «Они у меня в руках!» В этот момент он, очевидно, забыл, что сам же называл Багратиона лучшим генералом русской армии. Даву провел в Минске четыре дня. Багратион искусным маневром забрал сильно к югу, достиг Березины у г. Бобруйска, перешел в Бобруйске через Березину и пошел к Днепру. Днепр он хотел перейти у Могилева, но, узнав по дороге, что Могилев уже занят войсками Даву, вышедшими из Минска, отошел с боем, уничтожив при этом, по признанию Сегюра, целый полк легкой кавалерии французов, затем приказал Раевскому задержать всеми силами, до последней возможности, Даву у местечка Дашковки, а сам двинулся к Новому Быхову, где и перешел Днепр 25 июля. Другая часть его войск перешла Днепр у Старого Быхова.

23 июля Раевский с одним (7-м) корпусом в течение десяти часов выдерживал при Дашковке, затем между Дашковкой, Салтановкой и Новоселовым упорный бой с наседавшими на него пятью дивизиями корпусов Даву и Мортье. Когда в этой тяжкой битве среди мушкетеров на один миг под градом пуль произошло смятение, Раевский, как тогда говорили и писали, схватил за руки своих двух сыновей, и они втроем бросились вперед41. Николай Николаевич Раевский был, как и его прямой начальник Багратион, любимцем солдат. Поведение под Дашковкой было для него обычным в тяжелые минуты боя. Это не мешало Николаю I впоследствии оставить без малейшего внимания все ходатайства старого генерала за своего зятя, декабриста Волконского. Войско Раевского ничуть не уступало своему командиру. Вот что доносил скупой на похвалы Раевский своему начальнику Багратиону после битвы между Салтановкой и Дашковкой: «Я сам свидетель, что многие офицеры и нижние чины, получив по две раны и перевязав их, возвращались в сражение, как на пир. Не могу довольно выхвалить храбрости и искусства артиллеристов: все были герои».

Итак, корпус Раевского в течение всего дня упорно выдерживал у местечка Дашковки натиск маршала Даву, давая время всей армии Багратиона идти к переправе через Днепр. 24 июля утром Багратион послал приказ Раевскому идти к Новому Быхову и дальше по мосту через Днепр. К удивлению и к счастью Раевского, Даву не преследовал его. Французский маршал был убежден именно вследствие упорства боя с Раевским, что Багратион идет к Могилеву и примет генеральное сражение, и стал сосредоточивать свои силы у Могилева. Весь этот маневр Багратиона и был рассчитан на то, чтобы внушить французам мысль, что он идет к Могилеву и там примет генеральный бой. И первые по времени военные критики и историки похода, лично не бывшие в этот период в штабе Багратиона, как, например, Клаузевиц, находившийся в армии Барклая, пишут, что Багратион пошел к Смоленску «после

тщательной попытки пробиться через Могилев»42. Эта «тщательная попытка» все-таки на несколько дней обманула Даву.

На левом берегу Днепра Багратион уже вышел из французских клещей. Маршал Даву только спустя сутки узнал о переходе Багратиона на левый берег Днепра, о чем и донес немедленно императору. Наполеон был очень недоволен этим неожиданным спасением Багратиона от неминуемого, казалось, разгрома и плена или полного уничтожения. Правда, несмотря на все ошибки Жерома (отставленного за бездарность и вернувшегося обратно в свое Вестфальское королевство), несмотря на опоздание и задержку самого Даву в Минске, все-таки частично повеление Наполеона Даву исполнил: багратионовская армия не была допущена к Витебску и только в Смоленске могла соединиться с армией Барклая. Но этот успех казался Наполеону не весьма большим утешением при сопоставлении с теми первоначальными надеждами, которыми он был так полон, когда узнал, что маленькая армия Багратиона отброшена к югу, отрезана от главных русских сил и что ей предстоит переправа через две параллельные реки: Березину и Днепр.

Во всяком случае следовало немедленно извлечь пользу из того обстоятельства, что Багратион ушел, а армия Барклая, т. е. главная русская действующая армия, предоставлена собственным силам.

Почти одновременно с известием о переходе Багратиона на левый берег Днепра в Вильну к Наполеону пришла и другая весть: оказалось, что 18 июля Барклай со всем войском внезапно покинул укрепленный лагерь в Дриссе и пошел к Витебску. 7

Как только было решено оставить Дрисский лагерь, Барклай 14 июля вышел из Дриссы и 18 июля прибыл в Полоцк. Отсюда он решил идти на Витебск, чтобы предупредить занятие этого города Наполеоном. В Витебск Барклай со своей (1-й) армией пришел 23 июля, занял город и расположился лагерем. У него была мысль подождать тут Багратиона я, как он говорил, дать сражение движущейся на Витебск великой армии. Чтобы задержать французов в их движении на Витебск. Барклай выслал навстречу французскому авангарду 4-й пехотный корпус под начальством графа Остермана-Толстого. Остерман пошел по дороге из Витебска к Бешенковичам, но, едва пройдя 12 верст от Витебска, он наткнулся на головную часть французской кавалерии. Русские гусары опрокинули французов и, увлекшись преследованием, налетели на конную бригаду французов, которая перебила многих из них и отбросила остальных. Этот бой произошел у местечка Ост-ровно, в 26 верстах от Витебска, 25 июля. На помощь отброшенным русским гусарам подоспели главные силы Остермана-Толстого. Подойдя к Островну, Остерман-Толстой увидел перед собой густую массу кавалерии: это был сам Мюрат, шедший впереди великой армии со своей конницей. Завязался упорный бой, который длился с переменным успехом весь день 25 июля. Остерману дали знать, что дивизия генерала Дельзонна, посланная вице-королем Евгением, грозит обойти его правый фланг, и почти в то же самое время, когда он это узнал, два французские полка из двух бригад Русселя и Жанино стремительным наступлением отбросили три русских батальона. Остерман-Толстой отступил, отстреливаясь. Сопротивление отряда Остермана было бы сломлено, если бы Барклай, узнав о том, что произошло под Островном, не поспешил выслать подкрепление под начальством Коновницына. К концу ночи и на рассвете с 25 на 26 июля к разбитым полкам Остермана подошла пехотная дивизия Коновницына, и 26 июля бой возобновился с удвоенной силой, на этот раз уже в 8 верстах за Островном, около деревни Какзвачино.

Конечно, Коновницын, так же как Остерман, должен был только задержать французов, чтобы дать время Багратиону подойти к Витебску, где Барклай решился было дать генеральное сражение. Эту самую тяжкую роль — задерживать подавляющие силы врага, изображать живой заслон, наперед предназначенный к уничтожению, без малейших шансов на победу, — Петр Петрович Коновницын и его солдаты исполнили в кровавый день 26 июля 1812 г. так же успешно, как накануне Остерман и как, спустя несколько дней, уже на путях к Смоленску,

Неверовский и Раевский. Коновницын, как и многие другие дельные военные люди, подвергся немилости при Павле I, был изгнан из армии и восемь лет провел без дела в медвежьем углу, в глухой деревне. Только в 1806 г. ему удалось снова поступить на службу и затем отличиться в 1808–1809 гг. при завоевании Финляндии. Служившие с ним говорили, что был он необычайным добряком и при отступлении русской армии до Москвы сплошь и рядом позволял своим солдатам брать с собой желающих уехать со своим добром жителей, так что его полки походили издали на какие-то движущиеся таборы. С солдатами он обходился по-товарищески, подобно тому как генерал Кульнев. Такое обхождение было решительно не в духе тогдашних армейских порядков, и только необычайная храбрость, толковость и распорядительность спасали его от новой отставки.

Прибыв на смену Остерману-Толстому, Коновницын рано утром 26 июля подвергся нападению с двух сторон: Евгения Богарне и Мюрата. С восьми часов утра до трех часов дня Коновницын выдерживал неравный бой под сильным артиллерийским огнем и при упорных артиллерийских атаках мощного врага. Около трех часов дня Мюрат и Евгений Богарне вытеснили Коновницына из его позиций, и он начал отступление. В этот момент на место действия прибыл сам. Наполеон. Он сейчас же отменил решение Мюрата и Евгения Богарне дать отдых французским войскам, очень потрепанным и утомленным семичасовым боем, и приказал сейчас же начать преследование уходящего Коновницына. Медленно, с непрерывным боем, отряд Коновницына, теснимый огромными силами Наполеона, продолжал свое отступление до самой ночи. Так он дошел до деревни Комарове, куда подоспело новое подкрепление от Барклая и к поздней ночи 26 июля остатки отряда Остермана; остатки отряда Коновницына и это последнее подкрепление под начальством командира 3-го корпуса Тучкова подошли наконец к армии Барклая и стали в окрестностях Витебска, на правом берегу реки Лучосы.

Отряды Остермана и Коновницына, устлав своими трупами дорогу от Островна до Лучосы, свое дело сделали: они дали целых два дня лишних Барклаю и Багратиону для окончательных решений.

Целый день 26 июля Барклай в сопровождении своего начальника штаба Ермолова и офицеров свиты объезжал свои позиции. Целый день он ждал известий и от Коновницына, надолго ли еще хватит сил задерживать наседающих французов, и от Багратиона, есть ли надежда на то, что он прорвется через Могилев к Витебску. Ночь принесла ответ на оба вопроса: поздним вечером 26 июля пришли с Остерманом и Коновницыным те солдаты и офицеры, которые спаслись при истреблении их отрядов при Островне и при Какзвачине во время отступления к Витебску, а в предрассветные часы наступившего 27 июля в лагерь Барклая примчался курьер от Багратиона князь Меншиков: Багратион извещал, что ему не удалось пробиться через Могилев и что он узнал о том, что маршал Даву предпринимает движение к Смоленску.

Еще за несколько часов до приезда Меншикова с известием от Багратиона Барклаю доложили, что к Витебску внезапно явился сам Наполеон со старой гвардией. Из русского лагеря можно было уже увидеть вечером огни, горевшие в расположении французской гвардии на опушке леса перед Витебском. Барклаю пришлось немедленно принять решение.

Весь день перед этим начальник штаба Ермолов не переставал убеждать Барклая, что давать Наполеону бой на витебских позициях значит идти почти на верный проигрыш сражения и, следовательно, на уничтожение русской армии. И это Ермолов доказывал, думая, что приход Багратиона еще вполне возможен. Теперь, с утра 27 июля, следовало решаться на бой в этих же невыгодных условиях без Багратиона. Барклай решил уйти из Витебска к Смоленску, оставив лишь в 5 верстах от Витебска 3 тысячи пехоты, 4 тысячи кавалерии, 40 орудий под общим начальством графа Палена. Это опять-таки был лишь заслон, который должен был хотя бы не надолго задержать Наполеона, если бы он пожелал немедленно пуститься по дороге из Витебска в Смоленск.

Бесшумно, при потушенных огнях, русская армия снялась ночью 27 июля с лагеря и ушла.

Как воспринимались эти события, предшествовавшие приходу Барклая в Витебск, во французской армии? Как дополняют французские показания эту картину борьбы до прихода Барклая и Наполеона в Витебск? Французские показания гораздо ярче рисуют геройское сопротивление русского арьергарда, чем русские документы. Вот что они говорят.

Наполеон, выйдя из Вильны, шел прямой дорогой через Глубокое и Бешенковичи на Витебск вслед за отступающим Барклаем.

Двинув армию из Глубокого через Бешенковичи на Витебск, Наполеон уже в пути стал обнаруживать твердую уверенность в близости великого часа генеральной битвы: он знал, что Барклай с главными русскими силами в Витебске и что Багратион, вероятно, с ним соединится. 25 июля в Бешенковичах Наполеон узнал о попытке Багратиона прорваться 23 июля к Могилеву и о том, что Даву отбросил русских.

Уверенность, что в Витебске будет дан бой, что Барклай не отступит, не только не поколебалась, но укрепилась в императоре. «Мы накануне больших событий; предпочтительно, чтобы они не были заранее возвещены и чтобы о них узнали одновременно с результатами»43, — писал Наполеон 25 июля из Бешенковичей своему министру иностранных дел герцогу Бассано в Вильну.

Наполеон до того жаждал генеральной битвы под Витебском, что еще в походе, по пути к Витебску, приказывал Мюрату и вице-королю Евгению не препятствовать отдельным отрядам русской армии соединиться с главными русскими силами: «Если неприятель хочет сражаться, то для нас это большое счастье… Поэтому нет неудобства в том, чтобы предоставить ему соединить свои силы, потому что иначе это могло бы для него послужить предлогом, чтобы не драться»44, - так распорядился император в четыре часа утра 26 июля, выступая из Бешенковичей в Витебск.

«Послезавтра мы даем сражение, если неприятель удержится в Витебске», — писал Наполеон того же 26 июля герцогу Бассано в Вильну.

25 июля французы двинулись на Витебск. Ночь с 25 на 26-е Наполеон провел в палатке между Бешенковичами и Витебском. Страшная жара продолжалась, солдаты шли «в пылающей пыли», ветераны великой армии вспоминали Египет и сирийские пустыни. Лето стояло неслыханно жаркое. «Мы задыхаемся», — писал Наполеон императрице.

Барклай отступал к Витебску. Генерал Дохтуров с арьергардом отбивался от наседавшего на него Мюрата. Русские шли в Островно. Здесь, как доложили Наполеону, не доходя нескольких километров до местечка, 25 июля 8-й гусарский полк французской кавалерии увидел идущих впереди по тому же направлению каких-то солдат. Так как шли по дороге в Бешенковичи, куда разом явились со всевозможных сторон не знавшие друг друга до сих пор части разноплеменной великой армии, то мюратовские гусары спокойно подвигались шагах в полутораста за неизвестными солдатами, думая, что это свои, как вдруг неизвестные открыли стрельбу и загремели пушечные выстрелы. Это и был русский арьергард, которому приказано было по мере возможности задерживать неприятеля. Битва продолжалась до самого Островна, куда с боем и подошли русские и французы. В лесу, окружающем Островно, граф Остерман, который начальствовал над арьергардом, держался, по признанию французов, с необыкновенным упорством. Только когда к Мюрату подоспели шедшие за ним из Бешенковичей к Островну войска вице-короля Евгения, русские стали отступать. Мюрат и Евгений пошли за ними. Но на следующий день, 26 июля, к вечеру русские снова остановились: к Остерману подошли дивизии Коновницына и вскоре затем — Палена. Битва в лесу возобновилась. Русские трижды бросались в атаку и трижды опрокидывали отдельные части французской армии. В одной из этих атак был истреблен хорватский батальон войск

Евгения, жестоко пострадали и кавалеристы Мюрата. Паника охватила французов: без приказа артиллеристы стали поворачивать орудия, часть пехоты бросилась бежать, за ней некоторые кавалерийские части. Наконец, Мюрату удалось восстановить положение, и бои в лесах продолжались. Потери французов были относительно очень велики. Вселяло тревогу и то, что ведь это были явственно лишь арьергардные, задерживающие бои, а между тем часть французской армии и 25 и 26 июля была несколько раз близка к самому настоящему поражению. 26-го вечером на место действия в эти леса, простиравшиеся от Островна до Витебска, явился сам Наполеон, за ним — главные силы его армии. Русские уже подошли к Витебску и стали входить в город. Французские передовые эшелоны поздно вечером прибыли к опушке леса, близко подступающего к равнине, где стоит Витебск. Наполеону поставили палатку у выхода из леса на равнину. Ночью император глядел на множество огней вокруг города и в самом городе.

Всю ночь там, вдали, у русских, все было освещено, все было в непрерывном движении. И трудно было уловить значение того, что там происходит. Что сделает Барклай? Будет ли он биться под Витебском? Произойдет ли завтра, 27 июля, или послезавтра, 28-го, новый Аустерлиц, который по своему значению затмит Аустерлиц австрийский, великую победу Наполеона над этими самыми русскими в 1805 г.?

Настало утро 27 июля. Движение вокруг города и в городе не прекращалось. Русские не атаковали Наполеона, а Наполеон решил, со своей стороны, напасть не 27, а 28 июля. Ему казалось даже выгодным, что Барклай на день, очевидно, решил отсрочить битву. В течение всего дня вышедшие из Бешенковичей французские войска непрерывным потоком вливались в армию, окружавшую Наполеона. Не прекращались отдельные мелкие стычки, то начиналась, то замирала, то снова начиналась перестрелка. Мюрат произвел с небольшим отрядом атаку на русскую кавалерию и был отброшен. С той и с другой стороны осталось несколько десятков трупов. Были еще кое-какие мелкие стычки. Но уже в 11 часов утра Наполеон приказал прекратить все это бесполезное молодечество. Он занялся более серьезным делом: изучением позиции завтрашнего генерального боя и осмотром подходивших в течение всего дня новых и новых французских частей. Когда армия располагалась на ночь, император, прощаясь с Мюратом, сказал, что завтра в пять часов утра он начнет генеральное сражение. В расположении русской армии горели огни, как накануне. Наполеон пошел в свою палатку, Мюрат уехал к аванпостам своей кавалерии, выдвинутым ближе всего к городу и к русскому расположению.

На рассвете к Наполеону прибыл ординарец с эстафетой от Мюрата: ночью Барклай ушел…

Надежды Наполеона на быструю развязку снова рушились. На этот раз он уже совсем, казалось, держал победу в руках, и снова она ускользнула, и самые верные, самые на этот раз бесспорные расчеты рассеялись, как дым. 8

Наполеон твердо знал, что с чисто военной, тактической точки зрения необходимо, не задерживаясь в Витебске, броситься за Барклаем и за уходящим к Смоленску Багратионом и не дать соединиться им в Смоленске и что осталось всего 5–6 дней, когда этого возможно достигнуть. «Но жара так сильна и армия так велика, что император рассудил, что должно дать ей несколько дней для отдыха»45.

Неоднократно с решительной настойчивостью, по крайней мере раз пять за время пребывания в Витебске, Наполеон требует, чтобы точно узнали, сколько именно дивизий у Багратиона. «Для меня по-прежнему загадка, четыре или шесть дивизий у Багратиона»46, - раздраженно жалуется он 2 августа 1812 г. Но недаром в арьергарде у Багратиона действовала казачья кавалерия Платова: французская кавалерийская разведка так и не прорвала эту завесу.

Этот долгий, необыкновенно знойный летний день 28 июля 1812 г. принес великой армии

немало разочарований, а ее вождю и его свите много невеселых забот и недоумении.

Сначала Наполеон не хотел верить Мюрату. Он не допускал, чтобы русская армия могла так бесшумно сняться ночью с лагеря и бесследно скрыться. Император велел подходить к покинутому русскому лагерю со всеми предосторожностями, боясь засады и внезапного нападения. Мертвое молчание царило в русском лагере. Французы приблизились, — лагерь был совершенно пуст. Ни людей, ни вещей — ничего не оказалось. Вошли в город: ни одного человека на улицах. Даже в домах остались далеко не все жители. Оставшиеся не только ровно ничего не знали о пути, по которому ушла русская армия, но понятия не имели вообще о факте ее внезапного исчезновения.

В течение нескольких часов кавалерийские отряды, разосланные Наполеоном, рыскали по всем дорогам около Витебска и, измученные неслыханной жарой и томимые жаждой, вернулись во вторую половину дня одни за другими, ничего точного не узнав. Пески, в которых тонули ноги лошадей, жгучая пыль, тучей носившаяся вокруг и ослеплявшая их, полное отсутствие воды — все это делало разведки мучительным и бесплодным занятием. Правда, один из отрядов увидел вдали какую-то русскую часть и даже пробовал сразиться с ней. Но был ли это арьергард барклаевской армии или просто отряд, посланный Барклаем только для отвода глаз от истинного пути отступления, узнать было невозможно.

Нужно было решить, что делать дальше.

Наполеон по получении рапорта об этих безрезультатных разведках приказал вечером того же дня, 28 июля, явиться Мюрату, вице-королю Италии Евгению Богарне и начальнику императорского штаба князю Невшательскому, маршалу Бертье. Не то, чтобы это был военный совет, — Наполеон не любил военных совещаний и решения свои принимал единолично, но в эту кампанию он иногда, в особо затруднительных случаях, спрашивал предварительно мнения некоторых из своего окружения. Так было и на этот раз. Началось с маленькой неприятности для Мюрата, короля неаполитанского. Дело в том, что кавалерийский отряд, натолкнувшийся на предполагаемый русский арьергард, затеял атаку, был сейчас же сильно помят и отброшен русскими и вернулся без нескольких людей и лошадей. И Мюрат, который, сделавшись королем неаполитанским, продолжал бояться Наполеона точь-в-точь так, как в те далекие времена, когда служил у него еще простым полковником, скрыл от императора эту небольшую деталь утренних поисков, и Наполеон узнал об этом помимо него. Происшествие было ничтожное, но тоже не способствовало улучшению настроения императора.

Главной задачей оставалось все то же: что все это значит? Где и когда Барклай примет бой? Что он пошел к Смоленску, это было ясно. Что он пошел туда через Рудню, об этом Наполеон тоже догадывался, несмотря на отсутствие точных данных. Но не в этом было дело. Если Барклай ушел к Смоленску, чтобы там соединиться с ускользнувшим от Даву Багратионом, то, может быть, он именно в Смоленске, наконец, остановится. Логика говорила за то, что это будет именно так: в Витебске Барклаю пришлось бы сражаться без Багратиона, в Смоленске ему можно будет сражаться, имея рядом с собой Багратиона и его армию. Но Наполеон не сразу пришел к этому умозаключению. Напротив, и у императора сначала созрело совсем другое решение: русская армия будет бесконечно отступать, линии сообщения французов и без того непомерно растянуты, нужно тут, в Витебске, прервать эту странную, ни на что не похожую кампанию, ведущуюся так, как никакая война до сих пор не велась с тех далеких времен, когда скифы заманивали своими бесконечными отступлениями в свои пустынные, безводные, жгучие степи вторгшуюся неприятельскую армию. Скифы владели две тысячи лет тому назад лишь частью той необъятной территории, которая принадлежит их наследникам, русским. Не унаследовали ли русские не только их территорию, но и их стратегию и тактику? Мы увидим, что Наполеон впоследствии снова вспомнил о скифах, глядя из окна Кремля на бушующий огненный океан. Если русская армия отступает по слабости — это одно, но если с определенными стратегическими намерениями — это совсем другое. Никогда не делай того,

что враг желает, чтобы ты сделал. Это было одним из постоянных правил поведения Наполеона. Император закончил совещание торжественным заявлением, что он намерен окончить в Витебске кампанию 1812 г., организовать завоеванные Литву с Белоруссией, укрепиться на своих позициях, пополнить армию и ждать мирных переговоров с Александром, устроившись прочно, спокойно, надолго в завоеванной огромной стране.

Для Витебска, как и для всей Белоруссии, наступило бедственное время.

«В самом деле, — спрашивает свидетель, переживший эти дни, — что должно было почувствовать при вшествии Наполеона в Витебск?.. Горящие вокруг селения и предместья города, улицы, устланные ранеными и мертвыми, поля, умащенные человеческой кровью и усеянные множеством трупов, грабеж, насильствования и убийства обезоруженных жителей — представило картину, превосходящую всякое описание. В самой глуши лесов не можно было найти безопасного пристанища: изверги почитали за особое удовольствие отыскивать сокрывшихся, с коими поступали самым бесчеловечным образом. Несмотря на все таковые поступки, никто не смел жаловаться, это было запрещено. Один витебский помещик, ограбленный донага, причем жена и дочь его от страха помешались в уме, осмелился, однако же, представить французскому правительству в Витебске вместе с жалобою своею два трупа крестьян его, убитых французами, но вместо должного удовлетворения получил только следующий ответ: если ты сделаешь еще подобное представление, то будешь сам расстрелян».

Понятовский со своим корпусом стоял в Могилеве, Даву — в Орше, Мюрат — в Витебске, Ней — между Оршей и Витебском, старая и молодая гвардия и Евгений с итальянской армией — в Витебске, в Бобруйске — Домбровский.

Правый, южный, фланг этих сил прикрывался войсками Шварценберга, австрийского «союзника». Левый фланг, упиравшийся в подступы к Риге и шедший к северу по линии Рига — Динабург (Двинск), находился под командой маршала Макдональда, в корпус которого полностью были включены прусские войска. При таком расположении громадных сил великой армии можно было чувствовать себя очень уверенно.

Но решение, на котором остановился Наполеон 28 июля вечером, не продержалось больше двух суток. «Наполеона мог погубить только Наполеон», — этот часто повторявшийся после Ватерлоо в 1815 г. афоризм редко когда был так ярко иллюстрирован, как в Витебске в последние дни июля 1812 г.

Император жил в Витебске день, другой, третий, четвертый. Свита, гвардия видели, что он чем-то раздражен и недоволен. И вот, не созывая нового совета, он стал сам заговаривать о своем решении со свитой. Генералы сначала думали, что он хочет, чтобы его переубедили. Но они ошибались. Новое решение было уже принято: оно было диаметрально противоположно тому, которое он торжественно объявил своим маршалам 28 июля.

Упорная мысль кончить войну в этом, а не в будущем году имела непреодолимую власть над его душой. Кончить же ее в этом году можно было только одним способом: разгромить русскую армию.

Значит, нужно догнать Барклая и, если еще возможно, разбить его до встречи с Багратионом. Если Барклай встретился уже с Багратионом — разбить их обоих.

Крупная неприятность постигла Наполеона, пока он сидел в Витебске. 2 августа пришла эстафета с правого, южного, фланга: войска Тормасова разбили генерала Рейнье. Погибли три французских батальона, но самым важным последствием было то, что Наполеон уже на другой день после получения этого известия написал австрийскому командующему вспомогательным корпусом князю Шварценбергу, что он, император, отказывается от своей первоначальной мысли включить австрийский корпус в состав непосредственного центра

великой армии, так как уже не надеется, что генералу Рейнье удастся без помощи Шварценберга удерживать напор Тормасова47.

Таким образом, через месяц и четыре дня, уже на Бородинском поле, Наполеон лишился в результате своего собственного распоряжения тех 30 (по крайней мере) тысяч солдат, которые мог привести к нему еще в Витебске князь Шварценберг.

В Витебске, говорят нам очевидцы, Наполеон писал и диктовал по сто писем в день, руководя всеми делами своей необъятной империи, занимаясь и дипломатией, и страшной, бесконечной, лютой войной с испанцами, и непосредственными сложнейшими заботами по затеянному им гигантскому предприятию в России.

Голова его оставалась свежа, и почти беспредельная работоспособность и живой интерес ко всему, что происходит во всех областях жизни его огромной империи, не покидали его ни на один день.

Среди бесчисленных и настоятельных забот, во-первых, о пропитании армии, во-вторых, об организации преследования Багратиона, идущего к Смоленску, в-третьих, о политическом устройстве Литвы, в-четвертых, о воине в далекой Испании, где дела шли все хуже и хуже, в-пятых, о передвижениях гарнизонов в Бремене, в Голландии, центральный вопрос неотступно стоял перед императором и, несмотря на все многообразие и интенсивность его умственной жизни, заслонял и покрывал собою все: устраиваться на зиму или идти дальше?

В первых числах августа Наполеон объявил маршалам, что он пойдет на Смоленск.

Мнения маршалов о новом внезапном решении императора были весьма различны. Всецело на стороне продолжения активного преследования русской армии был Мюрат, который с первой минуты, едва только убедившись на рассвете 28 июля в уходе русских, стоял за немедленную погоню. Наполеон сказал ему в тот день: «Мюрат, первая русская кампания окончена… В 1813 г. мы будем в Москве, в 1814 г. — в Петербурге. Русская война — это трехлетняя война». Мюрат этому не поверил. Не в духе наполеоновской стратегии были многолетние войны. Да и Наполеон хорошо сознавал: как воевать годами так далеко от покоренной, но ненавидящей Европы с сомнительными «союзниками» на флангах и давать время России вооружиться и приготовиться к дальнейшей обороне? Кошмар испанской войны, вот уже полных четыре года неистово свирепствующей на Пиренейском полуострове и истребляющей там одну его армию за другой, тоже неотступно преследовал Наполеона. Каждый курьер привозил ему в Витебск известия о том, что в Испании его дела идут хуже и хуже, что испанский народ борется, убивает и умирает, но даже и не помышляет о капитуляции. Затевать новую трехлетнюю войну в России, когда в Испании не видно конца войне, было крайне затруднительно. Все это было понятно приближенным императора, и когда Наполеон все-таки объявил о своем новом решении, Бертье Дюрок, Дарю, Коленкур — в прямую противоположность Мюрату — высказались против нового наступления. Редко когда они осмеливались так определенно и настойчиво не соглашаться со своим повелителем. И все же маршалы, несмотря на то, что с ними не было Даву (он находился в Орше), на этот раз решились на непривычное дело — осмелились быть откровенными. Почтительно, но твердо генерал и обер-гофмаршал Дюрок настаивал, что русские явно заманивают великую армию в глубь страны, что там ее ждет гибель. Бертье его поддержал. Они оба говорили императору об ужасающем падеже лошадей, об отсутствии корма, о дезорганизации в снабжении армии провиантом, о нищей, умышленно разоряемой русскими войсками стране, о бесконечных пространствах, о неслыханной африканской жаре, от которой падают и люди и лошади. Обер-гофмаршал Дюрок упорно указывал на зловещее значение того факта, что император Александр не просит мира. Наполеон ответил, что он отдает себе отчет в опасностях, которые сопряжены с движением в глубь России, но что он кончит поход 1812 г. в Смоленске. Дюрок не сдавался. Он утверждал, что и в Смоленске русские не будут просить мира.

И Бертье, и Дюрок, и Коленкур говорили, кроме того, о ненадежности подневольных австрийских и немецких «союзников», которые пошли в поход из-под палки, дерутся против русских из-под палки и перейдут на сторону русских, едва только императорская палка отдалится от их спины. Наполеон на это возразил, что, если пруссаки изменят ему, он прервет войну с Россией, обратится на запад, против Пруссии, и тогда Пруссия расплатится за всех — и за себя и за русских.

Первое большое совещание прошло в этих бесплодных разговорах. Император в конце концов раздраженно вскричал:

«Я слишком обогатил моих генералов, они думают об удовольствиях, об охоте, о катанье по Парижу в своих великолепных экипажах! Война им уже опротивела». Маршалы молчали, но еще не сдавались. Люди военные, они не смели продолжать спор с императором всякий раз, когда он обрывал их этими язвительными попреками в личной изнеженности, в том, что он, император, их осыпал богатствами, а они вот стали ему неохотно служить.

Но в Витебском лагере был человек другого положения, чем они. Это был государственный секретарь, главный интендант великой армии, граф Дарю, лучше кого бы то ни было знавший дела снабжения. Он знал, что из 22 тысяч лошадей углубляющейся в Россию армии (не считая войск, остающихся на правом и на левом флангах) за время похода от Вильны до Витебска уже пало не более, не менее как 8 тысяч. Он знал, что и лошади и люди очень плохо снабжены, а дальше, при быстрых маршах, пойдет и еще хуже, потому что обозы решительно не поспевают за движением войск и не могут поспеть, а страна — это разоренная, погорелая, ограбленная пустыня. Все это граф Дарю хорошо знал и не скрывал от Наполеона.

Он высказал своему монарху еще и многое другое. Из-за чего ведется эта тяжелая и далекая война? «Не только ваши войска, государь, но мы сами тоже не понимаем ни целей, ни необходимости этой войны». Проникновение английских товаров в Россию и желание императора создать Польское королевство — это недостаточные мотивы. Так высказал Дарю все то, что было на душе у Дюрока и Бертье, но чего они не смели выразить ясно.

Тяжеловесный бюрократ-сановник, упрямый, холодный, здравомыслящий человек, Дарю коснулся разом нескольких болезненных пунктов. Его выступление, можно сказать, было с глазу на глаз, потому что нечего считать начальника императорского штаба, робкого, покорного, беспрекословного Бертье, который, правда, всецело стоял на стороне Дарю, но от этого ни Дарю не было легче спорить с Наполеоном, ни Наполеону не было труднее спорить с Дарю. Другие маршалы отсутствовали при этой беседе, а беседа продолжалась восемь часов подряд. Наполеон тем более был раздражен словами Дарю, что не сознавать их серьезности и основательности никак не мог.

Дарю настаивал, что эта война непонятна, а потому и не популярна во Франции, «не народна». Выводы Дарю вытекали из этой предпосылки: нужно заключить мир. Чем дальше шел спор с упорным, угрюмым, сдержанным, бесстрашным Дарю, тем в большее раздражение впадал император. Его взорвало то, что Дарю повторил совет Дюрока: ждать мира в Витебске, потому что ни в Смоленске, ни в Москве нет более серьезных шансов дождаться мира, чем в Витебске. «Я хочу мира, но чтобы мириться, нужно быть вдвоем, а не одному. Александр молчит». Наполеон тут открыто высказал мысль, которая уже не раз приходила в голову его окружению. Мы знаем, что всем им казалось, когда еще Наполеон стоял в Вильне и когда он шел потом по Литве и Белоруссии, что за первым визитом Балашова в императорский, лагерь последует и второй, а может быть, и третий его визит. И всякий раз эти «переговоры на ходу» будут становиться все благоприятнее для Наполеона, потому что испуганные русские будут делаться все уступчивее по мере продвижения великой армии в глубь страны. Но первая поездка Балашова оказалась и последней. Русские молча отступали, молча сжигали все за собой и разоряли свою страну, молча отдали врагу

огромную территорию, но и тени чего-либо похожего на желание мириться не обнаруживали. Совсем бы иначе был принят Балашов в Витебске. Но Балашов не приезжал. «Что же делать? — возражал Наполеон графу Дарю. — Оставаться в Литве, где нужно или совсем разорить страну и этим ее настроить против себя, или за все платить, чтобы содержать армию, и где нужно будет строить крепости, чтобы продержаться, или идти дальше?» Куда идти? В Москву. «Заключение мира ожидает меня у Московских ворот». Он понимает, что Александр не хочет мириться до генерального сражения. «Если нужно, я пройду до Москвы, до святого города Москвы, в поисках этого сражения, и я выиграю это сражение». После такой проигранной битвы Александр уже сможет заключить мир, не подвергая себя бесчестию. «Но если и тогда Александр будет упорствовать, хорошо, я начну переговоры с боярами или даже с населением этой столицы: это население значительно, объединено и, следовательно, просвещенно; оно сообразит свои интересы, оно поймет свободу»48. Что понимал император под этими словами? Можно ли в этих словах усматривать хоть намек на освобождение крепостных? Конечно, нет, не мог же он считать «просвещенными» и объединенными в столице русских крепостных крестьян. Он мог иметь в виду только крупную буржуазию, интересам которой он подчинял всю Францию, на чем он совершенно сознательно и планомерно строил свое владычество в покоренных странах. Ни разу император вместо этих фантазий о переговорах с «боярами» и с «просвещенным населением» святого города Москвы не вымолвил в этом восьмичасовом споре, в этой, вернее, беседе вслух с самим собой, самого главного: ни разу он не сказал, что объявит русских крестьян свободными от крепостного ига, ни разу не упомянул даже, что пригрозит этим Александру или «боярам», если те будут упираться. Он хотел прежде всего переговоров с Александром, если не удастся с Александром, то с «боярами», если не удастся с дворянами, то с московской «просвещенной» буржуазией. На этом в Витебске кончались, и не могли не кончиться, предположения императора. Никаких надежд на поддержку крестьянства Наполеон не возлагал и не мог возлагать, потому что для этого нужно было прежде объявить крестьянство свободным, а этого Наполеон не хотел ни в Витебске, когда еще могли быть надежды на мир с царем и с дворянством, ни, как увидим, даже в Москве, когда эти надежды исчезли окончательно.

Слышал что-то Наполеон и о традиционном духе соперничества, некоторой оппозиции, который существовал в Москве относительно Петербурга, и в этом долгом разговоре с Дарю император безмерно преувеличил значение этой московской дворянской фронды, этих ворчливых выходок членов московского Английского клуба против петербургского двора и петербургских сановников: «Москва ненавидит Петербург, я воспользуюсь этим соперничеством, последствия подобного соревнования неисчислимы». Очевидно, великосветские шпионы Наполеона, с давних пор доносившие ему обо всем, что делается и говорится в обеих русских столицах, придавали преувеличенное значение тому, что они подслушали среди резких на язык московских бар и опальных бюрократических тузов, проживавших в Москве. Выслушав все это, Дарю продолжал возражать, потому что эта аргументация Наполеона (которой император явно стремился убедить самого себя) нисколько его не успокоила. Дарю обратил внимание Наполеона на то, что до сих пор «война была для его величества игрой, в которой его величество всегда выигрывал». Но теперь от дезертирства, от болезней, от голодовки великая армия уже уменьшилась на одну треть. «Если уже сейчас тут, в Витебске, не хватает припасов, то что же будет дальше?» — говорил Дарю. Фуражировки не удаются: «Офицеры, которых посылают за припасами, не возвращаются, а если и возвращаются, то с пустыми руками». Еще на гвардию хватает мяса и муки, но на остальную армию не хватает, и в войсках ропот. Есть у великой армии и громадный обоз, и гурты быков, и походные госпитали, но все это остается далеко позади, отстает, решительно не имея возможности угнаться за армией. И больные и раненые остаются без лекарств, без ухода. Нужно остановиться. Теперь, после Витебска, уже начинается коренная Россия, где население будет встречать завоевателя еще более враждебно: «Это — почти дикие народы, не имеющие собственности, не имеющие потребностей. Что у них можно отнять? Чем их можно соблазнить? Единственное их благо —

это их жизнь, и они ее унесут в бесконечные пространства». Бертье поддерживал это мнение и поддакивал Дарю, но не очень отваживался на самостоятельные речи. В этом долгом разговоре, где император явственно больше спорил со своим внутренним голосом, тайно говорившим ему то самое, что вслух говорил Дарю, Наполеон вдруг с большой горячностью стал вспоминать о шведском походе времен Петра Великого. «Я хорошо вижу, что вы думаете о Карле XII!» — воскликнул он, хотя никто и не помышлял говорить ему о Карле XII. Это он сам вспомнил, конечно, о шведском короле, о своем прямом предшественнике в деле нашествия на Россию, и, как во всем этом роковом разговоре, император и в данном случае возражал не Дарю, а самому себе. Пример Карла XII, рассуждал Наполеон, ничего не доказывает: шведский король не был достаточно подходящим человеком для подобного предприятия. Наконец, нельзя из одного случая (т. е. из гибели шведов) выводить общее правило: «не правило рождает успех, но успех создает правило, и если он, Наполеон, добьется успеха своими дальнейшими маршами, то потом из его нового успеха создадут новые принципы», — так он говорил. Привычка не считаться ни с какими прецедентами, диктовать истории, а не учиться у нее, уверенность, что никакие общие мерки и правила в применении именно к нему лично не имеют ни малейшей силы и смысла, так и сквозят в каждом слове Наполеона. Да, знаменитый шведский полководец погиб, но он сам виноват: зачем, будучи «только» Карлом XII, он взялся за дело, которое под силу только одному Наполеону и больше никому?

Разговор кончился.

В следующие дни император все еще не давал ни окончательного приказа о выступлении всей армии из Витебска, ни повеления об устройстве на долгое пребывание в Витебске.

Наполеон, не созывая совещаний, заговаривал с генералами гвардии, с отдельными маршалами о ближайших планах. Большинство уже было за наступление. Очевидец Сегюр приписывает это отчасти внутреннему их убеждению, отчасти желанию угодить властелину, подольститься, — ведь все уже знали о желании императора, — отчасти же, наконец, просто привычке к солдатскому, без рассуждений, повиновению высшей воле. Да и очень уже неприветливой и голодной казалась эта витебская стоянка: чем больше частей великой армии, далеко опередивших свой обоз, сходилось вокруг маленького разоренного города, тем голодней становилось жить солдатам, тем больше падало ежедневно лошадей в кавалерии и в артиллерии. Во многих частях ели почти только одну овсяную кашу. Дизентерия свирепствовала.

Уже решив дело, император медлил и как будто ждал толчка.

Толчок последовал. 10 августа императору донесли, что генерал Себастиани подвергся внезапному нападению со стороны русской кавалерии и потерпел урон; дело Себастиани произошло около Инкова. Сразу воскресла надежда на то, что русские остановились где-то около Днепра, на левом берегу реки.

Наполеон немедленно отдал приказ по великой армии: выступить с витебских стоянок и идти на русских. Наполеон предупредил Даву еще 10 августа, что он рассчитывает перейти через Днепр у Рассасны, где он велел навести четыре моста, и что он перейдет на левый берег реки с 200 тысяч человек. Император не скрыл от Даву тяжких потерь своей армии в сражениях с русскими отрядами, задерживающими движение.

12 августа первые части наполеоновской армии вышли из Витебска. 13 августа, идя вслед за другими частями, старая гвардия во главе с императором двинулась на восток. Император ночевал 15 августа на бивуаке в Бояринцеве. Тут к нему стали поступать одна за другой вести об отчаянном сопротивлении Неверовского49.

Завоеватель вошел в коренную, центральную Россию. Пожар охватывал старое жилье

русского народа. Смоленск, столько раз задерживавший в минувшие века врагов, шедших на Россию, древний город, двести лет не видевший под своими стенами неприятеля, готовился к встрече самого грозного врага, и его башням и стенам суждено было рухнуть от таких ударов, каких они никогда еще не испытывали.

Глава III

Бой под Смоленском

1

В час ночи 13 августа Наполеон выехал из Витебска. Ночь с 13-го на 14-е он провел в походной палатке близ Рассасны. 14 и 15 августа у местечка Рассасны император со всеми корпусами своей армии перешел на левый берег Днепра, а Ней и Мюрат бросились на отряд Неверовского, стоявший на дороге от Ляд к Смоленску. Неверовский, отчаянно сопротивляясь, теряя людей, медленно отступал к Смоленску. Багратион приказал задерживать неприятеля сколько возможно.

Прикрываясь лесами и сложно маневрируя с целью скрыть от русских свой маршрут, Наполеон быстрыми переходами хотел идти к Смоленску левым берегом Днепра, но Неверовский с солдатами своей 27-й дивизии помешал этому и задержал его.

15 августа маршал Ней с боем вошел в Красное и от Красного пошел к Смоленску, задерживаемый упорным сопротивлением небольшого отряда Неверовского.

Вытесненный и из местечка Ляды и из Красного, Неверовский, отчаянно обороняясь от французских сил, по крайней мере в пять раз превышавших его отряд, отступал к Смоленску. Французский очевидец (граф Сегюр) говорит о «львином отступлении» Неверовского. У Неверовского была такая манера обучения солдат: он перед боем сам водил их посмотреть позицию и растолковывал смысл предстоящего. Солдаты Неверовского сражались во время этого убийственного отступления с полнейшим пренебрежением к опасности, каждый шаг отступления был устлан русскими трупами. «Русские всадники казались со своими лошадьми вкопанными в землю… Ряд наших первых атак кончился неудачей в двадцати шагах от русского фронта; русские (отступавшие) всякий раз внезапно поворачивались к нам лицом и отбрасывали нас ружейным огнем», — так писали французы об этой отчаянной обороне.

Истребленный на пять шестых отряд Неверовского вошел в Смоленск.

Багратион маневрировал у Смоленска, изнывая от палящей жары, не имея возможности ни кормить, ни поить людей и лошадей, ни укрепиться где-нибудь в ожидании неприятеля, который — дивизия за дивизией — проходил уже через Рудню, устремляясь за русской армией. «Я не имею ни сена, ни овса, ни хлеба, ни воды, ни позиции», — писал Багратион Ермолову 10 августа (29 июля) в главный штаб Барклая, соединиться с которым Багратиону пришлось уже 3 августа. Барклай со своей армией уже успел пройти по этим местам: «… два дни пробывшая здесь первая армия все забрала и все съела… Неприятель может из Рудни занимать нас фальшиво, а к Смоленску подступить; тогда стыдно и нехорошо!» Багратион требует, чтобы Барклай «по пустякам армию не изнурял». Он просит: «поручить другому, а меня уволить»1.

Багратион решительно не хотел оставаться с Барклаем, «министром», как он его нарочно величает: «… со мной поступают так неоткровенно и так неприятно, что описать всего невозможно. Воля государя моего. Я никак вместе с министром не могу. Ради бога пошлите меня куда угодно, хотя полком командовать в Молдавию или на Кавказ, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена так, что русскому жить невозможно и толку

никакого нет. Ей-богу, с ума свели меня от ежеминутных перемен… Армия называется, только около 40 тысяч, и то растягивает, как нитку, и таскает назад и вбок». Он решительно требует его уволить. «Я думал, истинно служу государю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу», — так писал Багратион Аракчееву (т. е., конечно, царю) 10 августа.

Барклай под влиянием раздраженных укоров Багратиона, под влиянием своего начальника штаба Ермолова, под впечатлением лихого кавалерийского налета Платова на генерала Себастиани (в Инкове), где удалось взять в плен несколько сот французов и часть обоза, решил предупредить нападение на Смоленск и сам двинул было авангард в Рудню, но почти сейчас же отменил приказ. Он вообще стал как будто временно «терять голову» (выражение о нем Клаузевица). 13 и 14-го его армия бесполезно «дергалась» то в Рудню, то из Рудни. 15-го вечером Барклаю донесли, что погибающий отряд Неверовского отброшен к Смоленску. Нужно было немедленно бросить все и спешить к городу.

По словам Барклая де Толли, Наполеон подходил к Смоленску с армией в 220 тысяч человек, а выставить против него непосредственно Барклай мог лишь 76 тысяч, потому что Багратион со своей армией должен был защищать путь на Дорогобуж. Барклай ошибался: у Наполеона было в тот момент 180 тысяч человек.

В своем «Оправдании», написанном через несколько лет после события2, Барклай находит все свои действия безукоризненными и вместе с тем утверждает, что он хотел дать генеральную битву Наполеону, «став на выгодную позицию» как раз в Цареве-Займище, где он узнал о том, что смещен со своей должности. «Изобразив здесь истину во всей наготе ее, я предаю строгому суду всех и каждого дела мои; пусть всяк, кто хочет, укажет лучшие меры, кои бы можно было изыскать и принять к спасению отечества в столь критическом и ужасном для него состоянии; пусть после сего ненависть и злословие продолжают изливать яд свой, я отныне не страшусь и не уважаю их… Пред недоверчивыми ежели еще не оправдаюсь, то оправдает меня время…» — читаем мы в заключительной части его записки.

Ахшарумов, давший первое официальное описание войны 1812 г. (вышедшее в свет в августе 1813 г. «по высочайшему повелению»), утверждает, что в тот момент, когда под Смоленском соединились наконец обе армии и Багратион подчинился Барклаю де Толли, общая численность русской армии была равна 110 тысячам человек, а против нее шел Наполеон, ведя за собой фронт от Витебска до Дубровны численностью в 205 тысяч. Эти 110 тысяч были «главнейший оплот государства, главнейшая преграда стремлению Наполеона овладеть Российским полсветом и с тем вместе последнею свободою всех народов». Против Барклая шел «полководец 20 лет воюющий! — любимец счастия, 20 лет побеждающий!»3 Ахшарумов преувеличивает: у Наполеона под Смоленском к моменту бомбардировки было около 180 тысяч.

Узнав, что большие силы неприятеля посланы Наполеоном в обход Смоленска, к востоку — северо-востоку от Смоленска на Дорогобуж, Багратион немедленно двинулся туда, чтобы занять Дорогобуж и не дать возможности неприятелю перерезать большую Московскую дорогу. Войск у него было мало, но главное, что его тревожило, это убеждение, что Барклай сдаст Смоленск. С постоялого двора Волчейки (за Смоленском) 17 (5) августа он отправил записку Барклаю: «…побуждаюся я покорнейше просить ваше высокопревосходительство не отступать от Смоленска и всеми силами стараться удерживать нашу позицию… Отступление ваше от Смоленска будет со вредом для нас и не может быть приятно государю и отечеству».

Багратион велел корпусу Раевского идти из Смоленска навстречу наступающим французам. Впереди Раевского должна была идти 2-я гренадерская дивизия, но, к удивлению, эта дивизия три часа подряд не трогалась с места, и Раевский поэтому ждал и терял драгоценнейшее время. Загадка объяснилась без всякой таинственности. Предоставим слово

Ермолову: «Дивизией начальствовал генерал-лейтенант принц Карл Мекленбургский. Накануне он, проведя вечер с приятелями, был пьян, проснулся на другой день очень поздно и тогда только мог дать приказ о выступлении дивизии. После этого винный откуп — святое дело, и принц достоин государственного напитка»4. Принц Мекленбургский знал, что Багратион не может его за этот подвиг расстрелять: ведь он — царский родственник, а потому и незачем отказывать себе в развлечениях. Как раз в это время узнали, что французская армия напала в Красном 15 августа на корпус Неверовского, разбила его, отбросила от Красного, и Неверовский, с боем отступая, спасаясь от полного уничтожения, послал Багратиону рапорт, прося немедленной подмоги. Подмога запоздала.

Остатки разгромленного отряда Неверовского влились в 13-тысячный отряд Раевского, которому была поручена защита Смоленска. 2

Уже 15 августа остатки отряда Неверовского встретились с подкреплением, которое привел Раевский.

К ночи и Раевский и Неверовский увидели бесконечную линию костров на горизонте. Сомнений быть не могло: это сам Наполеон со всей армией расположился на ночлег, явно по прямому пути устремляясь к Смоленску. Да и неизвестно было — ночлег ли это, или еще ночью он снимется с лагеря и пойдет на город.

Что было делать? У Раевского было всего 13 тысяч человек, у Наполеона в момент нападения на Смоленск было около 182 тысяч. Раевский не имел ни приказа, ни полномочия защищать Смоленск; русская армия уже начала свое дальнейшее отступление от Смоленска к Москве. Раевский решил защищаться.

16 августа с утра Наполеон уже стоял пред стенами Смоленска, и тогда же Раевский был осведомлен, что Багратион, узнав о решении Раевского, спешит к нему на помощь. «Дорогой мой, я не иду, я бегу, желал бы иметь крылья, чтобы скорее соединиться с тобою!» К вечеру Багратион уже был недалеко от Смоленска. Туда же начал подвигаться и Барклай.

16 августа Наполеон подошел к Смоленску и поселился в помещичьем доме в деревне Любне. План его заключался в том, чтобы корпуса Даву, Нея и Понятовского штурмовали и взяли Смоленск, а в это же время корпус Жюно, обойдя Смоленск, вышел бы на большую Московскую дорогу и воспрепятствовал отступлению русской армии, если бы Барклаи захотел снова уклониться от боя и уйти из Смоленска по направлению к Москве.

В шесть часов утра 16 августа Наполеон начал бомбардировку Смоленска, и вскоре произошел первый штурм. Город оборонялся в первой линии дивизией Раевского. Сражение шло, то утихая, то возгораясь, весь день. Но весь день 16 августа усилия Наполеона овладеть Смоленском были напрасны. Настала ночь с 16 на 17 августа. Обе стороны готовились к новой смертельной схватке. Ночью по приказу Барклая корпус Раевского, имевший громадные потери, был сменен корпусом Дохтурова. В четыре часа утра 17 августа битва под стенами Смоленска возобновилась, и почти непрерывный артиллерийский бой длился 13 часов, до пяти часов вечера того же 17 августа. В пять часов вечера весь «форштадт» Смоленска был объят пламенем и стали загораться отдельные части города. Приступ за приступом следовал всякий раз после страшной канонады, служившей подготовкой, и всякий раз русские войска отбивали эти яростные атаки. Настала ночь с 17 на 18 августа, последняя ночь Смоленска. В ночь с 17 на 18-е канонада и пожары усилились. Вдруг среди ночи русские орудия умолкли, а затем французы услышали страшные взрывы неслыханной силы: Барклай отдал приказ армии взорвать пороховые склады и выйти из города. Войска под Смоленском сражались с большим одушевлением и вовсе не считали себя побежденными в тот момент, когда пришел приказ Барклая об оставлении города. Но Барклай видел, что Наполеон стремится здесь, в Смоленске, принудить его наконец к генеральному сражению, повторить Аустерлиц на берегах Днепра, среди развалин горящего

Смоленска, в то время когда Багратион с частью армии идет к Дорогобужу и явно не успеет прийти на поле битвы.

Из Смоленска нужно было уйти, промедление грозило неминуемой гибелью. Он знал, что скажут о нем, но не видел другого выхода; впрочем, судьба Барклая уже все равно была решена.

Обстоятельства гибели Смоленска произвели очень сильное впечатление на французов.

Весь долгий летний день шла канонада Смоленска, и повторные штурмы не прекращались. Остатки почти истребленной дивизии Неверовского примкнули к корпусу Раевского. Держаться было неимоверно трудно, но русские войска держались. Наступал уже вечер, и пожары в разных частях города стали гораздо заметнее, картина погибающего города сделалась особенно зловещей. «Опламененные окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск разрывающихся бомб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль, стоны старцев, жен и детей, весь народ, упадающий на колени с возведенными к небу руками, — вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце, — говорит очевидец Иван Маслов. — Толпа жителей бежала от огня, не зная куда… Полки русских шли в огонь, одни спасали жизнь, другие несли ее на жертву. Длинный ряд подвод тянулся с ранеными. В глубокие сумерки вынесли из города икону смоленской богоматери, унылый звон колоколов сливался с треском падающих зданий и громом сражения». Наступила ночь. Смятение и ужас происходящего еще усилились.

В два часа ночи 18 августа, после взрыва пороховых складов, казаки проскакали по улицам Смоленска, оповещая об отступлении русской армии и приглашая тех, кто хочет уходить из города, собираться немедленно, пока еще не зажжен днепровский мост. Часть населения, кто в чем был, бросилась за уходящими русскими войсками, часть осталась. В четыре часа утра маршал Даву вошел в город. К продолжавшимся пожарам прибавились немедленно начавшиеся грабежи со стороны солдат наполеоновской армии, больше всего поляков и немцев; французы, голландцы, итальянцы грабили, судя по всем показаниям, гораздо меньше. Около двух тысяч человек, выбежавших на улицу из горевших домов, бросились в собор, где и укрылись. Многие там прожили больше двух недель.

Уже на рассвете 18 августа, когда Наполеон перед Смоленском проснулся, думая, что в этот день произойдет наконец генеральная битва, и ему в ответ показали на заднепровскую даль и на густые массы движущихся от Смоленска к востоку войск, он понял, что отступающий Барклай снова ушел от битвы и что Смоленск отныне, с точки зрения русского командования, только заслон, который должен несколько задержать преследование.

Еще накануне, глядя в подзорную трубу на русские войска, входившие в Смоленск, Наполеон с радостью воскликнул:

«Наконец, я их держу в руках!»

Но русская армия опять выскользнула из его рук.

Русские войска бились под Смоленском так, что даже в самых беглых, самых деловых, сухих французских отчетах и воспоминаниях авторы то и дело отмечают удивительные эпизоды. Так называемое Петербургское предместье Смоленска уже давно пылало ярким пламенем. Смоленск уже был покинут русскими, и в горевший город разом через несколько крайних улиц вступали французские войска. Русский арьергард под предводительством генерала Коновницына и полковника Толя отчаянно оборонялся, продолжая задерживать неприятеля. Русские стрелки рассыпались по садам и в одиночку били в наступающую густую французскую цепь и в прислугу французской артиллерии. Русские не хотели оттуда уходить ни за что, хотя, конечно, знали о неминуемой близкой смерти. «В особенности между этими стрелками выделился своей храбростью и стойкостью один русский егерь, поместившийся как

раз против нас, на самом берегу, за ивами, и которого мы не могли заставить молчать ни сосредоточенным против него ружейным огнем, ни даже действием одного специально против него назначенного орудия, разбившего все деревья, из-за которых он действовал, но он все не унимался и замолчал только к ночи, а когда на другой день по переходе на правый берег мы заглянули из любопытства на эту достопамятную позицию русского стрелка, то в груде искалеченных и расщепленных деревьев увидали распростертого ниц и убитого ядром нашего противника, унтер-офицера егерского полка, мужественно павшего здесь на своем посту»5, - говорит французский артиллерийский полковник Фабер дю Фор.

С удивлением констатировали очевидцы, что под Смоленском солдаты так жаждали боя, что начальникам приходилось шпагой отгонять их там, где они слишком уж безрассудно подставляли себя под французскую картечь и штыки. Вот показание сухого, деловитого И. П. Липранди: «С рассветом… началась перестрелка в цепи стрелков, расположенных вне города. Перестрелка эта все более и более усиливалась, по мере сгущения французской передовой цепи. В 10 часов приехал Барклай де Толли и остановился на террасе Малаховских ворот… Вправо от помянутых ворот за форштатом расположен был Уфимский полк. Там беспрерывно слышны были крики „ура!“, и в то же мгновение огонь усиливался. В числе посланных туда с приказанием — не подаваться вперед из предназначенной черты, был послан и я с подобным же приказанием. Я нашел шефа полка этого генерал-майора Цыбульского в полной форме, верхом в цепи стрелков. Он отвечал, что не в силах удержать порыва людей, которые после нескольких выстрелов с французами, занимающими против них кладбище, без всякой команды бросаются в штыки. В продолжение того времени, что генерал-майор Цыбульский мне говорил это, в цепи раздались „ура!“ Он начал кричать, даже гнать стрелков своих шпагою назад (курсив всюду мой. — Е. Т.), но там, где он был, ему повиновались, и в то же самое время в нескольких шагах от него опять слышалось „ура!“ и бросались на неприятеля. Одинаково делали и остальные полки этой дивизии… в первый раз здесь сошедшиеся с французами…» «Ожесточение, с которым войска наши, в особенности пехота, сражались под Смоленском… невыразимо. Нетяжкие раны не замечались до тех пор, пока получившие их не падали от истощения сил и течения крови»6.

Смоленская трагедия была особенно страшна еще и потому, что русское командование эвакуировало туда большинство тяжелораненых из-под Могилева, Витебска, Красного, не говоря уже о раненых из отрядов Неверовского и Раевского. И эти тысячи мучающихся без медицинской помощи людей были собраны в той части Смоленска, которая называется Старым городом. Этот Старый город загорелся, еще когда шла битва под Смоленском, и сгорел дотла при отступлении русской армии, которая никого не могла оттуда спасти. Французы, войдя в город, застали в этом месте картину незабываемую. «Сила атаки и стремительность преследования дали неприятелю лишь время разрушить мосты, но не позволили ему эвакуировать раненых; и эти несчастные, покинутые таким образом на жестокую смерть, лежали здесь кучами, обугленные, едва сохраняя человеческий образ, среди дымящихся развалин и пылающих балок. Многие после напрасных усилии спастись от ужасной стихии лежали на улицах, превратившись в обугленные массы, и позы их указывали на страшные муки, которые должны были предшествовать смерти. Я дрожал от ужаса при виде этого зрелища, которое никогда не исчезнет из моей памяти. Задыхаясь от дыма и жары, потрясенные этой страшной картиной, мы поспешили выбраться за город. Казалось, я оставил за собою ад»7, - говорит полковник Комб.

«Мой друг! Я в Смоленске с сегодняшнего утра. Я взял этот город у русских, перебив у них 3 тысячи человек и причинив урон ранеными в три раза больше. Мое здоровье хорошо, жара стоит чрезвычайная. Мои дела идут хорошо»8, - писал Наполеон 18 августа императрице.

Лживые бюллетени и официальные известия Наполеона, конечно, не давали понятия о действительности.

Для публики, для Парижа, для Европы можно было, конечно, писать все, что угодно. «Жара

— крайняя, много пыли, и нас это несколько утомляет. У нас тут была вся неприятельская армия; она имела приказ дать тут сражение и не посмела. Мы взяли Смоленск открытой силой. Это очень большой город, с солидными стенами и фортификациями. Мы перебили от 3 до 4 тысяч человек у неприятеля, раненых у него втрое больше, мы нашли тут много пушек: несколько дивизионных генералов убито, как говорят. Русская армия уходит, очень недовольная и обескураженная, по направлению к Москве»9, — так сообщал Наполеон своему министру герцогу Бассано о взятии Смоленска. Но сам император и его штаб нисколько подобной словесностью не обманывались. «Продиктовав это письмо, его величество немедленно бросился на постель», — гласит характерная приписка, сделанная отправителем эстафеты, чтобы объяснить герцогу Бассано отсутствие собственноручной императорской подписи. Наполеон был страшно утомлен не только жарой и не только пылью, а всем, что его окружало в Смоленске.

Итальянский офицер Чезаре Ложье со своей частью из корпуса вице-короля Италии Евгения Богарне проходил через Смоленск на другой день после взятия города французами. В своих воспоминаниях10 он пишет: «Единственными свидетелями нашего вступления в опустошенный Смоленск являются дымящиеся развалины домов и лежащие вперемежку трупы своих и врагов, которых засыпают в общей яме. В особенно мрачном и ужасном виде предстала перед нами внутренняя часть этого несчастного города. Ни разу с самого начала военных действий мы еще не видели таких картин: мы ими глубоко потрясены. При звуках военной музыки, с гордым и в то же время нахмуренным видом проходили мы среди этих развалин, где валяются только несчастные русские раненые, покрытые кровью и грязью… Сколько людей сгорело и задохлось!.. Я видел повозки, наполненные оторванными частями тел. Их везли зарывать… На порогах еще уцелевших домов ждут группы раненых, умоляя о помощи… На улицах встречаем в живых только французских и союзных солдат… Они отправляются шарить по улицам, надеясь отыскать что-нибудь пощаженное огнем. Потушенный теперь пожар истребил половину зданий: базар, магазины, большую часть домов… И вот среди этих груд пепла и трупов мы готовимся провести ночь с 19-го на 20-е». В соборе лежали вповалку мертвые, умирающие, раненые, здоровые, мужчины, старики, женщины, дети. «Целые семьи, покрытые лохмотьями, с выражающими ужас лицами, в слезах, изнуренные, слабые, голодные, сжались на плитах вокруг алтарей… Все дрожали при нашем приближении… К несчастью, большинство этих несчастных отказываются даже от помощи, которую им предлагают. Я до сих пор еще вижу с одной стороны умирающего старика, простершегося во весь рост, с другой — хилых детей, прижавшихся к грудям матерей, у которых пропало молоко»11.

Врачебную помощь бесчисленным раненым и брошенным в городе русским почти не оказывали: хирурги не имели корпии и делали в Смоленске бинты из найденных в архивах старых бумаг и из пакли. Доктора не появлялись часто целыми сутками. Даже привыкшие за 16 лет наполеоновской эпопеи ко всевозможным ужасам солдаты были подавлены этими смоленскими картинами.

До нашествия Наполеона в г. Смоленске было 15 тысяч жителей. Из них осталось в первые дни после занятия города французами около одной тысячи. Остальные или погибли, или, бросив все, бежали из города куда глаза глядят, или вошли добровольно в состав отступившей из города русской армии12.

Багратион с гневом отнесся к отходу Барклая от Смоленска. Его письмо к Ростопчину от 14 августа из деревни Лушки полно негодования: «Я обязан много генералу Раевскому, он командовал корпусом, дрался храбро… дивизия новая… Неверовского так храбро дралась, что и не слыхано. Но подлец, мерзавец, тварь Барклай отдал даром преславную позицию. Я просил его лично и писал весьма серьезно, чтобы не отступать, но я лишь пошел к Дорогобужу, как (и он) за мною тащится… клянусь вам, что Наполеон был в мешке, но он (Барклай) никак не соглашается на мои предложения и все то делает, что полезно неприятелю… Я вас уверяю, что приведет Барклай к вам неприятеля через шесть дней…

Признаюсь, я думаю, что брошу Барклая и приеду к вам, я лучше с ополчением московским пойду».

Багратион рвался в бой, хотя тут же, в этих же письмах, признает, что у нас всего 80 тысяч (по его счету), а Наполеон сильнее13. «Отнять же команду я не могу у Барклая, ибо нет на то воли государя, а ему известно, что у нас делается».

Чем больше подробностей о поразительном поведении русских солдат в Смоленске доходило до Багратиона, тем более возрастала его ярость: «Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое опасное место понапрасну бросили». Он убежден, что Смоленск можно было отстоять: «Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержался с 15 тысячами более 35 часов и бил их, но он не захотел остаться и 14 часов. Это стыдно и пятно армии нашей, а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Ежели он доносит, что потеря великая, неправда. Может быть, около 4 тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, — как быть, война». Русские войска были великолепны под Смоленском, это мы знаем и из французских источников. «Артиллерия наша, кавалерия моя истинно так действовали, что неприятель стал в пень…» Барклай перед битвой дал Багратиону честное слово, что не отступит, и нарушил его. «Таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля скоро привести в Москву», — писал 19 августа Багратион царю («Аракчееву» для царя). Багратион требует собрать 100 тысяч под Москвой: «или побить, или у стен отечества лечь, вот как я сужу, иначе нет способа». Его больше всего беспокоят слухи о мире: «Чтобы помириться, — боже сохрани! После всех пожертвовании и после таких сумасбродных отступлений мириться! Вы поставите всю Россию против себя, и всякий из нас за стыд поставит носить мундир… война теперь не обыкновенная, а национальная, и надо поддержать честь свою… Надо командовать одному, а не двоим… Ваш министр, может быть, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего отечества… Министр самым мастерским образом ведет в столицу за собой гостя». Злят и беспокоят Багратиона и немцы, в изобилии кружащие вокруг главного штаба: «Большое подозрение подает всей армии флигель-адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он все советует министру». Багратион считает, что при отступлении от Смоленска русские потеряли более 15 тысяч человек (т. е., значит, почти в четыре раза больше, чем в самой битве): «Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества. Вся армия плачет и ругает его насмерть». Багратион требует подкреплений и чтобы «перемешать» милицию с кадровыми войсками, а иначе, «ежели одних пустят, плохо будет». «Ох, грустно, больно, — кончает Багратион, — никогда мы так обижены и огорчены не были, как теперь… Я лучше пойду солдатом в суме воевать, нежели быть главнокомандующим с Барклаем». 3

На рассвете 19 августа маршал Ней прошел окольным путем, миновав пылавшее смоленское (Петербургское) предместье и вышел из города. Разведчики донесли ему, что русская армия, которая вышла из Смоленска 19 августа, отступает не по Петербургской, а по Московской дороге. Ней двинулся сейчас же вслед за русскими, послав разведки на обе эти дороги. Около Валутиной горы Нея задержал русский арьергард. Произошла битва, длившаяся целый день 19 августа. Русские сопротивлялись очень упорно. Французы потеряли 7 тысяч человек, русские — около 6 тысяч. При наступлении темноты артиллерийская перестрелка смолкла. Ночью Барклай снялся с позиций и ушел на восток; отступление русских продолжалось.

Эта битва при Валутине, кончившаяся отступлением русских, показалась французам, по свидетельству графа Сегюра, слишком дорого купленной победой. Яростное сопротивление русского арьергарда в течение целого дня, очень большие потери, понесенные при этом французами, смерть в конце битвы одного из лучших генералов Наполеона — Гюдэна, наконец невозможность для маршала Нея начать после битвы преследование отступающих русских полков — все это очень мало походило на те победы, которые Ней и другие маршалы привыкли на своем веку одерживать во всех концах Европы. Ведь русские перестали вечером отстреливаться только после того, как Ней первый прекратил огонь, и тогда только начали

свое дальнейшее отступление. Ней очень хорошо понимал, что это значит. Битву при Валутиной горе нельзя было рассматривать как победу, это была скорей стратегическая неудача французской армии.

Наполеон был в Смоленске, когда ему доложили о конце битвы под Валутиной и принесли его любимца Гюдэна умирающим. Конечно, это было только арьергардное дело, и поле битвы осталось за французами, русские продолжают отступать, но Наполеон, как и маршал Ней, тоже хорошо понял смысл происшедшего. «Было почти столько же славы в поражении русских, как в нашей победе», — сказал бывший около императора граф Сегюр. Этот-то признак и был самым зловещим, и он уже не в первый раз тревожил императора. Разве русские бежали хоть один раз с тех пор, как началась война? Разве еще до Смоленска битву под Красным и отступление Неверовского можно было не для публики и не в бюллетенях, а всерьез назвать победой великой армии? Разве где-нибудь, кроме Испании, случалось так, чтобы люди в одиночку, укрываясь за кустами, отстреливались от целой роты и чтобы против одинокого, окруженного врагами солдата нужно было выдвигать пушку и стрелять в него ядрами, как пришлось это сделать с русским егерем после взятия Смоленска? А сколько таких егерей погибло до Смоленска и в самом Смоленске! Судя по всем показаниям, битва под Смоленском, взятие и гибель Смоленска, сражение под Валутиной уже после Смоленска — все это породило крайне сложные настроения в вожде великой армии.

Корпус генерала Жюно Наполеон заранее отправил в обход Смоленска с целью воспрепятствовать Барклаю и Багратиону соединиться на Московской дороге при возможном отступлении русских от Смоленска. Наполеон сделал это, зная, что обе русские армии соединятся либо в Смоленске, либо сейчас же к востоку от Смоленска на Московской дороге. Но генерал Жюно, заняв передовыми патрулями село Преображенское, в двух километрах от того места, где он переправился через Днепр, дал войскам роздых, его патрули были врасплох застигнуты русскими, а главные силы Жюно были задержаны согласно плану Багратиона упорной битвой при деревне Синявине. Когда Жюно вышел наконец через болота на Московскую дорогу, он опоздал, — соединенная русская армия уже ушла, направляясь к Дорогобужу. Снова Аустерлиц, ускользнувший в Витебске, ускользнул теперь от Наполеона между Смоленском и Дорогобужем. Король неаполитанский Мюрат был в бешенстве и, передавая генералу Жюно резкий выговор императора, прибавил от себя: «Вы недостойны быть в армии Наполеона последним драгуном». На этом надломилась карьера, а вскоре и жизнь генерала Жюно. Он не вынес опалы и немилости императора, сошел с ума спустя несколько месяцев и вскоре после сумасшествия скончался.

В три часа ночи 19 августа Наполеон прибыл на поле, где днем происходило сражение. Тут он подробно расспросил о всем происходившем и приказал представить ему раненного штыком и взятого в плен генерала Тучкова 3-го. Поведением Жюно он был возмущен до крайности, о чем и приказал ему передать. Затем Наполеон принялся раздавать награды отличившимся на поле Валутинской битвы. Награды раздавал он лично и с необычайной щедростью, требовал, чтобы сами солдаты называли отличившихся товарищей, и солдаты и офицеры были осыпаны милостями, чинами, орденами, и громовое «Да здравствует император!» прокатывалось по рядам. Все это должно было поднять дух.

Но, вернувшись в Смоленск, Наполеон вскоре послал адъютанта за своим пленником, генералом Тучковым 3-м. Это был первый прямой шаг Наполеона к миру — шаг, оставшийся, как и все последующие, совершенно безрезультатным. «Вы, господа, хотели войны, а не я, — сказал он Тучкову, когда тот вошел в кабинет. — Какого вы корпуса?» — «Второго, ваше величество». — «Это корпус Багговута. А как вам приходится командир 3-го корпуса Тучков?» — «Он мой родной брат». Наполеон спросил Тучкова 3-го, может ли он, Тучков, написать Александру. Тучков отказался. «Но можете же вы писать вашему брату?» — «Брату могу, государь». Тогда Наполеон произнес следующую фразу: «Известите его, что вы меня видели и я поручил вам написать ему, что он сделает мне большое удовольствие, если доведет до сведения императора Александра сам или через великого князя, или через

главнокомандующего, что я ничего так не хочу, как заключить мир. Довольно мы уже сожгли пороха и пролили крови. Надо же когда-нибудь кончить». Наполеон прибавил угрозу: «Москва непременно будет занята и разорена, и это будет бесчестием для русских, потому что для столицы быть занятой неприятелем — это все равно, что для девушки потерять свою честь». Наполеон спросил еще Тучкова, может ли кто-нибудь, например сенат, помешать царю заключить мир, если сам царь этого пожелает. Тучков ответил, что сенат не может этого сделать. Аудиенция кончилась. Наполеон велел возвратить шпагу пленному русскому генералу и отправил его во Францию, в г. Мец, а письмо Тучкова 3-го к его брату с изложением этого разговора было передано Тучковым маршалу Бертье, который послал его в главную квартиру Барклая; Барклай переслал письмо царю в Петербург. Ответа никакого не последовало. 4

Наполеону снова приходилось решать трудную задачу. Каковы были итоги смоленской операции?

Отчаянная битва перед городом, бомбардировка Смоленска, пожары, взрыв пороховых складов, уход последних русских сил, оборонявших Смоленск, и присоединение их к армии Барклая, отступавшей по Московской дороге. И дальше — битва под Валутиной, где пал Гюдэн и где русские снялись с места и ушли только после того, как умолкла артиллерия Нея. И Ней, который всегда и всюду был очень смел, тут не осмелился их преследовать. Нужно было подвести итоги всем этим фактам. Что означает прежде всего планомерное сожжение Смоленска, бегство большинства жителей, превращение губернского города в дымящиеся, окровавленные развалины? Ответ мог быть только один: не может быть и речи о том, чтобы русские теперь просили мира. Люди, которые уничтожают уже не только свои деревни, но и свои большие города, совсем не похожи на тех, кто ищет скорейшего примирения. В Витебске еще была слабая надежда на приезд парламентера от Александра, но среди развалин догорающего Смоленска эта надежда улетучилась. Балашов вторично не приедет…

С 27-летнего возраста Наполеон всегда был на всех войнах главнокомандующим и от своего штаба и своих генералов не ждал и не получал никаких советов по вопросам, выходящим из рамок непосредственной тактики. Их дело было исполнять, а не высказывать свои мнения о целях войны. Но в этой войне все было по-другому. Неясная тревога овладевала свитой и штабом все сильней и сильней. Уже в Витебске был тяжелый и долгий разговор с графом Дарю. После нескольких часов почтительного спора Дарю умолк, но было ясно, что Наполеон нисколько его не переубедил и что замолчал главный комиссар продовольствия великой армии единственно потому, что этикет не позволял никому при беседе с его величеством иметь последнее слово.

Теперь, в Смоленске, симптомы стали многозначительнее и тревожнее. Был разговор с королем неаполитанским, зятем императора, начальником всей кавалерии, Мюратом. Мюрат, храбрец, лихой кавалерист, Мюрат вдруг стал просить императора остановиться в Смоленске, отказаться от похода на Москву.

Разговор начался при свидетелях, продолжался без свидетелей, но Мюрат потом не скрыл того, что произошло у них с императором с глазу на глаз. Мюрат долго умолял Наполеона остановиться. Император возражал, говорил, что «честь, слава, отдых» — все это будет найдено в Москве, и только в Москве. Мюрат бросился тогда на колени перед Наполеоном, говоря: «Москва нас погубит». Он сам был так потрясен этой сценой, что в тот же день в разгаре бомбардировки Смоленска, когда русские батареи, отвечая неприятелю, стали осыпать ядрами его стоянку, он подался вперед и слез с лошади. Генерал Бельяр стал настойчиво просить его уйти, но Мюрат, не скрывая, что он ищет смерти, резко отказался. Тогда Бельяр сказал ему, что из-за него вся свита тут же погибнет. «Ну, так уходите прочь вы все и оставьте меня тут одного!» — раздраженно закричал Мюрат. Свита единогласно отказалась уйти, и только тогда Мюрат с явной злобой покинул опасное место.

Повлияла ли все-таки эта сцена с Мюратом на императора или ужасающий вид горящего Смоленска с его уничтоженными складами и разрушенными бомбардировкой домами заставил его снова пересмотреть свое решение, неизвестно, но после объезда нескольких покрытых трупами и ранеными улиц города Наполеон произнес: «Первая русская кампания окончена» (в другой редакции: «Война 1812 года окончена»). Однако колебание это оказалось мимолетным.

Наполеон, конечно, знал, что Мюрат далеко не одинок в своем убеждении и что критика его предначертаний происходит втихомолку не только в главном штабе и в свите, но и среди рядового офицерства и даже среди солдат. Слишком велико было разочарование, когда, вместо спокойных квартир, обильной пищи после долгих голодных маршей, вместо основательного отдыха в большом русском городе, великая армия нашла дотла разоренное место, начисто выгоревшие значительные части города, неслыханный, неустранимый и непрекращающийся смрад от тысяч и тысяч всюду — в домах, на улицах, в садах — гниющих под жгучим солнцем трупов, непрерывные вопли бесчисленных раненых, валяющихся тут же, рядом с трупами. Фуражиры возвращались из окрестностей, не добыв ни хлеба, ни сена, падеж лошадей усиливался, а по ночам французские солдаты видели с окраин разрушенного города далекие зарева горевших деревень.

В ночь с 24 на 25 августа Наполеон выступил из Смоленска. Весь день он шел следом за русской армией по опустошенной дороге. Вдали по обе стороны виднелись зарева пожаров сжигаемых деревень и стогов. 26 августа император был в Дорогобуже, 27-го вечером — в Славкове, 28-го он ночевал в помещичьем доме в Рубках, не доходя Вязьмы.

«Всюду мы косили зеленые хлеба на корм лошадям и по большей части находили везде полное разорение и дымящиеся развалины. До сих пор мы не нашли в домах ни одного русского, и, когда мы приблизились к окрестностям Вязьмы, мне стало ясно, что неприятель умышленно завлекает нас как можно дальше в глубь страны, чтобы застигнуть нас и уморить голодом и холодом. Пожары пылали не только на пути главной армии, но виднелись в разных направлениях и на больших пространствах. Ночью весь горизонт был покрыт заревом», — пишет Пион, артиллерийский офицер великой армии, в августе 1812 г. Утром 29 августа Наполеон был в Вязьме. Русская армия безостановочно уходила на восток. «Я тут нахожусь в довольно красивом городе, — писал Наполеон Марьи-Луизе из Вязьмы, — тут 30 церквей, 15 тысяч жителей и много лавок с водкой и другими полезными для армии предметами»14. В ночь на 1 сентября император выступил из Вязьмы и в два часа ночи прибыл в Велищево. Жара прекратилась, пошли дожди. «У нас уже осень, а не летнее время, — пишет император жене. — Пыль прибило к земле, армии стало легче продолжать свой бесконечный путь».

Деревни, села, скирды сена и соломы, все запасы сжигались в этот период войны отступающей русской армией. В стороне, в местах, лежащих подальше от столбовой дороги отступления, французы находили, к великой своей радости, и скот, и дома, и жителей. За Смоленском, в Пологом, 24 августа корпус Евгения Богарне увидел «совсем необычайное событие в окрестностях Прудищ — пасущийся на полях скот, деревенских жителей, дома, оставшиеся в стороне от движения войск и, следовательно, уцелевшие». Офицеры и солдаты были отправлены к местным жителям, чтобы «в мирных выражениях попросить у них пищи на сегодня и несколько голов рогатого скота». Все обошлось благополучно, и солдаты «хорошо отдохнули». Но это было именно довольно исключительным событием: если у русских не хватало времени очень уж далеко отходить от главной линии движения, чтобы жечь деревни и запасы, расположенные вдали, то ведь и у французов, преследовавших русскую армию и стремившихся принудить ее к генеральной битве, тоже не было времени производить слишком далекие фуражировки.

Наполеон был молчалив на пути от Смоленска к востоку. Молчала и ехавшая за ним свита, молчали маршалы. С кем ему было говорить? С Коленкуром? С вице-королем Евгением? С Мюратом? С Бертье? С любимым другом Дюроком? Он вел их в Москву, а они не скрывали от

него, что «Москва — это гибель». Все они говорили ему об этом. Преданный Бертье не говорил, но думал об этом же, и Наполеон это знал.

«Да здравствует император!» — кричала старая гвардия всякий раз, когда он к ней подъезжал. Эти у него ничего никогда не спрашивали, но зато и совета никакого дать не могли. Они только отдавали ему по первому требованию свою жизнь.

Глава IV

От Смоленска до Бородина

1

Когда 18 июля из Полоцка Александр I уехал наконец от армии, с ним уехала и его большая свита, а в свите тот самый А. С. Шишков, который, как мы видели, немало усилий потратил на дело удаления царя из армии. Шишков убедил царя, что ему необходимо появиться в первопрестольной Москве, чтобы воодушевить народ. На самом деле мы знаем из личных записок самого Шишкова, предназначенных не для печати, что ему казался более всего существенным не столько вопрос, куда поедет царь, сколько самый отъезд его, ибо вреднее, чем в действующей армии, присутствие Александра Павловича нигде быть не могло. «Несколько дней уже перед сим бродило у меня в голове размышление, что, может быть, положение наше приняло бы совсем иной вид, если бы государь оставил войска и возвратился через Москву в Петербург». Но, конечно, царю этого нельзя было прямо так и высказать, и Шишков говорил о том, что царю нужно спешить именно в Москву, древнюю, священную столицу, и т. д. Но вышло все несравненно лучше, чем кто-либо ждал. В Москву Александр со свитой прибыл уже вечером 23 июля, на пятый день после отъезда из армии. Был при нем, конечно, и Аракчеев, который еще в Полоцке на слова Шишкова и Балашова, что отъезд царя есть средство к спасению отечества, ответил текстуально так: «Что мне до отечества! Скажите мне, не в опасности ли государь, оставаясь далее при армии?» Для Аракчеева отъезд царя из армии был прежде всего спасением своей собственной аракчеевской шкуры от непосредственной военной опасности. Трусость Аракчеева, так же как и жестокое отношение к солдатам, имела истинно патологические размеры. Теперь он на время присмирел. Выбивание челюстей и выдирание усов у солдат, а также прогон их «сквозь тысячу человек двенадцать раз» приходилось отложить до более подходящего времени.

Потрясающие известия о грозном враге, который, ломая сопротивление, прямиком идет на Москву, давно уже держали столицу в напряженнейшем положении. Появление Александра в Москве сильно оживило настроение столицы. 27 июля в Кремле состоялось собрание дворянства и отдельно собрание купечества. Это были допущенные представители обоих сословий, не выбранные, но приглашенные во дворец. Купечество Москвы выразило готовность (и приняло соответственные решения) прийти на помощь отечеству пожертвованиями (до 10 миллионов рублей). Дворянство Московской губернии постановило выставить из крепостных своих крестьян «до 80 тысяч» ратников и дать казне 3 миллиона. От «мещан и разночинцев» также поступили заявления о предоставлении ратников. Сверх того, отдельные большие богачи и магнаты из дворян (вроде графа Мамонова) обязались выставить, обмундировать и вооружить за свой счет целые полки. Началось формирование общенародного ополчения. Подъем духа в народе был огромный. Не страх, а гнев был преобладающим чувством. Очевидцы единодушно показывают, что все классы на этот раз в этот страшный миг слились в общем чувстве. Лучше смерть, чем покорность вторгшемуся насильнику! Крестьяне, мещане, купцы, дворянство — все наперерыв хотели выразить свою готовность идти на смертную борьбу против Наполеона.

Характерно, что наиболее далеки от этого народного подъема были официальные представители власти. Московский главнокомандующий Ростопчин, согласно его собственным запискам, занят был в это время совсем иными вопросами. До него дошло, что кое-кто из дворян намерен спросить государя на заседании в Кремле, каковы наши силы, какие у нас есть средства для защиты и т. д. Это, очевидно, показалось Ростопчину неуместным парламентаризмом, как ему казалось все, сверх восклицания «ура». И он поспешил предупредить вопрошателей. «Намерение было дерзкое, неуместное и опасное при тогдашних обстоятельствах; но насчет исполнения его, то я вовсе не испугался, зная, что указанные господа столь же храбры у себя дома, сколько трусливы вне его. Я преднамеренно и неоднократно говорил при всех, что надеюсь представить государю зрелище собрания дворянства верного и что я буду в отчаянии, если кто-либо из неблагонамеренных людей нарушит спокойствие и забудется в присутствии своего государя, потому что такой человек прежде окончания того, что хотел бы сказать, начнет весьма далекое путешествие. Дабы сообщить более вероятия таким моим речам, я приказал поставить невдалеке от дворца две повозки, запряженные почтовыми лошадьми, и подле их прохаживаться двум полицейским офицерам, одетым по-курьерски. Если кто-либо из любопытных осведомлялся, для кого назначены эти повозки, отвечали: а для тех, кому прикажут ехать. Эти ответы и весть о появлении повозок дошли до собрания, и фанфароны во все продолжение собрания не промолвили слова и вели себя, как подобает благонравным детям». Так подготовился Ростопчин к возможным интерпелляциям, по собственным его словам1.

Зато совсем не подготовилось правительство к непосредственной организации ополчения. Это ополчение должно было постепенно пополнять убыль в армии, но вооружить его было нелегко.

Уже отъехав от армии и будучи в Москве, Александр убедился, что в России нечем вооружить московское ополчение. И не только царь, но и военный министр Барклай этого не знал. «Распоряжения Москвы прекрасны, эта губерния мне предложила 80 тысяч человек. Затруднение в том, как их вооружить, потому что, к крайнему моему удивлению, у нас нет более ружей, между тем как в Вильне вы, казалось, думали, что мы богаты этим оружием. Я покамест сформирую много кавалерии, вооруженной пиками. Я распоряжусь дать их (пики. — Е. Т.) также пехоте, пока мы не достанем ружей», — такое неприятное открытие изложил Александр Барклаю в письме из Москвы 26 июля.

Ружей настолько не хватало, что, по высочайшему повелению, состоявшемуся в том же июле 1812 г., велено было не приводить в действие предложенного вологодским дворянством сбора ополчения (по 6 душ от каждой сотни), а вместо этого прислать от всей Вологодской губернии всего 500 человек звероловов-охотников с их охотничьими ружьями.

Вообще же ополченцев вооружали чем попало. Новороссийский генерал-губернатор «дюк де Ришелье» (герцог Ришелье) сообщил министру полиции 26 июля 1812 г.: «Ополченцев приходится вооружить как кто может».

Вооружать пиками людей, посылаемых драться с наполеоновской армией, значило вовсе никак их не вооружать. В первую голову было велено собрать ополчение в шести губерниях: Тверской и Ярославской (по 12 тысяч), Владимирской, Рязанской, Калужской и Тульской (по 15 тысяч от каждой из этих последних четырех губерний). В общем это составило 84 тысячи человек, а Московская губерния выставила 32 тысячи. Итак, собралось пока ополчение в 116 тысяч человек. Но ружей все-таки не достали. «Я назначил сборные пункты, — вспоминает Ростопчин, — и в 24 дня ополчение это было собрано, разделено по дружинам и одето; но так как недостаточно было ружей, то их (ополченцев. — Е. Т.), вооружили пиками, бесполезными и безвредными». 2

В ночь на 31 июля царь выехал из Москвы и направился в Петербург, куда прибыл 3 августа.

Невеселые вести посыпались на него в ближайшие дни из армии. Для публики можно было всячески выказывать ликование по поводу «победы» Витгенштейна над Удино и умалчивать о том, что на другой день эта победа сменилась поражением и смертью Кульнева. Для публики можно было настаивать на успехах генерала Тормасова, одержанных над генералом Рейнье (на южном фронте), но Александр знал, что за этим успехом последовало полное затишье, что у Тормасова не хватило уменья и сил развить свой успех. Правда, утешительным было то, что австрийские «союзники» Наполеона явно вели себя двусмысленно и Шварценберг, очевидно, вовсе и не желал серьезно угрожать Тормасову. Но во всяком случае важнее всего было движение Наполеона от Витебска на Смоленск.

Паника среди аристократии, в царском окружении, в царской семье росла не по дням, а по часам. Первые, еще темные, неясные слухи о падении Смоленска ее усиливали. Ермолов, Багратион, Беннигсен громко говорили, что если так дальше вести дело, то Москва погибла. Но кого же назначить вместо Барклая? Страх дошел до того, что царю стали в глаза говорить всю правду, забывая об этикете. И хотя больше всех об этом говорила его родная сестра, но царю от этого смягчающего обстоятельства было не легче. «Ради бога, — заклинала брата Екатерина Павловна, — не берите командования на себя, потому что необходимо без потери времени иметь вождя, к которому войско питало бы доверие, а в этом отношении вы не можете внушить никакого доверия. Кроме того, если бы неудача постигла лично вас, это оказалось бы непоправимым бедствием вследствие чувств, которые были бы возбуждены»2.

Между тем из армии приходили такие вести, которые не позволяли дольше медлить с решением вопроса о главнокомандующем.

Положение Барклая в армии после падения Смоленска сделалось просто невозможным. В Дорогобуже все корпусные командиры явились к цесаревичу Константину и заявили ему о дурном состоянии армии, о неравной борьбе, «в особенности если армией будет продолжать командовать Барклай де Толли». После этого Константин, никогда не блиставший избытком мужества, явился к Барклаю просить о паспорте для отъезда из армии. Барклай пробовал переубедить Константина, но тот все-таки уехал, заявив, что он хорошо знает положение и что он едет в Петербург, чтобы заставить своего брата заключить мир3.

Конечно, отъезд Константина был немедленно использован против Барклая. Делу был придан такой оборот, будто Барклаи «выслал» цесаревича из армии, а Константин «является в самом лучшем свете, несмотря на свое предосудительное поведение, так как говорят, что генерал его захотел удалить за то, что он громко высказывал правду»4.

Но хуже всего для Барклая была яростная борьба Багратиона против него, необычайно обострившаяся.

Отношения между Багратионом и Барклаем после выхода из Смоленска с каждым днем отступления становились все напряженнее. Багратион стал в самом деле обращаться с Барклаем как с подозреваемым в измене. Наконец 28 августа Багратион получил рескрипт царя о назначении Кутузова вместо Барклая. В тот же самый день, войдя в Максимовку, он пишет следующее письмо Барклаю, который был тут же, в армии, но с которым князь Багратион предпочел не переговариваться, а переписываться: «Милостивый государь Михаил Богданович! По мнению моему, позиция здесь никуда не годится, а еще хуже, что воды нет. Жаль людей и лошадей. Постараться надобно идти в Гжатск. Но всего лучше там присоединить Милорадовича и драться уж порядочно. Жаль, что нас завели сюда и неприятель приблизился. Лучше бы вчера подумать и прямо следовать к Гжатску, нежели быть без воды и без позиции; люди бедные ропщут, что ни пить, ни варить каши не могут. Мне кажется, не мешкав, дальше идти, арьергард усилить пехотой и кавалерией и уже далее Гжатска ни шагу. К тому месту может прибыть новый главнокомандующий. Вот мое мнение; впрочем, как вам угодно. Посылаю обратно план, который снят фальшиво, ибо торопились снимать. С истинным почтением ваш покорный слуга кн. Багратион». Багратион до такой

степени не может осилить своей ненависти, что он уже злорадно объявляет Барклаю об отставке как о чем-то само собой разумеющемся и, к счастью, уже случившемся… «Нас завели… План снят фальшиво…» — Барклай и без этих выражений знал, как Багратион его называет.

В это же время — и явно демонстративно — Багратион выслал из своей армии, подозревая в шпионстве, состоявшего при ней подполковника Лезера. Собственно, из очень неясного, как обыкновенно у Багратиона, не весьма литературно написанного сопроводительного письма к Ростопчину можно понять следующее: Барклай поместил этого Лезера к Багратиону, чтобы тот доносил ему о Багратионе, а Багратион полагает, что этот Лезер исполняет также шпионские обязанности в пользу французов: «Сей подноситель подполковник Лезер находился при вверенной мне армии по отношению министра военного для употребления должности полицейской… Наконец выходит, что господин сей Лезер более нам вреден, нежели полезен, почему и счел за нужное немедленно отправить к вашему сиятельству, прося вас всепокорнейше приказать за ним присматривать и не давать никакого способа иметь переписку с родственниками своими или с кем ни на есть»5.

Вся эта история с Лезером кончилась уже через три дня после отставки Барклая, но началась, когда Барклай еще был главнокомандующим.

17 августа князь Волконский привез Александру письмо от графа Шувалова, писанное из армии еще 12 августа, т. е. до падения Смоленска. Письмо было самого тревожного и печального свойства: «Если ваше величество не даст обеим армиям одного начальника, то я удостоверяю своей честью и совестью, что все может быть потеряно безнадежно… Армия недовольна до того, что и солдат ропщет, армия не питает никакого доверия к начальнику, который ею командует… Продовольственная часть организована наихудшим образом, солдат часто без хлеба, лошади в кавалерии несколько дней без овса; вина в этом исключительно главнокомандующего, который часто так плохо комбинирует марши, что главный интендант ничего не может поделать. Генерал Барклай и князь Багратион очень плохо уживаются, последний справедливо недоволен. Грабеж производится с величайшей наглостью… Неприятель свободно снимает жатву, и его продовольствие обеспечено». Ермолов хорош, но при таком начальнике ничем помочь не может: «Нужен другой начальник, один над обеими армиями, и нужно, чтобы ваше величество назначили его, не теряя ни минуты, иначе Россия погибла»6.

Александр решился. В тот же день, 17 (5) августа, собрался комитет, составленный по повелению Александра из следующих лиц: председателя Государственного совета Салтыкова, генерала Вязмитинова, Лопухина, Кочубея, Балашова и Аракчеева. Рассмотрев рапорт как самого Барклая, так и Багратиона и других лиц, комитет приступил к обсуждению вопроса о новом главнокомандующем. Вопрос был щекотливый. Не только в дворянстве обеих столиц, но и в армии и даже в солдатской армейской массе давно говорили о Кутузове. Но все члены комитета знали, что царь терпеть не может Кутузова и Кутузов отвечает ему полной взаимностью.

С семи часов вечера до половины одиннадцатого эти царедворцы никак не могли решиться поднести государю императору необходимую пилюлю. Наконец решились. Они так волновались, что протокол вышел не очень грамотным. Впрочем, кроме Балашова и графа Кочубея, остальные члены комитета и в хладнокровном состоянии не грешили особым педантизмом в своих отношениях к русской грамматике. Вот что гласила резолютивная часть протокола: «После сего рассуждая, что назначение общего главнокомандующего армиями должно быть основано: во-первых, на известных опытах в военном искусстве, отличных талантах, на доверии общем, а равно и на самом старшинстве, почему единогласно убеждаются предложить к сему избранию генерал-от-инфантерии князя Кутузова». Александр, впрочем, наперед знал, что именно так и произойдет, и наперед примирился. Он утвердил решение комитета в дни, когда пришли известия о боях под Смоленском и об

отступлении Барклая.

Кутузова уже в июле дворяне избрали (с большими и демонстративными овациями) начальником петербургского ополчения. «Между тем все в один голос кричали, что место его не здесь, что начальствовать он должен не мужиками Петербургской губернии, но армией, которую сберегая, Барклай отдает Россию… Имя его (Барклая. — Е. Т.) сделалось ненавистным, никто из прямо русских не произносил его хладнокровно; иные называли его изменником, другие сумасшедшим или дураком, но все соглашались в том, что он губит нас и предает Россию»7.

Таковы были дворянские настроения в августе 1812 г. Вот как Александр мотивировал свое поведение в сложном вопросе о внезапном назначении нового главнокомандующего. Он констатировал всеобщее раздражение против Барклая и признал основательность этого чувства, так как, по его мнению, «министр» обнаружил нерешительность и «беспорядочность в ведении своего дела», а кроме того, раздоры между Барклаем и Багратионом все усиливались и усиливались. Поэтому (сообщает царь сестре) он предложил «маленькому комитету» выбрать нового главнокомандующего. Комитет решил избрать Кутузова. Он не мог не утвердить этой кандидатуры, потому что «в общем, Кутузов в большом фаворе среди публики как тут (в Петербурге. — Е. Т.), так и в Москве»8. 3

Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову было в этот момент 67 лет. В дни Отечественной войны ему пришлось навсегда связать свое имя с одним из величайших событий русской и всемирной истории и навсегда остаться в памяти людей истинным представителем русского народа в самую страшную минуту существования России.

При дворе, среди аристократии, Кутузов, хотя и потомок старого дворянства, всегда был чужаком; если бы даже не было так широко и твердо известно, что царь его терпеть не может, то и тогда ни Воронцовы, ни Шереметевы, ни Волконские, ни Строгановы вполне «своим» его бы никогда не признали. В большие генералы он вышел еще при Румянцеве и Суворове. Два раза он был тяжело ранен и в полном смысле слова был на волосок от смерти. Глаз у него выбила турецкая пуля в битве под Алуштой, когда ему было еще 29 лет. Суворов был в восторге от его поведения во время штурма Измаила и называл его своей правой рукой и тогда же назначил его комендантом Измаила. В 1805 г. Кутузов считался главнокомандующим австрийской и русской армий и всеми силами и средствами противился желанию Александра дать генеральную битву Наполеону. Битва под Аустерлицем была дана и проиграна. С тех пор Александр очень не взлюбил Кутузова, и когда однажды Кутузова перед ним оправдывали тем, что ведь Кутузов старался удержать царя от битвы под Аустерлицем, то Александр ядовито сказал:

«Слишком мало удерживал». Кутузов был очень умен, очень хитер и тонок. Он сказал раз, сказал два: Наполеон поколотит русских и австрийцев, если дать ему битву. Его не послушали, царю угодно было ломать себе шею. Кутузов умел быть вместе с тем ловким царедворцем, прекрасно вникал в военные и всякие иные интриги, очень ценил власть, почести, блеск, успехи. Александра Павловича он не только не любил, по и не уважал. Чувство родины у него было очень глубокое, и особенно оно обострилось в 1812 г. Его способности как стратега были бесспорны и общепризнанны. Вместе с тем он был и дипломатом замечательным и несколько раз оказывал на этом поприще ценнейшие услуги.

Суворов ставил его много выше других своих соратников. «Хитер, хитер! Умен, умен! Никто его не обманет», — говорил о Кутузове Суворов. Но не только хитрость и ум ценил в нем знаменитый его начальник. Именно на основании донесения Суворова Екатерина II писала Кутузову 25 марта 1791 г.; «…отличная ваша храбрость… при взятье… города и крепости Измаила… при котором вы… оказали новые опыты искусства и неустрашимости, преодолев под сильным огнем неприятельским все трудности, взошли на вал, овладели бастионом и когда превосходный неприятель принудил вас остановиться, вы, служа примером мужества,

удержали место, превозмогли сильного неприятеля, утвердились в крепости и продолжали… поражать врагов…»9.

Громадные стратегические способности, личная несокрушимая, спокойная храбрость, очень большой военный опыт на командных постах, широчайшая популярность Кутузова в населении и армии — все это ставило старого генерала на совершенно исключительное место в данный момент.

Кутузова совсем незачем «причесывать» под Суворова: он велик именно тем, что у него была своя самостоятельная историческая роль — и он блистательно сыграл ее. И как стратег, и как тактик он был вполне своеобразен. Стратегия и тактика Кутузова, победившие Наполеона в 1812 г., были не суворовские, а кутузовские, потому что и Суворов не мог бы в 1812 г. действовать так, как он действовал на Рымнике или под Измаилом, или под Варшавой.

Конечно, в Кутузове было много и лукавства и уменья играть людьми, когда ему это было нужно, и близкие к нему это очень хорошо понимали. «Можно сказать, что Кутузов не говорил, но играл языком: это был другой Моцарт или Россини, обвораживавший слух разговорным своим смычком… Никто лучше его не умел одного заставить говорить, а другого — чувствовать, и никто тоньше его не был в ласкательстве и в проведении того, кого обмануть или обворожить принял он намерение». Этот «тончайший политик» не любил делиться славой… «Тех, кого он подозревал в разделении славы его, невидимо подъедал так, как подъедает червь любимое или ненавистное деревцо…» — так отзывается о нем человек, ежедневно его видевший и имевший с ним постоянные деловые сношения в 1812 г., дежурный генерал Маевский. «…Надо было еще поймать минуту, чтобы заставить его выслушать себя и кое-что подписать. Так он был тяжел для слушания дел и подписи своего имени в обыкновенных случаях»10.

Но в том-то и дело, что в необыкновенных случаях Кутузов бывал всегда на своем месте. Суворов нашел его на своем месте в ночь штурма Измаила; русский народ нашел его на своем месте, когда наступил необыкновенный случай — 1812 год.

Только черты сибаритства, лени, лукавства и бросались в глаза людям, которые или не хотели, или просто не способны были углубляться в анализ очень сложной натуры, большого ума, очень крупных военных дарований Кутузова. Что мог, например, понимать в Кутузове веселый, легкомысленный француз на русской службе Ланжерон? «Кутузов уехал, — пишет Ланжерон Воронцову из Бухареста накануне вторжения Наполеона в Россию, — он нас растрогал при отъезде. Он был очень любезен и очень тронут. Пусть господь даст ему фельдмаршальский жезл, покой, тридцать женщин и пусть не дает ему армию»11. Ланжерон не понимал огромной услуги, только что оказанной Кутузовым России заключением мира с турками, которых Наполеон изо всех сил подстрекал не мириться, и еще меньше этот французский белый эмигрант и карьерист мог понять и предвидеть, какую роль суждено сыграть Кутузову при раскатах страшной грозы, идущей на Россию с запада. А ведь Ланжерон был далеко не одинок в своем взгляде на Кутузова. И вместе с тем многие, кто до того честил Кутузова придворной лисой и старым сатиром, растерянно обращали к нему взоры летом 1812 г. и чаяли от него, и только от него, спасения.

В ум и находчивость Кутузова верили не только в широких кругах дворянского общества и не только в купечестве. Его популярность была огромной и в армии. Конечно, это не было то почти суеверное чувство, с которым солдаты относились к Суворову, да и манера обхождения с солдатами у Кутузова была совсем иная. Суворов, легендарный герой, волшебник, подставляющий поминутно лоб пулям и дразнящий картечь, которая его «не берет», Суворов, всегда и всех побеждающий, был обожаем своими солдатами. Фельдмаршал, который бегает в одной рубахе по лагерю, вызывает солдат драться с ним на кулачки, отказывается в 70 лет надеть теплую шинель, пока не пришлют зимнюю одежду его солдатам, — этот Суворов, конечно, не мог не занимать в душе солдата совсем

исключительного положения. Кутузов на это положение и не претендовал. Но отблеск суворовской славы лежал на нем, как лежал и на Багратионе; выбитый глаз напоминал о том, за что Суворов любил Кутузова, а затем Кутузов умел по-простому, добродушно поговорить с солдатом. Суворовские выходки и фамильярности, которые привлекали к Суворову сердца солдат, никак не подходили к старому, рыхлому, тяжеловесному, тучному фельдмаршалу Кутузову. Говоря с солдатом, он делался таким же немудрящим, простым, чисто русским человеком, как сам солдат, сердечным и благожелательным дедушкой. Его любили и ему верили в армии, как никому другому после смерти Суворова. Багратиона тоже любили, но это было иное: немногословный, по-восточному сдержанный и вместе с тем способный на сильные чувства и самое бурное их выражение, боевой герой, не уступавший Суворову в личном мужестве, Багратион все-таки никогда не пользовался такой широкой популярностью, как Кутузов, не был таким «своим» для солдата, как Кутузов, хотя непосредственное окружение (и офицерское и солдатское) и полки, близко к Багратиону стоявшие, любили и уважали его самым искренним и горячим образом.

Кутузов, явившись в Царево-Займище, сейчас же назначил Барклая командиром той части армии, какой Барклай командовал до Смоленска, а Багратиона — начальником той самой армии, какой он до сих пор командовал.

Кутузов очень хорошо сознавал, с каким гигантом ему придется иметь дело, и у нас есть немало тому доказательств.

Офицер Данилевский употребил однажды некоторые смелые выражения против Наполеона. Кутузов прервал его и строго заметил: «Молодой человек, кто дал тебе право издеваться над одним из величайших людей? Уничтожь неуместную брань!»12. Это характерно для отношения Кутузова к своему противнику.

И все-таки он не терял надежды одолеть, если не «разбить», то перехитрить Наполеона; одолеть его, используя все — и время и пространство. Это не значило, конечно, что он отказывался от активной военной борьбы с Наполеоном. Но эту борьбу он хотел вести с наименьшей затратой живых сил русского народа. Среди провожавших Кутузова, когда он после своего назначения отъезжал из Петербурга к армии, был его племянник, к которому фельдмаршал благоволил. «Неужели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона? — спросил он. — Разбить? Нет, не надеюсь разбить! А обмануть — надеюсь!»

Чем больше мы углубимся в анализ и слов и действий Кутузова, тем яснее для нас станет, что он еще меньше, чем до него Барклай, искал генеральной битвы с Наполеоном под Москвой, как не искал он ни единой из битв, происшедших после гибели Москвы, как не искал он ни Тарутина, ни Малоярославца, ни Красного, ни Березины. Барклай бывал иной раз растерян, метался, говорил о переходе в наступление. Кутузов, репутация и авторитет которого были несравненно прочнее, вел себя спокойнее, чем его предшественники, и свою идею «золотого моста» Наполеону, т. е. изгнания его из России без излишнего кровопролития, проводил последовательно. В конечном счете эта тактика привела к истреблению вторгнувшейся армии, и он планомерно исполнял свой план, начав его гениальным маршем на Тарутино и продолжая фланговым «параллельным» преследованием вплоть до изгнания врага из России. Но все-таки трудно было его положение и до и после Бородина, и много пришлось ему хитрить. И исследователь, даже искренно любящий и почитающий этого великого русского человека, решительно обязан подвергать самой настойчивой и внимательнейшей критике каждое слово, особенно каждый официальный документ, исходящий от Кутузова, и прежде всего обязан в каждом случае спрашивать себя: кому и зачем пишет Кутузов.

Разница между Кутузовым и Барклаем была в том, что Кутузов знал: Наполеона погубит не просто пространство, и пустыня, в которую русский народ превратит свою страну, чтобы погубить вторгшегося врага. Барклай все расчеты строил на том, что Наполеон, непомерно

растянув линию сообщений, ослабит себя. А Кутузов рассчитывал на то, что русский крестьянин скорее сожжет свой хлеб и свое сено и свое жилище, чем продаст врагу провиант, и что в этой выжженной пустыне неприятель погибнет.

Никому, и в том числе и ему, не позволят сдать Москву без боя. Это он знал твердо, и с этим обязательством он и получил верховное командование над армией. «Кутузов, наверное, не дал бы Бородинского сражения, в котором, по-видимому, не ожидал одержать победы, если бы голос двора, армии, всей России его к этому не принудил. Надо полагать, что он смотрел на это сражение как на неизбежное зло. Он знал русских и умел с ними обращаться», — так говорит Клаузевиц, который не любил Кутузова, но многое в нем угадывал, хотя до конца его понять никогда не мог.

Когда 29 августа отступающая русская армия пришла в Царево-Займище и тут узнала, что Александр сменил Барклая и назначил главнокомандующим князя Кутузова, Барклай был потрясен и унижен этим актом. «Если бы я руководим был слепым, безумным честолюбием, то, может быть, ваше императорское величество изволили бы получать донесения о сражениях, и, невзирая на то, неприятель находился бы под стенами Москвы, не встретя достаточных сил, которые были бы в состоянии ему сопротивляться», — писал Барклай царю.

Барклай тяжело переживал ряд непрерывных обид до Царева-Займища, и вдруг новое, страшное оскорбление, этот внезапный удар в Цареве-Займище. Спустя девять дней после отставки, на другой день после Бородина, Барклай сказал Ермолову: «Вчера я искал смерти и не нашел ее». Ермолов, записавший эти слова, прибавляет: «Имевши много случаев узнать твердый характер его и чрезвычайное терпение, я с удивлением видел слезы на глазах его, которые он скрыть старался. Сильны должны быть огорчения».

В труднейшем положении оказался Кутузов. Встреча, молебен, смоленская чудотворная богородица, «как с этакими молодцами отступать?» и т. д. — все это с одной стороны, а с другой — немедленный его приказ отступать из Царева-Займища на Гжатск и далее. С одной стороны: «Москва — это еще не Россия», «лучше потерять Москву, чем армию и Россию», и т. д. — все эти афоризмы Кутузова, а с другой — ряд изумительных фактов, кричаще противоречивых: «Настоящий мой предмет есть спасение Москвы», — заявляет он Тормасову. Только что войдя с армией в Гжатск и уже распорядившись о дальнейшем отступлении, он пишет Ростопчину, который в страшной тревоге и волнении хочет добиться ответа о предстоящей участи Москвы: «Не решен еще вопрос: потерять ли армию, или потерять Москву? По моему мнению, с потерей Москвы соединена потеря России». Это — до Бородина. А после Бородина, с одной стороны, военный совет в Филях, оборванный Кутузовым словами: «Приказываю отступление», т. е. приказываю отдать Москву неприятелю, а с другой — в тех же Филях, в тот же день, но до совещания, когда Ермолов заметил, что удержаться на этих позициях нельзя (и что, значит, нужно уходить за Москву и отдать ее), Кутузов, пишет Ермолов, «взял меня за руку, ощупал пульс и сказал: „Здоров ли ты?“»13, т. е. самую мысль отдать Москву без нового боя он считал как бы безумием. Словом, никто до последней минуты не мог при всех усилиях понять, чего же хочет Кутузов.

Но все его действия показывали, что если отдать Москву совсем без битвы никак нельзя и что нужно решиться на генеральное сражение, то после Бородина другого сражения он категорически не хотел давать и не дал. Он путал и противоречил себе, но все это для того, чтобы показать прежде всего солдатам, что он ни за что не хочет отдавать Москву, а если вот отдал ее в последний момент, то исключительно по совсем уже внезапным, каким-то непреодолимым препятствиям, а он, мол, сам до последней минуты убежден был, что Москву нельзя сдавать. И он этого достиг. Доверие армии к Кутузову, насколько можно судить по единодушным показаниям свидетелей, после сдачи Москвы ничуть не пошатнулось. Когда он, придя в Мамоново, 12 сентября отдал приказ: «Небезызвестно каждому из начальников, что армия российская должна иметь решительное сражение под стенами Москвы», то он,

конечно, с умыслом вводил армию в заблуждение относительно своих намерений. Уже в Филях 13 сентября, щупая пульс Ермолова, он твердо знал, что завтра, 14 сентября, он пройдет через Москву и завтра же в нее войдет французская кавалерия. Все его слова, выходки, приказы были орудием пропаганды, блистательно доказавшим свою пригодность. Да, он не немец, он не изменник Барклай, он русский человек и ни за что не хотел уходить, да что же поделаешь, если божья воля? А больше ничего Кутузову и не требовалось, только чтобы был сделан именно такой общий вывод… И даже на совете в Филях, где решалась участь Москвы, Кутузов предоставил Барклаю первому произнести речь о необходимости оставить Москву, и когда Барклай сказал: «Овладение Москвой приготовит гибель Наполеону», то Кутузов только присоединился к этим словам. 4

Настроение народа и прежде всего крестьян, настроение армии, как солдат, так и командного состава, было таково, что если Кутузов мог с успехом воспротивиться второму генеральному бою, то не дать даже и одного генерального сражения было для него просто невозможно. «Тот, кто предложил бы сдать Москву без выстрела, несомненно прослыл бы за изменника в глазах всего народа». Это — свидетельство (одно из тысячи), говорящее о настроениях в армии и в народе к моменту приезда Кутузова к армии.

Когда отступающая русская армия двигалась от Гжатска к Можайску, к ней явились в подкрепление около 15 тысяч под начальством Милорадовича и 10 тысяч человек московской милиции под начальством графа Маркова. Получив это подкрепление, Кутузов окончательно решил остановиться и принять бой.

Жребий был брошен. Русская армия остановилась и повернулась лицом к наступающему Наполеону14.

Затруднения обступали Кутузова со всех сторон. Провиантские хищники просто морили голодом армию, воруя уже 100 процентов отпускаемых сумм и сваливая отсутствие сухарей на «отбитие неприятелем».

Провиантское дело было поставлено в русской армии в дни перед Бородином и во время отступления от Бородина к Москве из рук вон плохо. Солдаты питались неизвестно чем, офицеры и генералы, у которых были деньги, бывали сыты, у кого не было денег голодали, как солдаты. «Наш генерал (Милорадович) не имеет сам ни гроша, и часто бывает, что он, после сильных трудов, спрашивает поесть. Но как чаще всего у нас нет ничего, то он ложится и засыпает голодный без упрека и без ропота»15.

Так приходилось голодать на походе Милорадовичу, равному по чину Барклаю де Толли, преемнику Багратиона по командованию багратионовской армией после Бородина (при отступлении).

Кутузов, новый главнокомандующий, подходил уже с армией к Колоцкому монастырю, до Шевардинскои битвы осталось ровно три дня, до Бородина — пять дней, а солдаты голодают, армии нечего есть. Кутузов принужден выпрашивать, чтобы из Москвы прислали продовольствие, и уговаривает Ростопчина прислать чего-нибудь поесть солдатам, потому что все успехи могут быть сорваны «недостатками»16.

Каждый день уносил сотни и сотни лошадей во французской армии, но и в русской положение на походе и до и после Бородина было в этом отношении отчаянным: «Мы продолжаем отступать, неизвестно почему, мы теряем людей в арьергардных боях и окончательно губим нашу кавалерию, которая еле двигается. Мой полк благодаря этому животному, Сиверсу, свелся к 400 человекам, другие полки не лучше. Словом, несмотря на наилучшие пожелания и не будучи из числа тех, которые видят все в черном свете, я предвижу, что через пятнадцать дней мы совсем лишимся кавалерии», — так писал 10 сентября, на четвертый день после Бородина, князь Васильчиков раненому Михаилу Семеновичу Воронцову.

У нас есть еще много бесспорных документов, резко противоречащих голословному и вскользь брошенному слишком оптимистическому мнению Клаузевица об удовлетворительном будто бы состоянии продовольствования русской армии в период ее отступления. Правда и то, что у французов дело обстояло в общем еще хуже. Но «безотносительно» русская армия была далека от сытости. И тем не менее русское войско сохранило и порядок, и дисциплину, и боевой дух.

Голод и всякие лишения били русских солдат сильнее, чем наполеоновские пули и картечь. «Причины же умножения в армии больных должно искать в недостатке хорошей пищи и теплой одежды. До сих пор большая часть солдат носит летние панталоны, и у многих шинели сделались столь ветхи, что не могут защищать их от сырой и холодной погоды», — доносил 12/24 сентября главноуправляющий медицинской части в армии Вилье Аракчееву17. А вообще говоря, Вилье был очень склонен к казенному оптимизму. 5

28 августа Наполеон с гвардией вошел в село Семлево. На другой день корпус Даву и кавалерия Мюрата двинулись на Вязьму. Жара стояла нестерпимая; солдаты французской армии буквально дрались за глоток мутной воды из болота. Русский арьергард под начальством Коновницына поджег все склады провианта в Вязьме. Когда французский авангард подходил к Вязьме, весь город пылал, охваченный пожарами со всех концов. Русский арьергард с боем отступал от Вязьмы. Французы, почти ничего не найдя в сгоревшей Вязьме, разыскали в окрестностях несколько богатых барских усадеб, но там все уже было расхватано казаками, неустанно рыскавшими вокруг русской армии и недалеко от французского авангарда. Со времени выхода из Литвы и вступления в чисто русские губернии добывание продуктов, фуражировки по деревням делались для французов все труднее и труднее. Крестьяне не желали входить ни в какие мирные переговоры и торговые сделки с французами. Они убегали в леса, пряча или сжигая продукты. А после Смоленска это явление стало принимать прямо грозные для «великой армии» размеры.

В Гжатске, за четыре дня до Бородина, Наполеон приказывал маршалу Бертье, своему начальнику штаба: «Напишите генералам, командующим корпусами армии, что мы ежедневно теряем много людей вследствие недостаточного порядка в способе добывания провианта. Необходимо, чтобы они согласовали с начальниками разных частей меры, которые нужно принять, чтобы положить предел положению вещей, угрожающему армии гибелью; число пленных, которых забирает неприятель, простирается до нескольких сотен ежедневно; нужно под страхом самых суровых наказаний запретить солдатам удаляться». Император приказывает, отправляя фуражиров, давать им «достаточную охрану против казаков и крестьян»18.

Войдя в Гжатск, Наполеон приказал 2 сентября в три часа дня сделать всеобщую перекличку боевых сил, находившихся в Гжатске и в непосредственной близости. Оказалось 103 тысячи пехоты, 30 тысяч кавалерии и 587 орудий. Но еще продолжали подходить отставшие части.

В Гжатске Наполеон пишет Марии-Луизе, отвечая, очевидно, на ее письмо о рисунках Дэнона (к истории наполеоновских войн): «Я доволен, что рисунки Дэнона о моих кампаниях тебя развлекают. Ты находишь, что я подвергался многочисленным опасностям. Вот уже девятнадцать лет, как я веду войны, и я дал много сражений и проводил много осад в Европе, в Азии, в Африке. Я поспешу кончить эту войну, чтобы поскорей тебя увидеть…»19

Пробыв в Гжатске 2 и 3 сентября, император выступил с гвардией из Гжатска 4-го числа в час ночи.

Наполеон шел ускоренным маршем, очень тесня арьергард Кутузова, явно желая либо принудить нового главнокомандующего к генеральной битве, либо на плечах русской отступающей армии войти в Москву. Наполеон шел за Кутузовым, непрерывно встречая жестокое сопротивление русского арьергарда.

Уже на другой день после приезда своего к армии в Царево-Займище Кутузов приказал, к общему удивлению, отступать. Тяжелое это было отступление. Арьергардом командовал генерал Коновницын, на него непрерывно наседали большие кавалерийские силы французов. Но 2 сентября драгунам и казакам удалось отбросить баварскую кавалерию напиравшую на Коновницына, и это улучшило положение, по крайней мере, на сутки.

Кутузов с Барклаем и Багратионом, прикрываемый удачным и упорным сопротивлением Коновницына, подошел 3 сентября к Колоцкому монастырю и тут начал укрепляться. Он поручил обследование позиции полковнику Толю. Позиция, выбранная по повелению Кутузова полковником Толем для битвы, была вынужденной позицией по той простои причине, что Наполеон с главными силами уже не выпускал в сущности из своего кругозора арьергарда кутузовской армии и Коновницын должен был отступать с почти непрерывным боем. Другими словами, Кутузов должен был или ускорить темп отступления и бросить Коновницына совсем на произвол судьбы, хотя и тогда Наполеон, разгромив вконец Коновницына, все-таки погнался бы, тоже ускорив темп марша, за Кутузовым, нагнал бы его где-нибудь около Можайска или восточнее Можайска и все равно заставил бы принять бой; или Кутузов должен был сделать то, что он сделал: остановиться около Колоцкого монастыря, укрепить позицию, какая тут случилась, вобрать в свои главные силы, в свою остановившуюся армию весь теснимый французами арьергард Коновницына и уж тут ждать Наполеона. Эта позиция имела свои и выгодные и невыгодные стороны. Некоторые из военных историков и прямых участников и очевидцев Бородинского боя утверждают, что она была совсем плоха, но пришлось ее принять20. Они явно сгущают краски.

Итак, Наполеон шел за Коновницыным, не выпуская его из почти непрерывного боя. И вдруг императору донесли, что впереди — редут. Наполеон полагал, что это было с военным расчетом поставленное против него передовое укрепление. Позднейшие военные писатели настаивают, что этот редут при деревне Шевардино должен был составлять один из укрепленных пунктов той позиции, которая была предложена Толем для предстоящей генеральной битвы, но что при окончательном осмотре позиции было решено бросить этот Шевардинский редут и, отодвинув несколько к востоку левый (багратионовский) фланг остановившейся русской армии, прикрыть его Семеновским рвом и укреплениями, которые наскоро и были возведены. Так были созданы Семеновские, или «Багратионовы» флеши, полевые укрепления, которым суждено было сыграть колоссальную роль в великой битве. Но Наполеон появился перед Шевардинским редутом в ночь на 5 сентября, когда операция очищения багратионовской армией шевардинской позиции еще не была закончена и в редуте и вокруг редута еще оставались небольшие не успевшие уйти русские части. Несколько французских конных атак было отбито защитниками редута. Подоспевшие две французские дивизии (пехотные) и три полка 3-и дивизии отбросили дивизию Неверовского, занимавшую подступы к редуту, и пошли штурмом на Шевардинский редут. Русские защитники редута встретили французские войска, т. е. свою неминуемую смерть, криком «ура» и штыковой контратакой. Они все были перебиты. Шевардино было поручено защищать князю Горчакову, располагавшему для этой цели 11 тысячами человек. Наполеон направил на Шевардинский редут больше 35 тысяч отборных войск, в числе которых были великолепные три дивизии из корпуса маршала Даву. Не довольствуясь этим, Наполеон уже в разгаре Шевардинского боя подослал атакующей колонне подкрепление. После яростного боя, продолжавшегося весь день, 5 сентября вечером и редут и деревня Шевардино были взяты французами. Артиллеристы продолжали стрелять до последней минуты, а когда ворвались в ретраншаменты французы, они не бежали, хотя имели полную к тому возможность, но вступили в рукопашную и были переколоты у своих орудий. К ночи Багратион послал Неверовскому (дивизия которого почти полностью погибла в этот день) подкрепление, и упорные бои вокруг Шевардина возобновились. Лишь незадолго до полуночи Багратион получил приказ от Кутузова прекратить сопротивление и отойти от непосредственных окрестностей Шевардина к позициям левого фланга русской армии. Поздно ночью кончился этот бой, настолько неравный, что французы понять не могли, как он мог так долго

продолжаться. Все умолкло у Шевардина; спотыкаясь о трупы, густо устилавшие все подступы к редуту, французы в глубокой темноте вернулись в Валуево и Гриднево.

Пока шел этот многочасовой бой. Наполеон принимал донесения разведчиков и не спускал подзорной трубы с далекого русского расположения. Еще утром он пришел к заключению, что подходящим пунктом для прорыва русской позиции является левый фланг русской армии и независимо от этого еще деревня, далеко выдвинувшаяся впереди русского центра. Он уже накануне узнал и название этой деревни: Бородино.

Битва под Шевардином была, с точки зрения некоторых военных критиков и наблюдателей, «ненужным и безуспешным сражением», потому что неприятель завладел редутом и защищавшими его батареями. Так отзывался об этом деле и Роберт Вильсон, английский комиссар с весьма неопределенным формально, но чрезвычайно конкретными функциями по существу, пребывавший в штабе Кутузова. Он наблюдал за Кутузовым по двум отдельным заданиям: со стороны английского правительства и со стороны императора Александра, и свои донесения о действиях и словах фельдмаршала посылал в Петербург по двум адресам: английскому послу лорду Каткэрту и императору Александру. В свободное от этих основных занятий время он следил и за самим императором Александром и держал английское правительство в курсе своих наблюдений. Александр мало доверял Кутузову, британский кабинет тоже не доверял Кутузову и еще меньше доверял самому Александру. Тильзитский урок еще был очень свеж в памяти, и неожиданных поступков от царя можно было очень и очень ожидать. Сэр Роберт Вильсон, умный и зоркий наблюдатель, прекрасно справлялся со своими сложнейшими задачами, и нам еще не раз придется обращаться к его письмам, донесениям и, наконец, к его систематическим позднейшим воспоминаниям о 1812 годе.

Шевардином Вильсон был недоволен. И русские генералы не очень были довольны. Стало ясно, что Наполеон теперь обрушится на левый фланг, потому что этот левый фланг именно и прикрывался Шевардинским редутом. Левое крыло было самым слабым по численности войск. Но им командовал Багратион: Кутузов знал, что это удваивает силу левого фланга.

К вечеру 5 сентября русский арьергард, которым командовал генерал Коновницын, опять был атакован французами у монастыря на Колоче и отброшен к селу Бородино.

Наполеон шел на русскую армию тремя густыми колоннами. Впереди левой колонны шел корпус Понятовского, правой командовал вице-король Италии Евгений, по середине происходило движение главных сил во главе с Наполеоном, в свите которого были Мюрат, Ней, Жюно. Тут была и вся гвардия.

Около деревни Валуево императорский штаб остановился.

Наполеон сидел поздно вечером 5 сентября в своей палатке, когда к нему явился Коленкур, только что побывавший на Шевардинском редуте. «Ни один пленный не был нами взят», — донес он, и удивленный Наполеон спрашивал, неужели эти русские решили победить или умереть. Ему отвечали, что русские, привыкшие сражаться с турками, которые приканчивают своих пленников, скорее предпочитают дать себя перебить, чем сдаться в плен21. Наполеону ответили в чисто царедворческом духе, чтобы несколько подорвать значение геройского поведения русских защитников Шевардина. Отвечавшие ему знали, что ссылка на турок совершенный вздор: русские солдаты очень мало интересовались своей судьбой в плену. Они просто отважно защищали свои позиции, в чем французы убеждались на протяжении всей войны.

Наполеон совсем мало спал в эту ночь. То ему казалось, что русские огни тухнут, что слышался отдаленный шум и гул в русском лагере, и то же опасение, как в течение всей этой войны, овладевало императором: не уйдут ли русские под покровом ночи? Наполеон, исходя из опыта Шевардинского сражения, решил, что готовящийся генеральный бой должен быть

прежде всего артиллерийским, а не штыковым и не ружейным боем. Штык и ружье должны были играть не первостепенную, а второстепенную роль.

Едва рассвело, император в сопровождении свиты и маршалов выехал на осмотр позиций. Целый день 6 сентября он не сходил с коня и каждые несколько минут вскидывал глаза на русский лагерь. Там шло какое-то движение, и все время оттуда доносился далекий гул. В середине дня французы узнали, что Кутузов объезжает войска, что по лагерю проносят вывезенную из Смоленска икону смоленской богородицы. К вечеру все стало стихать.

В этот день Наполеон, подъехав к Шевардинскому редуту и, по-видимому, желая проверить полученное накануне известие, спросил у генерала своей свиты, который был у Шевардина: «Сколько вчера взято в плен русских?» — «Они не сдаются в плен, государь!» — «Не сдаются? Хорошо, так мы будем их убивать!» — сказал Наполеон и поехал дальше. Этот краткий разговор передается многими свидетелями, в том числе офицерами лейб-гвардии казачьего полка, сообща составившими историю своего полка на основании записей очевидцев.

Весь день 6 сентября прошел в приготовлениях. Вечером перед полками читалось воззвание Наполеона: «Солдаты, вот битва, которой вы так желали! Впредь победа зависит от вас! Она нам необходима, она нам даст изобилие, хорошие зимние квартиры, быстрое возвращение на родину. Поведите себя так, как под Аустерлицем, под Фридландом, под Витебском, под Смоленском, и пусть самое отдаленное потомство говорит о вашем поведении в этот день. Пусть о вас скажут: он был в великой битве под стенами Москвы!»

Читался этот приказ Наполеона и в другой редакции на рассвете 7 сентября: «Солдаты! День, которого вы так желали, настал. Неприятельская армия, которая бежала перед вами, теперь стоит перед вами фронтом. Вспомните, что вы — французские солдаты! Выигрыш этого сражения открывает перед вами ворота древней русской столицы и даст нам хорошие зимние квартиры. Враг обязан будет своим спасением только поспешному миру, который будет славным для нас и наших верных союзников! Дано в главной квартире перед Можайском 7 сентября 1812 г. Наполеон».

К вечеру 6 сентября приехал курьером из далекой Испании полковник Фавье, адъютант маршала Мармона, дравшегося там с испанцами и англичанами. Невеселые вести привез Фавье: в битве под Аропилем французы, армия которых, расположенная в Испании, была в два раза больше той, которая стояла сейчас перед Бородинским полем, потерпели новую неудачу…

Стемнело. Император велел своей армии ложиться спать, — завтра дело должно было начаться перед рассветом. Он ушел в палатку, но ни сам не спал как следует и ни Коленкуру, ни Раппу не давал заснуть. Каждые час-полтора он выходил посмотреть: не ушел ли Кутузов? Горят ли огни у Семеновского, у Бородина и на фланге Багратиона, между Утицей и Семеновским оврагом? Огни горели, Кутузов не снимался с места. Император был простужен и чувствовал себя плохо. Он начинал говорить с адъютантами и не доканчивал фразы. Задавал вопрос и сейчас же его сам забывал и не слушал ответа. Он внезапно спросил дежурного генерала Раппа, позванного в палатку: «Верите ли вы в завтрашнюю победу?» — «Без сомнения, ваше величество, но победа будет кровавая». Тут Наполеон невольно выдал, играя цифрами, свою мысль, не пускать завтра в ход ни гвардию, ни часть кавалерии, т. е. уберечь от битвы около 50 тысяч человек из 130, которые составляли тут его войско: «У меня 80 тысяч, я потеряю 20 тысяч, а с 60 тысячами войду в Москву. К нам там присоединятся отставшие, потом и маршевые батальоны, и мы будем сильнее, чем до сражения».

Он о многом говорил, стараясь побороть и физическое недомогание и душевное волнение, которое ему не удавалось скрыть. В постель он не ложился. Уже светало.

Вдруг в палатку явился ординарец от маршала Нея. Маршал спрашивал повеления, начинать ли бой, так как уже пробило пять часов утра. Русские стоят на месте. Наполеон вскричал: «Наконец, мы их держим! Вперед! Откроем ворота Москвы!» Через полчаса он уже был на взятом накануне

Шевардинском редуте, в это время позади русского далекого лагеря стало подыматься солнце. «Вот солнце Аустерлица!» — воскликнул император.

Глава V

Бородино

1

Во всемирной истории очень мало битв, которые могли бы быть сопоставлены с Бородинским боем и по неслыханному до той поры кровопролитию, и по ожесточенности, и по огромным последствиям.

Наполеон уничтожил в этом бою почти половину русской армии и спустя несколько дней вошел в Москву, и, несмотря на это, он не только не сломил дух уцелевшей части русского войска, но не устрашил и русского народа, который именно после Бородина и после гибели Москвы усилил яростное сопротивление неприятелю.

Какие силы стояли друг против друга на Бородинском поле, когда занималась заря 7 сентября (н. ст.) 1812 г., одного из наиболее кровавых дней в истории человечества?

Русская армия под верховным начальством Кутузова располагала перед Бородинским сражением следующими силами. Правым крылом и центром командовал Барклай де Толли. Правым крылом непосредственно командовал Милорадович, в расположении которого было два пехотных корпуса: 2-й и 4-й (19800 человек) и два кавалерийских — 1-й и 2-й (6 тысяч человек), а в общем — 25 800 человек. Центром непосредственно командовал Дохтуров, у которого был один пехотный и один кавалерийский корпус (в общей сложности 13600 человек). Резерв центра и правого крыла состоял в непосредственном распоряжении самого Кутузова (36 300 человек), а всего на этом правом крыле и в центре с резервами было 75 700 человек. Вся эта масса войск (правое крыло и центр) носила название «1-й армии», потому что ядром ее была прежняя 1-я армия Барклая. Левым крылом командовал Багратион, и так как ядром войск этого левого крыла была та «2-я армия», которой командовал Багратион до Смоленска, то и все левое крыло, сражавшееся под Бородином, называлось по старой памяти «2-й армией», а Багратион — «вторым главнокомандующим».

Левое крыло состояло из двух пехотных корпусов (22 тысячи человек) и одного кавалерийского — 3800 человек, в общем же у Багратиона было 25 тысяч человек, а резервы багратионовского левого крыла насчитывали 8300 человек. Следовательно, у Багратиона в общей сложности было к началу боя 34 100 человек, т. е. в 2,5 раза меньше, чем в 1-й армии. Кроме этих регулярных войск с резервами, составлявших в общем 110 800 человек, к русской армии под Бородином присоединились 7 тысяч казаков и 10 тысяч ратников (смоленского и московского ополчения). В общем у Кутузова под ружьем было (без казаков) 120 800 человек. В его артиллерии было 640 орудий. Эти цифры даются во многих источниках. Однако цифра, даваемая Толем, несколько меньше: «В сей день российская армия имела под ружьем линейного войска с артиллерией 95 тысяч, казаков 7 тысяч, ополчения московского 7 тысяч и смоленского 3 тысячи. Всего под ружьем 112 тысяч человек; при сей армии 640 орудий артиллерии».

Энгельс в своей маленькой статье о Бородинской битве, основанной главным образом, как он

сам указывает, на мемуарах Толя, признает, что русская артиллерия в бородинский день была сильнее французской и стреляла более тяжелыми ядрами (6 — 12 фунтов против 3–4 фунтов)1. Исправная работа Тульского и Сестрорецкого заводов и получение нового вооружения из Англии помогли русской армии в борьбе против технически, казалось бы, лучше снабженного противника. Во всяком случае в 1812 г. не наблюдалось ничего похожего на позорную техническую отсталость русских войск сравнительно с французскими во время Крымской кампании 1854–1855 гг.

К Бородину, по преувеличенным русским подсчетам, Наполеон привел пять пехотных корпусов: 1-й, 3-й, 4-й, 5-й и 8-й, четыре кавалерийских корпуса, старую и молодую гвардию. В пехотных корпусах было в общей сложности 122 тысячи человек, в четырех кавалерийских — 22 500 человек, в старой гвардии — 13 тысяч, в молодой гвардии — 27 тысяч человек. В общем у него было, по данным и исчислениям русского штаба, 185 тысяч человек и более тысячи орудий. 1-м корпусом, самым большим из пяти корпусов (48 тысяч человек), командовал маршал Даву, 3-м — маршал Ней (20 тысяч человек), 4-м — вице-король Италии Евгении Богарне (24 тысячи человек), 5-м — князь Понятовский (17 тысяч человек), 8-м — генерал Жюно, герцог д'Абрантес (13 тысяч человек). Всей кавалерией командовал король неаполитанский Иоахим Мюрат (22 500 человек). Ближайшим начальником всей гвардии, как старой, так и молодой, считался сам император Наполеон (40 тысяч человек), он же — главнокомандующий всей великой армии. Но непосредственно командиром старой гвардии был маршал Мортье, а командиром молодой гвардии — Лефевр, герцог Данцигский.

На самом же деле, по подсчетам участника и историка событии 1812 г. Клаузевица, принятым теперь военной историографией, когда Наполеон подошел к Смоленску, у него было 182 тысячи человек, а когда он подошел к Бородинскому полю, у него было 130 тысяч и 587 орудий. Остальные 52 тысячи были потеряны для бородинского сражения: 36 тысяч Наполеон потерял в боях под Смоленском, на Валутиной горе, в мелких боях и стычках от Смоленска до Шевардина, а также больными и отставшими2, 10 тысяч отправил в подкрепление витебского гарнизона, 6 тысяч оставил в Смоленске.

Цифры эти даются также французскими военными историками похода, у которых после критической проверки собственно и взял их Клаузевиц. 2

Битва началась с нападения дивизии Дельзонна на деревню Бородино. Деревня была в расположении правого крыла русской армии, которым командовал Барклай. Французы вытеснили из деревни стоявших там егерей, и на берегу реки Колочи произошла очень жаркая схватка. Барклай велел сжечь мост через Колочу. Деревня осталась за французами, но это стоило очень больших потерь не только русским егерям, но и пехоте Дельзонна.

С пяти часов утра самый яростный бой завязался на левом крыле русской армии, где у Семеновского оврага стоял Багратион.

Наполеон направил сюда Даву, Мюрата и Нея, которому был подчинен корпус Жюно. Первые атаки были отбиты русской артиллерией и густым ружейным огнем. Маршал Даву упал, контуженный в голову, лошадь под ним была убита. В первых же атаках на позиции Багратиона у французов было перебито очень много начальников — несколько генералов и полковых командиров. Укрепления вокруг Семеновского, так называемые «Багратионовы флеши», были сделаны наспех и с технической стороны очень неудовлетворительно, но защита была такой яростной, что об эти флеши с пяти часов утра до 11.30 безуспешно и с ужасающими потерями разбивались все отчаянные нападения французов. Наполеон приказал уже к семи часам утра выдвинуть почти 150 орудий и громить этим огнем Багратионовы флеши. После долгой артиллерийской подготовки Ней, Даву и Мюрат с огромными силами (один Мюрат бросил на флеши три кавалерийских корпуса) бросились на Семеновский овраг и на флеши. Подавляющие силы налетели на дивизию Воронцова, опрокинули и смяли ее, налетели на дивизию Неверовского, смяли и ее тоже. Дивизия

Воронцова была истреблена почти полностью, и сам Воронцов был ранен и выбыл из строя. Неверовский сопротивлялся отчаянно, и его батальоны не раз бросались в штыковой бой против напиравшей громадной массы французов.

Мюрат, Ней, Даву послали к Наполеону за подкреплением. Но он отказал, выражая неудовольствие тем, что флеши еще не взяты.

Тогда на этом месте закипел кровопролитнейший бой. Багратион и французские маршалы несколько раз отбивали друг у друга покрытые трупами людей и лошадей Семеновские флеши. Для людей, наблюдавших в эти страшные часы князя Багратиона, хорошо знавших его натуру, помнивших всю его карьеру, в которой самое изумительное было то, что он каким-то образом прожил до сорока семи лет, не могло быть сомнений, что на этот раз третьего решения быть не может: или флеши останутся в руках Багратиона, или он сам выбудет из строя мертвым или тяжелораненым.

Наполеон тоже не мог и не хотел отступить от своего намерения, твердо решив сначала прорвать русское построение с его левого фланга, а потом направить все усилия на центр.

На Багратионовы флеши император направил уже не 130 и не 150, как до сих пор, а 400 орудий, т. е. больше двух третей всей своей артиллерии.

Велено было идти на новый общий штурм флешей. Багратион решил предупредить врага контратакой.

«Вот тут-то и последовало важное событие, — говорит участник боя Федор Глинка. — Постигнув намерение маршалов и видя грозное движение французских сил, князь Багратион замыслил великое дело. Приказания отданы, и все левое крыло наше по всей длине своей двинулось с места и пошло скорым шагом в штыки». Русская атака была отброшена, и Даву отвечал контратакой. Французские гренадеры 57-го полка с ружьями наперевес, не отстреливаясь, бросились на флеши. Они не отстреливались, чтобы не терять момента, и русские пули косили их. «Браво, браво!» — с восторгом перед храбростью врага крикнул навстречу 57-му полку князь Багратион.

Град картечи ударил с французской батареи в русских защитников флешей.

В этот момент в Багратиона попал осколок ядра и раздробил берцовую кость. Он еще силился скрыть несколько мгновений свою рану от войск, чтобы не смутить их. Но кровь лилась из раны, и он стал молча медленно валиться с лошади. Его успели подхватить, положили на землю, затем унесли. То, чего он опасался, во избежание чего пересиливал несколько секунд страшную боль, случилось: «В мгновение пронесся слух о его смерти, и войско невозможно удержать от замешательства… одно общее чувство — отчаяние! — говорит участник битвы Ермолов. — Около полудня (уже после исчезновения Багратиона. — Е. Т.) 2-я армия (т. е. все левое крыло, бывшее под начальством Багратиона. — Е. Т.) была в таком состоянии, что некоторое части ее, не иначе как отдаля на выстрел, возможно было привести в порядок»3.

Сейчас после атаки 2-й армии, отброшенной контратакой французов, Федор Глинка увидел у подошвы пригорка раненого генерала. Белье и платье на нем были в крови, мундир расстегнут, с одной ноги снят сапог, голова забрызгана кровью, большая кровавая рана выше колена. «Лицо, осмугленное порохом, бледно, но спокойно». Его сзади кто-то держал, обхватив обеими руками. Глинка узнал его. Это и был «второй главнокомандующий», смертельно раненный Багратион. Окружающие видели, как он, будто забыв страшную боль, молча вглядывался в даль и как будто вслушивался в грохот битвы. «Ему хочется разгадать судьбу сражения, а судьба сражения становится сомнительной. По линии разнеслась страшная весть о смерти второго главнокомандующего, и руки у солдат опустились»4. Багратиона унесли, и это был критический, самый роковой момент битвы. Дело было не

только в том, что солдаты любили его, как никого из командовавших ими в эту войну генералов, исключая Кутузова. Они, кроме того, еще и верили в его непобедимость. «Душа как будто отлетела от всего левого фланга после гибели этого человека», — говорят нам свидетели.

Ярое бешенство, жажда мести овладели теми солдатами, которые были непосредственно в окружении Багратиона. Когда Багратиона уже уносили, кирасир Адрианов, прислуживавший ему во время битвы (подававший зрительную трубу и пр.), подбежал к носилкам и сказал: «Ваше сиятельство, вас везут лечить, во мне уже нет вам надобности!» Затем, передают очевидцы, «Адрианов в виду тысяч пустился, как стрела, мгновенно врезался в ряды неприятелей и, поразив многих, пал мертвым».

В позднейшем донесении генерала Сен-При императору Александру взятие французами Багратионовых флешей и редутов тоже объясняется тяжкой раной Багратиона и исчезновением его, смертельно раненного, с поля. У русских было в начале нападения на Семеновское всего 50 орудий, у французов же с самого начала больше сотни5. Чем больше свирепела борьба вокруг флешей, тем больше французских орудий подъезжало к маршалам, а русских к Багратиону. Атакуемые французами пункты так быстро переходили из рук в руки, что артиллерия обеих сторон не всегда успевала приноровиться и иногда обстреливала по нескольку минут своих. Перед гибелью Багратиона и последним штурмом Багратионовых флешей этот небольшой участок поля битвы обстреливался 400 французскими орудиями и 300 русскими. Теперь Наполеон повернул эти орудия против батареи Раевского, стоявшей в центре позиций. 3

Левое крыло было сломлено. Багратион погиб. Кутузову доносили с разных пунктов битвы о тяжких потерях. Были убиты два генерала братья Тучковы, Буксгевден, Кутайсов, Горчаков. Солдаты дрались с поразительной стойкостью и падали тысячами.

«В это время кавалерийские атаки беспрерывно сменялись одна другой и были столь сильны, что войска сходились целыми массами, и потеря с обеих сторон была ужасная; лошади из-под убитых людей бегали целыми табунами»6, - пишет очевидец генерал Никитин.

Как и под Смоленском, раненые до последней возможности терпели муки и не уходили из строя, не слушаясь офицеров, которые отправляли их в лазарет. Командный состав ничуть не уступал в этот день солдатам.

Принц Евгений Вюртембергский, находившийся в русской армии в день Бородина, передает поразивший его случай: генерал Милорадович приказал своему адъютанту Бибикову отыскать в разгаре битвы Евгения Вюртембергского и передать, чтобы Евгений ехал к Милорадовичу. Мы знаем из всех свидетельств, что артиллерийский грохот в течение всего этого дня был ужасающий, больше, чем при Эйлау, больше, чем при Ваграме, больше, чем в любой битве всей наполеоновской эпопеи. Даже ружейные выстрелы не были слышны, совершенно терялись в этом оглушительном орудийном громе и треске. Очевидно, Бибиков не мог прокричать Евгению то, что было велено, и он поднял руку, показывая, где находится Милорадович. В этот момент ядро оторвало у него руку. Бибиков, падая с лошади, поднял другую руку и показал снова, куда только что показывал7.

После взятия флешей вторым центральным моментом Бородинской битвы стала борьба за так называемую курганную батарею, или батарею Раевского, стоявшую в центре русского фронта, между левым и правым крылом. После взятия деревни Бородино французами русские егеря выбили их, но затем сами были выбиты. Бородино осталось за французами, и тогда вице-король Италии Евгении перешел через реку Колочу и повел атаку на курганную батарею. Эта центральная батарея Раевского уже с 10 часов утра подвергалась ряду последовательных атак.

Генерал Бонами штурмовым натиском овладел батареей Раевского, но был выбит оттуда русскими. Второй раз он овладел ею и второй раз был выбит. Начальник штаба 6-го корпуса Монахтин получил две раны штыком и успел еще крикнуть солдатам перед третьим натиском французов, указывая на батарею: «Ребята, представьте себе, что это — Россия, и отстаивайте ее грудью!» В этот момент пуля попала ему в живот, и Монахтииа унесли с поля битвы. (Этот полковник, тяжко израненный, прожил еще несколько дней. Узнав, что Кутузов велел оставить Москву неприятелю, Монахтин сорвал со своих ран все повязки и вскоре скончался.)

Ермолов выбил дивизию Брусье из батареи Раевского и от подступов к батарее. Раненный, исколотый штыками генерал Бонами был взят в плен. Наполеон приказал во что бы то ни стало отобрать батарею Раевского.

С двух часов дня Наполеон велел занять артиллерией те позиции вокруг Семеновских флешей, которые были отняты французами после гибели Багратиона. Страшный артиллерийский огонь с этого пункта косил русские войска. Ядра рыли землю, сметая людей, лошадей, зарядные ящики, орудия. Разрывные гранаты выбивали по десятку человек каждая. А одновременно уже не только с бывших Багратионовых флешей, но и с правого фланга французская артиллерия била по батарее Раевского и по отходившим от батареи русским войскам. Никогда до этого дня русские солдаты и командный состав не проявляли такого полнейшего пренебрежения к опасностям, к витавшей вокруг них и косившей их огненной смерти. Барклай (явно для всех искавший смерти в этот день) поехал вперед, к месту, где страшнее всего был огонь, и остановился там. «Он удивить меня хочет!» — крикнул Милорадович солдатам, перегнал Барклая еще далее по направлению к французским батареям, остановился именно там, где скрещивался французский огонь слева (от взятых уже французами Багратионовых флешей) с огнем справа (от позиций вице-короля), слез с лошади и, сев на землю, объявил, что здесь он будет завтракать. Такое отчаянное молодечество было вообще свойственно Милорадовичу.

Солдаты бросались вперед, часто не ожидая приказа. Вот показание очевидца, рисующее наступление второй легкой роты гвардейской артиллерии в тот момент, когда эту роту двинули вперед в самое страшное место, в сердцевину побоища. «Люди роты были гораздо веселее под этим сильным огнем, чем в резерве, где их даром били».

Русская артиллерия отвечала убийственным огнем. Но французский огонь все более и более свирепел: становилось очевидно, что Наполеон решил, во-первых, добиться взятия батареи Раевского, а затем кончить дело победой в артиллерийском поединке, расстроить огнем русскую армию и обратить ее в бегство. Но ничего из этого не выходило. Русская армия отодвигалась в полном порядке.

Платов с казаками и командир 1-го кавалерийского корпуса Уваров с кавалерией произвели по приказу Кутузова в самом почти тылу Наполеона большую диверсию, которая на несколько часов спасла батарею Раевского. Платов и Уваров перешли через Колочу, обратили в бегство французскую кавалерийскую бригаду, стоявшую довольно далеко от центра битвы и вовсе не ожидавшую нападения, и атаковали пехоту в тылу Наполеона. Однако атака была отбита с потерями для русских. Уварову велено было отступать, Платов был отброшен. И все-таки этот рейд русской кавалерии не только задержал конечную гибель батареи Раевского, но и не позволил Наполеону удовлетворить хоть отчасти вторую просьбу Нея, Мюрата и Даву о подкреплении. Наполеон отвечал на эту просьбу словами, что он не может на таком расстоянии от Франции отдавать свою гвардию, что он «еще недостаточно ясно видит шахматную доску». Но одной из причин отказа императора маршалам явилось, бесспорно, чувство некоторой необеспеченности тыла после дерзкого, смутившего французов налета Уварова и Платова.

Тотчас после отбития налета Платова и Уварова Наполеон велел вице-королю Евгению и

части кавалерии Мюрата во что бы то ни стало штурмовать и взять батарею Раевского. Последовала атака, встреченная отчаянным сопротивлением русских. Раненые солдаты не уходили из строя, ожесточение было с обеих сторон неистовое, битва шла на самой батарее и между батареей и тем местом, где утром стоял Багратион: теперь левый русский фланг был уже сильно отодвинут сначала Коновницыным, который сменил смертельно раненного Багратиона, и потом Дохтуровым, сменившим Коновницына.

В начале четвертого часа русские защитники батареи на три четверти были перебиты, остальные отброшены. Батарея осталась за французами.

Но русские не уходили с поля битвы, и их артиллерия не умолкала. Русские ядра уже начали падать вблизи от императора и летать над его головой. Наполеон тогда приказал выдвинуть ближе к русскому огню несколько новых батарей гвардейской артиллерии. Но прошло несколько времени, и русские ядра снова начали летать над Наполеоном и его свитой. Некоторые ядра на излете подкатывались к ногам Наполеона. «Он их тихо отталкивал, как будто отбрасывал камень, который мешает во время прогулки», — говорит дворцовый префект де Боссэ, бывший в эти часы в свите Наполеона. Угрюмое настроение и плохо скрываемое беспокойство императора не проходили, и ни гибель Багратиона и взятие Семеновских флешей, ни победа над редутом Раевского нисколько не улучшали его настроение. Никому не рассказал Наполеон о том, что он чувствовал, когда кровавый день стал наконец потухать и солнце начало скрываться за тучами. И Боссэ, и маршалы, и свита, и непрерывно подлетавшие галопом с отчетами и за приказами адъютанты — все видели мрачное и суровое лицо властелина, но никого он не удостоил откровенности.

Наблюдал Наполеона в этот момент и французский гвардейский полковой врач доктор де ла Флиз. «Русские хотели отнять взятые редуты, но они оставили только груды тел, пораженных нашей картечью. Во все время сражения Наполеон не садился на лошадь. Он шел пешком со свитой офицеров и не переставал следить за движением на поле битвы, ходя взад и вперед по одному направлению. Говорили, что он не садился на лошадь оттого, что был нездоров. Адъютанты беспрестанно получали от него приказания и отъезжали прочь. Позади Наполеона стояли гвардия и несколько резервных корпусов. Мы были выстроены в боевой порядок, оставаясь в бездействии и выжидая приказаний. Полковая музыка разыгрывала военные марши, напоминавшие победные поля первых походов революции: „Allons, enfants de la patrie!“ (Марсельезу), когда дрались за свободу. Тут же эти звуки не воодушевляли воинов, и некоторые старшие офицеры посмеивались, сравнивая обе эпохи. Я отдал лошадь свою солдату и пошел вперед к группе офицеров, стоявших за спиной императора. Перед нами расстилалось зрелище ужасного сражения. Ничего не было видно за дымом из тысячи орудий, гремевших беспрерывно. В воздухе подымались густые облака одно за другим вслед за молниями выстрелов. По временам у русских взлетали ракеты, должно быть, сигналы, но значение их для меня было непонятно. Бомбы и гранаты лопались в воздухе, образуя беловатое облачко; несколько пороховых ящиков взлетели на воздух у неприятеля, так что земля вздрогнула. Такого рода случаи гораздо реже встречаются у нас, нежели у русских, потому что ящики у них дурного устройства. Я несколько придвинулся к императору, который не переставал смотреть в трубку на поле сражения. Он одет был в свою серую шинель и говорил мало. Случалось, что ядра подкатывались к его ногам: он сторонился, так же как и мы, стоявшие позади»8.

Очевидцы не могли никогда забыть бородинских ужасов. «Трудно себе представить ожесточение обеих сторон в Бородинском сражении, — говорит основанная на показаниях солдат и офицеров „История лейб-гвардии Московского полка“. — Многие из сражавшихся побросали свое оружие, сцеплялись друг с другом, раздирали друг другу рты, душили один другого в тесных объятиях и вместе падали мертвыми. Артиллерия скакала по трупам, как по бревенчатой мостовой, втискивая трупы в землю, упитанную кровью. Многие батальоны так перемешались между собой, что в общей свалке нельзя было различить неприятеля от своих. Изувеченные люди и лошади лежали группами, раненые брели к перевязочным

пунктам, покуда могли, а выбившись из сил, падали, но не на землю, а на трупы павших раньше. Чугун и железо отказывались служить мщению людей; раскаленные пушки не могли выдерживать действия пороха и лопались с треском, поражая заряжавших их артиллеристов; ядра, с визгом ударяясь о землю, выбрасывали вверх кусты и взрывали поля, как плугом. Пороховые ящики взлетали на воздух. Крики командиров и вопли отчаяния на десяти разных языках заглушались пальбой и барабанным боем. Более нежели из тысячи пушек с обеих сторон сверкало пламя и гремел оглушительный гром, от которого дрожала земля на несколько верст. Батареи и укрепления переходили из рук в руки. Ужасное зрелище представляло тогда поле битвы. Над левым крылом нашей армии висело густое черное облако от дыма, смешавшегося с парами крови; оно совершенно затмило свет. Солнце покрылось кровавой пеленой; перед центром пылало Бородино, облитое огнем, а правый фланг был ярко освещен лучами солнца. В одно и то же время взорам представлялись день, вечер и ночь».

Стремясь ускорить разгром и бегство русских. Наполеон приказал кавалерии (кирасирам и уланам) ударить на русскую пехоту, на корпус графа Остермана. Тяжко контуженный, Остерман выбыл из строя одним из первых, но его пехотинцы встретили атаку французской кавалерии таким огнем. что атакующие дрогнули. В этот момент на помощь пехотинцам подоспели свежие гвардейские полки (кавалергарды и конный полк), и французы были отброшены. Но затем последовал новый общий штурм батареи Раевского, французская кавалерия (саксонцы) ворвалась на батарею с тыла, а пехота вице-короля Евгения бросилась на батарею густыми массами прямо в лоб. Последовало страшное побоище, русские штыками сбрасывали в ров взбиравшуюся пехоту. В плен на этот раз не брали ни с той, ни с другой стороны. Забравшись на батарею, французы перекололи всех, кого нашли там еще в живых. Это был последний большой акт Бородинской битвы. Артиллерия продолжала греметь. Отдельные частичные конные атаки отбивались русскими. Так, польская кавалерия Понятовского была отброшена с тяжкими потерями. Речи не было не только о бегстве русской армии, но даже об ее отступлении, несмотря на страшно поредевшие ряды.

Наступал вечер. Величайшая битва всей наполеоновской эпопеи шла к концу, но как назвать этот конец? Это не было ясно ни Наполеону, ни маршалам. Они на своем веку видели столько настоящих, блистательных побед, как никто до них не видел, но как назвать победой то, что произошло только что в этот кровавый день 7 сентября? Бюллетень можно было написать какой угодно. Вот что писал, например, Наполеон императрице Марии-Луизе, своей жене, на другой день после битвы: «Мой добрый друг, я пишу тебе на поле Бородинской битвы, я вчера разбил русских. Вся их армия в 120 тысяч человек была тут. Сражение было жаркое; в два часа пополудни победа была наша. Я взял у них несколько тысяч пленных и 60 пушек. Их потеря может быть исчислена в 30 тысяч человек. У меня было много убитых и раненых»9.

Но ведь никаких «тысяч пленных» Наполеон тут не взял: пленных было всего около 700 человек. А письма к Марии-Луизе были тоже своего рода маленькими «бюллетенями», рассчитанными на широкую огласку, и церемониться с истиной в них так же не приходилось, как и в больших бюллетенях.

Чувство победы решительно никем не ощущалось. Маршалы разговаривали между собой и были недовольны. Мюрат говорил, что он не узнавал весь день императора, Ней говорил, что император забыл свое ремесло.

С обеих сторон до вечера гремела артиллерия и продолжалось кровопролитие, но русские не думали не только бежать, но и отступать. Уже сильно темнело. Пошел мелкий дождь. «Что русские?» — спросил Наполеон. — «Стоят на месте, ваше величество». — «Усильте огонь, им, значит, еще хочется, — распорядился император. — Дайте им еще!»

Угрюмый, ни с кем не разговаривая, сопровождаемый свитой и генералами, не смевшими

прерывать его молчания, Наполеон объезжал вечером поле битвы, глядя воспаленными глазами на бесконечные груды трупов. Император еще не знал вечером, что русские потеряли из своих 112 тысяч не 30 тысяч, а около 58 тысяч человек; он не знал еще и того, что и сам он потерял больше 50 тысяч из 130 тысяч, которые привел к Бородинскому полю. Но что у него убито и тяжко ранено 47 (не 43, как пишут иногда, а 47) лучших его генералов, это он узнал уже вечером. Французские и русские трупы так густо устилали землю, что императорская лошадь должна была искать места, куда бы опустить копыто меж горами тел людей и лошадей. Стоны и вопли раненых неслись со всех концов поля. Русские раненые поразили свиту: «Они не испускали ни одного стона, — пишет один из свиты, граф Сегюр, — может быть, вдали от своих они меньше рассчитывали на милосердие. Но истинно то, что они казались более твердыми в перенесении боли, чем французы».

На 58 тысяч убитых и тяжко раненных, потерянных русской армией, пленных русских оказалось всего 700 человек… «Самое страшное из всех моих сражений — это то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские оказались достойными быть непобедимыми», — так говорил Наполеон уже незадолго до своей смерти. 4

Бородино оказалось в конечном счете великой моральной победой русского народа над всеевропейским диктатором. Именно на бородинских полях начато было то неимоверно трудное дело низвержения Наполеона, которому суждено было завершиться лишь спустя три года на равнине Ватерлоо. Наполеон вечером первый отвел свои войска с поля битвы, еще до приказа Кутузова об отходе. Отступала русская армия от Бородина до Москвы и дальше в полном порядке. А самое главное — и тени упадка духа не было в русских войсках. Ненависть и чувство мщения были сильнее, чем до Бородина. Эти чувства, конечно, владели не всеми, но являлись бесспорно господствующими. Тут разноречий между очевидцами нет. Официальную версию о «великой победе под Москвой» французская историография заимствовала из предназначавшихся для французской публики победоносных реляций императора. Ненавидевшие Кутузова царь и его окружение, со своей стороны, охотно приняли версию о поражении русской армии под Бородином. В этой придворной атмосфере создавались реляции таких людей, как Винценгероде. «Что бы ни говорили, но последствия достаточно доказывают, что сражение (Бородинское. — Е. Т.) было проиграно. Армия, а особливо левый фланг, понесли чрезвычайную потерю. Одна из причин, послуживших к проигрышу сражения, произошла, как меня уверяли, от беспорядка, поселившегося в артиллерийском парке, после того как убили графа Кутайсова; недостаток был также и в амуниции, и не знали, где ее взять», — так писал Винценгероде Александру 13 сентября 1812 г. из села Давыдовки (близ Тарутина). Ту же мысль высказывает царю в более скупых выражениях и Роберт Вильсон (из Красной Пахры) в письме от 13 сентября. Эти же тенденции отразились в работах таких военных теоретиков, как Клаузевиц или Жомини. Но интересно то, что о «поражении» заговорили уже немного спустя, когда сдана была Москва. В первый момент, вечером после битвы, сами участники боя вовсе не считали себя побежденными. Напротив! Был момент, когда поверили, будто Кутузов завтра будет наступать.

Но потери оказались в самом деле неслыханными, ужасающими.

Темнота окончательно сгустилась над долиной побоища, и неумолкавшие стоны и вопли раненых, брошенных на поле и французами и русскими, неслись оттуда всю ночь. И всю ночь горели огни на всех пригорках, к которым отошел штаб Кутузова и куда собирались уцелевшие части русской армии. «Мрачную ночь, следовавшую после кровопролитного боя, употребили на то, чтобы с помощью лагерных огней, расставленных на высотах и служивших точками соединения, расположить наши войска в другую позицию»10, - пишет Барклай де Толли. Всю ночь подходили и подползали к этим сигнальным огням измученные, израненные люди; всю ночь и все утро шли первые, приблизительные подсчеты потерь. От этих подсчетов зависело то решение, которое немедленно обязан был принять Кутузов.

Утром общая картина была ясна. Действительность оказалась страшнее самых худших опасении.

Самым кровавым сражением всей наполеоновской эпопеи считалась до Бородина битва при Эйлау 8 февраля 1807 г., и ни с какой другой битвой Бородино современники вообще и не сравнивали. Но очевидцы даже и этого сравнения не допускали. Вот что писалось через три дня после Бородина: «Все говорят, что сражение при Прейсиш-Эйлау не может иметь с ним (Бородинским боем. — Е. Т.) никакого сравнения, потому что все поле покрыто трупами»11.

«Под Бородином русских выбыло из строя около 58 тысяч человек, половина сражавшейся армии. От гренадерской дивизии Воронцова из 4 тысяч человек уже к трем часам дня осталось 300 человек. В Ширванском полку из 1300 человек осталось 96 солдат и трое офицеров»12. Были батальоны и роты, истребленные почти целиком. Были и дивизии, от которых осталось в конце концов несколько человек. Были корпуса, больше походившие по своей численности уже не на корпуса, а на батальоны. Но у нас все-таки, повторяем, есть ряд показаний, что вечером 7 сентября, когда ночная темнота оборвала бой, а русская армия осталась стоять на поле битвы, никто ни среди солдат, ни среди командного состава не считал сражение проигранным. Напротив, громко говорили о победе, о завтрашнем наступлении на французов… и тут лишний раз оправдалось старое изречение: побежденным бывает только тот, кто чувствует и признает себя побежденным.

Русская армия, половина которой осталась лежать на Бородинском поле, и не чувствовала и не признавала себя побежденной, как не чувствовал и не признавал этого и ее полководец. Он видел то, чего никакие Винценгероде, Клаузевицы и Жомини видеть и понять не могли: Бородино окажется в конечном счете великой русской победой.

Не чувствовал себя побежденным и русский народ, в его памяти Бородино осталось не как поражение, а как доказательство, что он и в прошлом умел отстоять свою национальную независимость от самых страшных нападений, умеет это делать в настоящем и сумеет это сделать и в будущем.

Глава VI

Пожар Москвы

1

Немного отойдя от поля битвы, откуда несся непрерывный тысячеголосый хор стонов и воплей раненых, брошенных обеими сторонами на произвол судьбы, и откуда уже начало доноситься зловоние от разлагающихся трупов, французская и русская армии несколько часов простояли в бездействии. Шли подсчеты и проверка подсчетов, выяснение результатов побоища.

Один корпусный командир за другим, один адъютант за другим являлись к Кутузову, и то, что они ему докладывали, было так страшно, что старый фельдмаршал тогда же окончательно решил сдать Москву, не пытаясь уже задержать Наполеона. Точнее сказать, он увидел, что теперь ему позволят сдать Москву без новой битвы. 6-й, 7-й, 8-й корпуса были почти полностью уничтожены. Другие части понесли значительные потери. Вместе с тем Кутузов узнал, что наполеоновская гвардия совсем цела, так как не принимала участия в битве. Днем 8 сентября Кутузов также узнал, что Наполеон обходит своим правым крылом левый русский фланг. Задерживаться дальше, не давая битвы, становилось просто невозможным, а биться сейчас было тоже невозможно. Кутузов решил отступать на Москву. Новые и новые дополнительные сведения градом сыпались в течение всего этого дня.

Утром 8 сентября фельдмаршал велел армии отходить от Бородина по прямой линии Московской дороги. Это было началом гениально задуманного и блистательно выполненного Кутузовым марша-маневра на Тарутино, который является одной из главных исторических заслуг фельдмаршала.

Кутузов отступал от Бородина на Можайск, Землино, Лужинское, Нару, Вязёмы, Мамоново.

На другой день после Бородина, 8 сентября, в 12 часов дня Наполеон приказал Мюрату со своей кавалерией идти за русскими. На правом фланге от Мюрата шел корпус Понятовского, направляясь к Борисову, на левом — вице-король Италии Евгений, направляясь к Рузе, а за Мюратом в почти непосредственной близости шли по той же столбовой Московской дороге, прямо на Можайск, корпус Нея, корпус Даву, на некотором расстоянии молодая гвардия и наконец старая гвардия с самим Наполеоном. Остальные войска шли позади старой гвардии.

То, что произошло с тысячами раненых в Смоленске, повторилось в более грандиозных размерах после Бородина. Множество брошенных на произвол судьбы русских и французов сгорело живьем. «Страшное впечатление, — по словам очевидца, офицера великой армии, — представляло по окончании боя поле Бородинского сражения при полном почти отсутствии санитарной службы и деятельности. Все селения и жилые помещения вблизи Московской дороги были битком набиты ранеными обеих сторон в самом беспомощном положении. Селения погибали от непрестанных, хронических пожаров, свирепствовавших в районе расположения и движений французской армии. Те из раненых, которым удалось спастись от огня, ползали тысячами у большой дороги, ища средств продолжать свое жалкое существование»1. Вооруженные крестьяне уже начали беспощадно расправляться с отстающими французами. Конечно, попадавшихся в руки французских отрядов русских крестьян, подозреваемых в нападениях, немедленно приканчивали без всякого суда.

Ожесточение в народе росло не по дням, а по часам в эти роковые дни, и фельдмаршал должен был с этим так или иначе считаться. Не сразу решился он сказать о сдаче Москвы.

В эти же шесть дней, 8 — 14 сентября, между отходом от Бородина и занятием Москвы французами, Кутузов не переставал делать вид, что он хочет дать новое сражение и только ищет позиции, и не переставал говорить слова, которым сам не придавал значения.

«Кутузов никогда не полагал дать сражение на другой день, но говорил это из одной политики. Ночью я объезжал с Толем позицию, на которой усталые воины наши спали мертвым сном, и он (Толь. — Е. Т.) донес, что невозможно думать идти вперед, еще менее защищать с 45 тысячами те места, которые заняты были 96 тысячами, особенно когда у Наполеона целый гвардейский корпус не участвовал в сражении. Кутузов все это знал, но ждал этого донесения и, выслушав его, велел немедленно отступать», — так говорит ординарец Кутузова князь Голицын, всю ночь после Бородина объезжавший кровавое поле.

Мюрат с кавалерией теснил русский арьергард, «опрокидывая его на армию», по выражению Винценгероде, а на третий день после Бородина, 9 сентября (28 августа), пришли известия, что Наполеон велел вице-королю Евгению пойти с четырьмя пехотными дивизиями и 12 кавалерийскими полками в Рузу; другими словами, правому флангу отступающей русской армии грозил обход2.

Кутузову все-таки, по-видимому, казалось нужным что-то такое сделать, чтобы хоть на миг могло показаться, что за Москву ведется вооруженная борьба. Вдруг ни с того ни с сего, когда Милорадович отступал с арьергардом под жестоким давлением главных французских сил, 13 сентября приходит бумага от Ермолова. В этой бумаге, по повелению Кутузова, во-первых, сообщается, что Москва будет сдана, а, во-вторых, «Милорадовичу представляется почтить древнюю столицу видом сражения под стенами ее». «Это выражение взорвало Милорадовича, — говорит его приближенный и очевидец А. А. Щербинин. — Он признал его

макиавеллистическим и отнес к изобретению собственно Ермолова. Если бы Милорадович завязал дело с массою сил наполеоновских и проиграл бы оное, как необходимо произошло бы, то его обвинили бы, сказав: „Мы вам предписали только маневр, только вид сражения“»3.

Современники ровно ничего не могли понять в этом полнейшем противоречии между одновременными словами и поступками Кутузова после Бородина. «Не понимаю, как это несчастное сражение могло хотя на минуту обрадовать вас. Хотя, по словам лиц, в нем участвовавших (некоторых я встречала), это не потерянное сражение, однако же на другой день всем ясны были его последствия. В Москве напечатали известия, дошедшие до нас, в которых говорилось, что после ужасного кровопролития с обеих сторон ослабевший неприятель отступил на восемь верст, но что для окончательного решения битвы в пользу русских на следующий день, 27-го (8 сентября), сделают нападение на французов, дабы принудить их к окончательному отступлению, каково и было официальное письмо Кутузова к Ростопчину, которое и поместили в печатном известии. Вместо всего этого 27-го (8 сентября) наши войска стали отступать, и доселе не известна причина этого неожиданного отступления. Тут кроется тайна. Быть может, мы ее когда-нибудь узнаем, а может, и никогда; но что верно и в чем мы не можем сомневаться, это в существовании важной причины, по которой Кутузов изменил план касательно 27-го числа (8 сентября), торжественно им объявленный вечером 26-го числа (7 сентября)», — писала М. И. Волкова своей подруге В. И. Ланской.

Но вот уже русская армия, т. е. то, что от нее осталось после Бородина, стала подходить почти вплотную к Москве. Следовало немедленно и окончательно высказать громогласно, что Москва будет отдана Наполеону без новой битвы. Кутузов не очень был уверен в своих генералах. Беннигсен, навязанный ему Александром, уже от самого Бородина не переставал, щеголяя патриотическими фразами, указывать на недопустимость сдачи Москвы. От Ермолова, неискреннего, двуличного, всегда с камнем за пазухой, никогда не симпатизировавшего фельдмаршалу, трудно было ждать большой поддержки.

Коновницын, Дохтуров в этом случае были на стороне Беннигсена. Барклай мог бы быть поддержкой, но в эти дни Барклай был полон горечи и обиды. Он только своей жене писал искренне в эти дни, после отставки, и с поля Бородинской битвы и после сдачи Москвы. Но, к его негодованию, кто-то перехватывал его письма. «Я не понимаю, что это значит, что тебе не отдали письма, которое я т. ебе написал вечером после сражения 26-го (т. е. Бородина) и отправил с тем же фельдъегерем, который вез письмо Кутузова к его жене. Я не понимаю, как можно задерживать семейные письма. Это гнусности, которые следует прибавить ко многим другим, какие делаются». В письмах к жене Барклай утверждает, что только он спас армию до Бородина, что в тот момент, когда его сменили, он стоял на выгоднейшей позиции и готов был сразиться с наступавшими французами. Последующие письма к жене (дошедшие и до потомства) он посылал через английского комиссара, бывшего при Кутузове, и поэтому уж не стеснялся. «Единственная милость, которую я умоляю оказать мне, — это быть избавленным от пребывания здесь (в армии. — Е. Т.) все равно каким способом…»4 «…Если не постараются загладить вину — и большую вину — по отношению ко мне, — я решил более не рисковать быть убитым, чтобы за это только навлекать на себя унижения»5.

Вошли в деревню Фили. В четвертом часу дня 13 сентября 1812 г. в избе крестьянина деревни Фили Севастьянова Кутузов приказал командующим крупными частями генералам собраться на совещание. Прибыли Беннигсен, Барклай де Толли, Платов, Дохтуров, Уваров, Раевский, Остерман, Коновницын, Ермолов, Толь и Ланской. Милорадовича не было: он неотлучно был при арьергарде, наблюдавшем за наседающими французами. Кутузов предложил на обсуждение вопрос: принять ли новое сражение, или отступить за Москву, оставя город Наполеону? Тут же он высказал и свою скрываемую до сих пор мысль: «Доколе будет существовать армия и находиться в состоянии противиться неприятелю, до тех пор сохраним надежду благополучно довершить войну, но когда уничтожится армия, погибнут Москва и Россия». Беннигсен высказался за битву, Барклай — за отступление. Дохтуров, Уваров, Коновницын поддержали Беннигсена. Ермолов тоже поддержал его с ничего не

значащими чисто словесными оговорками. Протокола не велось, и не ясно, как в точности высказывались Платов, Раевский, Остерман и Ланской. Совет продолжался всего час с небольшим. Фельдмаршал, по-видимому, довольно неожиданно для присутствующих вдруг оборвал заседание, поднявшись с места, и заявил, что приказывает отступать.

У нас есть еще одно показание о совете в Филях, оно идет кружным путем — из Англии. В Англии с напряженнейшим интересом ждали более точных известий о Бородине. Одним из самых обстоятельных и первых пришедших в Англию отчетов было письмо, полученное графом С. Р. Воронцовым, сын которого участвовал и был ранен в битве. «Бородинский день не был решительным ни для той, ни для другой армии. Потери должны быть одинаковы с обеих сторон. И потеря русской армии чувствительна вследствие количества офицеров, выбывших из строя, что необходимо влечет за собою дезорганизацию полков». Из этого письма мы узнаем некоторые детали о военном совете в Филях. Там говорится, что Остерман спросил Беннигсена, ручается ли он за успех в случае новой битвы под Москвой, на что Беннигсен ответил, что, не будучи сумасшедшим, нельзя на такой вопрос ответить утвердительно6. Па этом совете Кутузов между прочим сказал: «Вы боитесь отступления через Москву, а я смотрю на это как на провидение, ибо это спасет армию. Наполеон — как бурный поток, который мы еще не можем остановить. Москва будет губкой, которая его всосет»7. Но когда фельдмаршал закончил совещание, встав и объявив: «Я приказываю отступление властью, данной мне государем и отечеством», — и вышел вон из избы, он был подавлен тем, что только что сделал, — это было ясно всем, наблюдавшим его.

В остальные часы этого дня, после совещания, Кутузов ни с кем не говорил. Вернувшись вечером к себе в избу на ночлег, Кутузов не спал. Несколько раз за эту ночь слышали, что он плачет. Не только в тот момент у него не было никакой настоящей поддержки в ближайшем окружении (солидарность с ним Барклая была отрицательным, а не положительным условием в этом отношении), но уже по поведению Ермолова, который за несколько часов до совета был за отступление, а потом переметнулся на сторону Беннигсена, фельдмаршал понимал, конечно, что попал в то положение зачумленного, в котором был Барклай до Царева-Займища. Зная людей, Кутузов едва ли и рассчитывал на то, что кто-нибудь его поддержит перед тем главным и самым сильным из его врагов, который находился в петербургском Зимнем дворце. Но никто даже из не любивших его не приписывал его потрясенного состояния в этот момент мотивам личной боязни или личного стыда; все его дальнейшее поведение показало, что он делал дальше то, что считал нужным, действовал гораздо самостоятельнее, чем когда-либо в жизни, и меньше всего боялся раздражать царя. Окружающие объясняли его ночные слезы болью за Москву и страхом за Россию, потому что на одно его высказывание, что потеря Москвы не есть еще потеря России, его свита вспоминала несколько его прежних утверждений, что гибель Москвы равносильна гибели России. «По моему мнению, с потерей Москвы соединена потеря России» — все знали эти слова Кутузова, написанные им 30 августа в письме к Ростопчину еще из Гжатска. Было о чем подумать в эту бессонную ночь.

Уже в сумерках 13 сентября армии стало известно о решении фельдмаршала; об этом ей сообщили генералы, бывшие в Филях на совещании. «Уныние было повсеместное», — пишет очевидец. Рядовое офицерство и солдаты были совсем сбиты с толку всеми этими категорическими заявлениями главнокомандующего о том, что Москва ни за что не будет сдана, и внезапным результатом военного совета в Филях. «Я помню, когда адъютант мой Линдель привез приказ о сдаче Москвы, все умы пришли в волнение: большая часть плакала, многие срывали с себя мундиры и не хотели служить после поносного отступления, или лучше, уступления Москвы. Мой генерал Бороздин решительно почел приказ сей изменническим и не трогался с места до тех пор, пока не приехал на смену его генерал Дохтуров.

С рассветом мы были уже в Москве. Жители ее, не зная еще вполне своего бедствия, встречали нас как избавителей, но, узнавши, хлынули за нами целою Москвою! Это уже был

не ход армии, а перемещение целых народов с одного конца света на другой»8, — так пишет человек, лично переживавший эти настроения.

Авангард русской армии 12 сентября остановился у Поклонной горы, в двух верстах от Дорогомиловской заставы. В Москве, откуда непрерывным потоком тянулись экипажи и обозы и ехали и шли тысячи и тысячи жителей, покидая город, — хотя все еще распространялись слухи, что Кутузов готовит новую битву, — в Москве лишь очень немногие знали о решении, принятом 13 сентября в деревне Фили на совещании генералов.

Начальствующие лица получили информацию, что основных мнений, точных практических предложении на военном совете было высказано три: что Беннигсен предложил дать новую битву Наполеону и этим попытаться спасти Москву, что Барклай предложил отступать к г. Владимиру, несколько человек говорили об отступлении к Твери, чтобы воспрепятствовать возможному движению Наполеона на Петербург. Знали уже, что Кутузов заявил в конце совета, что сражения он не даст, а отступит, предоставив Москву Наполеону. Но отступить он решил не на север, а на старую Калужскую дорогу. Русским войскам сообразно с этой волей главнокомандующего было приказано пройти улицами Москвы и выйти через Коломенскую заставу. С раннего утра 14 сентября русская армия непрерывным маршем проходила через столицу. На рассвете первые эшелоны уходящей русской армии один за другим вступали в Москву и по Арбату и нескольким параллельным Арбату улицам проходили к юго-восточной части города, направляясь к Яузскому мосту.

Испуганное, растерянное, молчаливое население, точнее те, кто не мог или еще не успел выехать, толпились по краям улиц и площадей и смотрели на уходящее войско. Солдаты шли угрюмо, не разговаривая, глядя в землю. Очевидцы говорят, что некоторые в рядах плакали.

Первые части отступающей русской армии еще только всходили на Яузский мост, когда командовавший арьергардом генерал Милорадович получил известие, что французская кавалерия вступает в Москву через Дорогомиловскую заставу.

Милорадович командовал арьергардом отступавшей от Бородина армии, и генерал Капцевич, полк которого был самым задним в арьергарде, с трудом уходил от наседавшего Мюрата. Милорадович получал от Капцевича одно за другим известия, что неприятель стремится отрезать арьергард от города. Другими словами, 2 кавалерийским корпусам, 10 казачьим полкам и 12 орудиям конной артиллерии грозил плен. Милорадовичу удалось снестись с Мюратом, и, уверив того, что народ в Москве будет отчаянно биться вместе с войсками, если французы не дадут русской армии спокойно пройти через Москву, Милорадович задержал на четыре часа Мюрата в 7 верстах от Москвы, и арьергард вошел в Москву и прошел через нее спокойно.

Все это дало возможность многим тысячам и тысячам жителей покинуть Москву, но не спасло ни арсенала, где «прекрасные новые ружья достались неприятелю», ни магазинов и складов хлеба, сукон и всякого казенного для армии довольствия9. Все это досталось неприятелю.

Два батальона московского гарнизона, вливаясь уже в самом городе в отступающую мимо Кремля главную армию, уходили с музыкой. «Какая каналья велела вам, чтобы играла музыка?» — закричал Милорадович командиру гарнизона генерал-лейтенанту Брозину. Брозин ответил, что по уставу Петра Великого, когда гарнизон оставляет крепость, то играет музыка. «А где написано в уставе Петра Великого о сдаче Москвы? — крикнул Милорадович. — Извольте велеть замолчать музыке!»10.

Русская армия непрерывным потоком проходила через Москву. Кутузов посмотрел на свою молчаливую свиту и сказал: «Кто из вас знает Москву?» Вызвался только один, состоявший при нем ординарцем 20-летний князь Голицын. «Проводи меня так, чтобы, сколько можно, ни с кем не встретиться»11. Кутузов ехал верхом от Арбата по бульварам до моста через Яузу,

через который уходила армия, а за нею несметные массы населения. И здесь-то ждала его именно та встреча, которой он менее всего мог желать. Ростопчин был на мосту, стараясь навести порядок. Свидание было сухое, Ростопчин начинал говорить, но Кутузов не отвечал, а приказал скорее очистить мост для прохода войск. Он пересел в дрожки. «По выезде из Москвы светлейший князь велел оборотить лицом к городу дрожки свои и, облокотя на руку голову, поседевшую в боях, смотрел с хладнокровием на столицу и на войска, проходившие мимо него с потупленным взором, они в первый раз, видя его, не кричали ура»12.

День и ночь и следующий день бесконечные людские потоки устремлялись из Москвы через Яузский мост. Кутузов вел русскую армию на юг, к Красной Пахре, а от Красной Пахры — на старую Калужскую дорогу. Когда вечером в деревне Уоне он сидел и пил чай, окруженный крестьянами, и когда они с ужасом показали ему на зарево пылающей вдали Москвы, Кутузов, ударив себя по шапке, сказал: «Жалко, это правда, но подождите, я ему голову-то проломаю…»13.

Бегство из Москвы, и бегство массовое, шло уже несколько дней подряд. В Москве все заставы были запружены населением, бегущим уже после первых слухов о результатах Бородинской битвы и об отступлении русской армии к Можайску. Толпы народа, растерянные, потрясенные идущей на них грозой, теснились целыми днями на улицах. Одни считали, что Москва погибла, другие верили до последней минуты, что Кутузов даст еще одно сражение под стенами столицы. Десятки и десятки тысяч людей бежали из Москвы, окружая армию, опережая армию, разливаясь людскими реками по всем дорогам, идя и без дороги, прямиком по пашне. Долгими днями продолжалось это бесконечное бегство. Все дороги к востоку от Москвы по всем направлениям на десятки верст были покрыты беглецами. Население громадной столицы превратилось в скитающихся без пристанища кочевников. Вот что творилось утром 20 сентября в нескольких верстах от Рязани: «Только мы выехали на равнину, то представилось нам зрелище единственное и жалостное: как только мог досягать взор, вся Московская дорога покрыта была в несколько рядов разными экипажами и пешими, бегущими из несчастной столицы жителями; одни других выпереживали и спешили, гонимые страхом, в каретах, колясках, дрожках и телегах, наскоро, кто в чем мог и успел, с глазами заплаканными и пыльными лицами, окладенные детьми различных возрастов. А и того жалостнее: хорошо одетые мужчины и женщины брели пешне, таща за собой детей своих и бедный запас пропитания: мать вела взрослых, а отец в тележке или за плечами тащил тех, которые еще не могли ходить, всяк вышел наскоро, не приготовясь, быв застигнут нечаянно, и брели без цели и большей частью без денег и без хлеба. Смотря на эту картину бедствия, невозможно было удержаться от слез. Гул от множества едущих и идущих был слышен весьма издалека и, сливаясь в воздухе, казался каким-то стоном, потрясающим душу… А по другим трактам — Владимирскому, Нижегородскому и Ярославскому — было то же, если не более…»14. 2

Вся тяжесть оставления Москвы именно в эти дни, когда еще не начался пожар столицы, обострила до крайности пламенную ненависть к Кутузову со стороны человека, которого фельдмаршал не любил и не уважал, но который в этот момент казался ответственным перед людскими массами, терявшими имущество, терявшими жизнь, терявшими в паническом бегстве и сумятице детей.

Этим человеком был Федор Васильевич Ростопчин, московский генерал-губернатор. Его бешенство против Кутузова не знало меры; он всячески его порочил и писал на него доносы царю. 14 сентября 1812 г. он попал в невозможное и позорно нелепое положение прежде всего в глазах несчастных беглецов, и ему понадобилось найти козла отпущения. И он убил в этот день человека, которого он принес в жертву во имя спасения самого себя.

Федору Васильевичу Ростопчину в 1812 г., когда он был назначен «главнокомандующим в Москве» (или в просторечии генерал-губернатором), было уже без малого 50 лет. Он вышел в люди при Павле, который сделал его министром, в первые десять лет царствования

Александра был в отставке, в 1810 г. стал камергером, а в 1812 г. — московским «главнокомандующим». Это был человек быстрого и недисциплинированного ума, остряк (не всегда удачный), крикливый балагур, фанфарон, самолюбивый и самоуверенный, без особых способностей и призвания к чему бы то ни было. Когда нашествие Наполеона стало явственно и близко угрожать Москве, Ростопчин взял на себя роль своеобразного демагога-патриота. Он стал издавать особые «афишки», которые разносились, рассылались и развешивались на улицах. Писал он эти афишки бойким языком с лихими мнимонародными вывертами. Пошлость этих произведений заключалась в их очевиднейшей надуманности, искусственности и неискренности. Дома с женой, офранцуженной католичкой, он говорил только по-французски, со своими друзьями тоже говорил по-французски, русской литературы он совсем не знал, и хотя умер в 1826 г., нет никаких признаков, чтобы он подозревал, например, о существовании Пушкина или Жуковского. И этот-то великосветский барин вздумал прикинуться каким-то бойким московским мастеровым, да еще таким, который разговаривает не натощак, а уже успев слегка подвыпить. Ни малейшего впечатления его нелепые афишки на народ не производили.

Выдумывал он и еще разные столь же нелепые затеи. Возился он, например, в это время с неким Леппихом, проходимцем, прибывшим из Германии и уверявшим, что он может выстроить воздушный шар, на котором подымется над французской армией. Намекалось, что можно так и Наполеона самого при случае изничтожить.

Леппихом и его шаром очень интересовался и царь. У нас есть позднейшее показание, исходящее от Аракчеева, о том, что царь будто бы хотел этой затеей несколько успокоить, отвлечь и развлечь умы, но что сам будто бы в эту шарлатанскую проделку не верил15. Но Ростопчин во всяком случае верил в Леппиха. Сам шарлатан, сам авантюрист в душе, Ростопчин с полной симпатией отнесся к находчивому немцу, который пресерьезно уверил его записочками изо дня в день, что вот-вот еще немного нужно потерпеть и еще денег дать, и шар того и гляди полетит. А тогда — конец Бонапарту. У Леппиха была к Наполеону антипатия не только за нашествие на Россию: в 1811 г. он предлагал свой шар в Париже Наполеону, но тот приказал выслать Леппиха вон из пределов Французской империи. В Москве ему больше повезло.

Французы так и называли Леппиха «механик-шарлатан». Они нашли в доме Ростопчина документы, показывающие, что граф верил Леппиху и, по-видимому, платил ему очень много. Леппих, например, коротенькой записочкой от 30 июля 1812 г. требует у Ростопчина 12 тысяч рублей. Сохранилось также письмо Леппиха, уже от 24 августа (ст. ст.) за два дня до Бородина («изобретатель» все еще не достиг ровно ничего): «Ваше сиятельство не можете представить, сколько встретил я затруднений, приготовляя баллон к путешествию. Но зато вот уже завтра непременно полетит». Ростопчин в особой афишке уведомлял московский народ: «Здесь мне поручено от государя было сделать большой шар, на котором 50 человек полетят, куда захотят, и по ветру и против ветра, а что от сего будет — узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтобы вы, увидя его, не подумали, что это от злодея, а он сделан к его вреду и погибели». Выманив достаточно казенных денег, Леппих как-то бесследно улетучился даже без помощи шара, который, конечно, никуда от земли не отлучался и отлучиться не мог, потому что его и не было. Московский народ на эту шарлатанскую проделку с шаром (как и на афишки Ростопчина) не обращал, по всем заявлениям очевидцев, никакого внимания.

Ростопчин, обнаруживал в дни перед Бородином и после Бородина кипучую деятельность: то хватали и публично наказывали плетью или розгами людей, заподозренных в том, что они — иностранные шпионы, то делались официальные успокоительные сообщения о том, что Бонапарту в Москве не быть, то вывозилась часть казенного имущества. Правда, Ростопчин оправдывался потом заявлениями Кутузова, что до последней капли крови будут драться под Москвой и Москвы не сдадут. Беспокоился Ростопчин не только по поводу Наполеона.

Ростопчин был одним из тех русских высших сановников, для которого слово «Россия» и слова «крепостное право» сливались воедино, в одну вполне неразрывную двуединую сущность. Он уже давным-давно, еще с 1806 г., не переставал предупреждать Александра, что Наполеон — смертельный враг именно потому, что «сословие слуг» в России связывает с его именем какие-то надежды. Он и в 1807 г. предварял, что основная цель русской «черни» — истребление благородного дворянства. И теперь, в 1812 г. в Москве, он боялся бунта, выискивал агитаторов-«мартинистов», выслал из Москвы почт-директора Ключарева, подозревал купцов-старообрядцев в тайных симпатиях к Наполеону. Наконец энергично ухватился за дело Верещагина. Для характеристики плачевного состояния исторических изысканий о 1812 г. приводим повторяющуюся с давних пор (и теперь повторяемую) нелепую версию, почитаемую за истину.

Купеческий сын Верещагин (так обыкновенно излагается дело) «перевел на русский язык два газетных сообщения о Наполеоне, а именно: письмо Наполеона к прусскому королю и речь Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». На самом деле Наполеон и письма такого к королю не писал и с речью к князьям Рейнского союза не обращался. Да и не мог говорить такой вздор (в Дрездене!) и не мог писать какой-то нелепый набор фраз прусскому королю («вам объявляю мои намерения, желаю восстановления колонии, хочу исторгнуть из политического ее (!) бытия» и т. д.). Ведь эти две странные, курьезно безграмотные «прокламации» никогда ничего общего с Наполеоном не имели, а сочинены (как Верещагин в конце концов и признал) самим Верещагиным. Мы знаем, что он не только сообщил эти свои произведения товарищу своему Мешкову, но, по-видимому, размножил их и разослал.

Таким образом, должно признать, что это было либо поступком умственно ненормального человека, либо преступным по замыслу, хотя и вполне бессмысленным по выполнению действием.

В архивных делах я нашел и полную (рукописную) копию этих документов и вместе с тем любопытное указание на то, что списки с этого «перевода» Верещагина попадали и в провинцию. «4 июля 1812 г., — доносит 15 июля саратовский прокурор министру юстиции, — в Саратове появились списки будто с письма французского императора князьям Рейнского союза, в котором, между прочим, сказано, что он обещается через шесть месяцев быть в двух северных столицах». Следствие обнаружило, что «сей пасквильный список» получен 2 июля из Москвы саратовским купцом Архипом Свиридовым от его сына, служившего в Москве приказчиком у купцов Быковских, торгующих бумажным товаром. Этих списков было несколько: «все те списки, у кого таковые были, полицией тотчас отобраны и воспрещено иметь оные». Но так как вслед за тем в «Московских ведомостях» было опубликовано об аресте Верещагина и Мешкова, то эта статья газеты и объявлена всем жителям столицы16. Верещагин и Мешков были арестованы и сидели в Москве в тюремном замке. Трагедия разыгралась 14 сентября, в день бегства Ростопчина из его московского дворца.

Возня с шаром Леппиха, афишки, устные беседы, шумиха с высылкой (абсолютно ни в чем не повинного) почт-директора Ключарева — все это не заслоняло от глаз Ростопчина надвигающегося по Смоленской дороге страшилища. Что делать?.. Ростопчин то возмущался «барынями», убегающими из Москвы, то под рукой поощрял начинающуюся эвакуацию. По-видимому, он в самом деле был убежден, что русская армия остановит Наполеона. Он ликовал, когда произошла смена Барклая Кутузовым. Изредка он заговаривал, что в самом крайнем случае лучше сжечь Москву, чем отдать ее Наполеону.

Ровно за три недели до вступления французов в Москву граф Ростопчин писал Багратиону (24 августа 1812 г.): «Я не могу себе представить, чтобы неприятель мог прийти в Москву. Когда бы случилось, чтобы вы отступили к Вязьме, тогда я примусь за отправление всех государственных вещей и дам на волю каждого убираться, а народ здешний, по верности к государю и любви к отечеству, решительно умрет у стен московских, а если бог ему не поможет в его благом предприятии, то, следуя русскому правилу: не доставайся злодею,

обратит город в пепел, и Наполеон получит вместо добычи место, где была столица. О сем недурно и ему дать знать, чтобы он не считал на миллионы и магазины хлеба, ибо он найдет уголь и золу». Но народу он говорил не о сожжении Москвы, а о том, что французам Москвы не видать.

Ростопчин писал в своих афишках: «Я жизнию отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему: в армиях 130 тысяч войска славного, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов истинно государев избранный воевода русских сил и надо всеми начальник, у него сзади неприятеля генералы Тормасов и Чичагов, вместе 85 тысяч славного войска, генерал Милорадович из Калуги пришел в Можайск с 36 тысячами человек пехоты, 3800 кавалерии и 84 пушками и т. д. А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: Ну, дружина, московская! пойдем и мы, поведем 100 тысяч молодцов, возьмем иверскую божию матерь да 150 пушек и кончим дело все вместе». Чувствуя явно, что хватил через край, московский генерал-губернатор к концу афишки как бы несколько смутился:

«Прочитайте! Понять можно все, а толковать нечего!» Народ не «толковал», а просто ни одному слову этих балаганных зазываний не верил. Никак не удавалось графу, говорившему по-французски правильнее, чем по-русски, прикинуться разбитным раешником или веселым ряженым святочным дедом.

Не довольствуясь своими афишками, Ростопчин повадился, в духе доброго калифа Гаруна-аль-Рашида арабских сказок, гулять запросто пешком по Москве и, заговаривая с «народом», т. е. с купцами и одетыми попроще в русское платье людьми, лгать им напропалую о том, что русские дела идут великолепно и что злодею (т. е. Наполеону) никогда в Москве не быть. Но он тут убедился, что среднего москвича среднему генералу никак не удастся обмануть. «Мое присутствие привлекало много лиц из купечества и простого народа, с которым я заговаривал запросто, сообщая им какие-нибудь добрые вести, которые они потом шли распространять по городу. Надо быть весьма осторожным с этими людьми, — не без грусти прибавляет Ростопчин, — потому что никто не обладает большим запасом здравого смысла, как русский человек, и они часто делали такие замечания и вопросы, которые затруднили бы и дипломата, наиболее искусившегося в словопрениях». Это и не мудрено. Московские «бородачи», которых Ростопчин так хвалит за патриотизм и за здравый смысл, конечно, не могли в самом деле принимать за чистую монету все легкомысленные бравады и небылицы, которые им преподносил генерал-губернатор. Он, ненавистник французов, ближе был — некоторыми чертами, по крайней мере, своей психики — к худшему типу марсельца, южного француза, к болтуну, хвастуну, говоруну, легкомысленному вралю, чем к среднему москвичу, до которого ежедневно тысячами путей доходили вести, одна тревожнее другой, о страшной грозе, идущей на родину, о несущемся на Москву урагане, путь которого озаряется пожарами, охватившими чуть не пол-России. Генерал-губернаторское бойкое и хвастливое устное лганье с прибауточками имело, конечно, так же мало успеха, как и его печатные разухабистые выходки. Все это было ни к чему. Русский народ действительно любил свою родину, и что общего могло быть у него с этим легкомысленным барином, клубным остряком, лучше всего чувствовавшим себя в Париже, где он и прожил потом почти до самой смерти?

Ростопчин в нелепых своих печатных балагурствах категорически обещал, что французы в Москву не придут. Выдуманный им «московский мещанин Карнюшка Чихирин», тот самый, который, «выпив лишний крючок», «рассердился; и разругал скверными словами всех французов», давал Москве следующие уверения, обращаясь к злодею Бонапарту: «Ну, как же тебе к нам забраться? Не только Ивана Великого, да и Поклонной во сне не видать!.. Не наступай, не начинай, а направо кругом да домой ступай! И знай из роду в род, каков русский народ!» И вот Наполеон стоит со свитой на Поклонной горе и смотрит на Москву, а он, Ростопчин, должен бежать из Москвы без оглядки. Положение генерал-губернатора было трудное.

Ростопчин был вне себя, узнав о совете в Филях и о бесповоротном решении Кутузова.

Из Москвы начиналось повальное бегство; последнее воззвание Ростопчина было понято как сигнал к всенародному ополчению, к битве у Поклонной горы. Узнав, что никакой битвы не будет, раздраженная, растерянная народная толпа сгущалась около генерал-губернаторского дома. Настала ночь, последняя ночь перед сдачей Москвы. Но и ночь не принесла покоя.

В 11 часов вечера 13 сентября, накануне вступления французов в Москву, к Ростопчину явились герцог Ольденбургский и принц Вюртембергский. Они явились к Ростопчину со странной просьбой: чтобы он отправился к Кутузову и убедил бы его не сдавать Москву неприятелю. Ростопчин довольно резонно посоветовал им самим это сделать, тем более что один из них приходится царю двоюродным братом, а другой — дядей. «Принцы сообщили мне, что они ходили к князю Кутузову, но что он спал и их не впустили. После многих сожалений и строгих осуждений князя Кутузова они ушли, оставив меня проникнутого горестью и пораженного оставлением Москвы».

На другой день в 10 часов утра Ростопчин велел подать себе экипаж. Но его уже поджидали, бежать из Москвы оказалось не так просто. Толпа людей, очень большая, с раннего утра стояла у дворца. Человек, который теперь покидал Москву на произвол судьбы, уверял месяцами эту толпу, что он сюда злодея не пустит. И вот злодей сегодня войдет в Москву, а Ростопчин трусливо убегает!

«Озлобленная чернь бросилась к генерал-губернаторскому дому, крича, что ее обманули, что Москву предают неприятелю. Толпа возрастала, разъярялась все более и стала звать к ответу генерал-губернатора. Поднялся громкий крик: „Пусть выйдет к нам! Не то доберемся до него!“» Ростопчин вышел к народу, который «встретил его сердитыми восклицаниями», — так говорит об этом моменте Каролина Павлова со слов, конечно, своего отца К. Яниша и других москвичей, переживших это время.

Около дворца и уже поданного экипажа запахло кровью, Ростопчин сразу сообразил, чья кровь может спасти его. Он велел привести Верещагина из тюрьмы и предложил народу расправиться с ним. Но народ молчал. Ростопчин тогда велел двум унтер-офицерам убить Верещагина и, отвлекши внимание толпы трупом убитого, умчался из Москвы.

О своем деянии Ростопчин в таких выражениях доносил, спустя полтора месяца, министру юстиции: «Что касается до Верещагина, то изменник сей и государственный преступник был пред самым вшествием злодеев наших в Москву предан мною столпившемуся пред ним народу, который, видя в нем глас Наполеона и предсказателя своих несчастий, сделал из него жертву справедливой своей ярости». Тут Ростопчин так же лжет, как он лгал и дальше в течение всей своей жизни о своем преступлении; только в своих записках он сказал правду о том, кто убил Верещагина: «Приказав привести ко мне Верещагина и Мутона и обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество. Я объявил ему, что он приговорен сенатом к смертной казни и должен понести ее, и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями. Он упал, не произнеся ни одного слова. Тогда, обратившись к Мутону, который, ожидая той же участи, читал молитву, я сказал ему: „Дарую вам жизнь, ступайте к своим и скажите им, что негодяи, которого я наказал только что, был единственным русским, изменившим своему отечеству“».

Он тут не лжет в главном, т. е. не отрицает, что вовсе не народ, а он, Ростопчин, убил Верещагина, но и тут не признался, конечно, в мотиве личной трусости, толкнувшем его на это.

«Психология» этого убийства не очень сложна: Ростопчин в день вступления французов в Москву оказался перед лицом оставшихся (да и выехавших) в позорном и смешном

положении: не говоря уже о его нелепых, пошло-хвастливом языком написанных «афишках», ведь и официальные его печатные и устные заверения до последнего часа, что Москва «ни за что» не будет сдана, вся эта шумиха патриотических слов, все самохвальство — все это возбуждало теперь против него, нелепого, легкомысленного генерал-губернатора, справедливое негодование московских жителей. Ему нужно было прикинуться, будто Москва в самом деле ни за что не была бы сдана, но вот в последнюю минуту вдруг «оказалось», что Москва погибает из-за внутренней измены, из-за Верещагина.

Пока толпа терзала и топтала труп убитого по приказу Ростопчина Верещагина, сам Ростопчин поспешил подобру-поздорову убраться из города под защиту армии Кутузова, уже выходившей из города.

Тут-то и произошла та встреча Ростопчина с Кутузовым у Яузского моста, о которой я упоминал выше.

Сам Ростопчин в своих воспоминаниях рассказывает явную небылицу, будто при этой встрече Кутузов ему сказал: «Могу вас уверить, что я не удалюсь от Москвы, не дав сражения». А он, Ростопчин, будто бы «ничего не отвечал ему, так как ответом на нелепость может быть только какая-нибудь глупость». Не говоря уже о том, что никто вообще, ни в частности князь Голицын, бывший тут же, ничего подобного не слышал (а князь Голицын — свидетель, которому свойственно было говорить правду, как Ростопчину свойственно было лгать), вся сцена вообще абсолютно неправдоподобна: Ростопчин был для, Кутузова совсем незначащей величиной, и оправдываться перед ним, да еще нелепыми обещаниями, фельдмаршалу было решительно не к чему, а, как мы знаем из других показаний, Ростопчин что-то спросил у Кутузова, но тот ровно ничего ему не ответил и не обратил на него никакого внимания. Кутузов, когда бывал раздражен, умел и самого Александра Павловича осадить при всей своей царедворческой ловкости. Стал ли бы он церемониться с Ростопчиным, человеком без малейших боевых заслуг, только что еле ускользнувшим от возмущенного и обманутого им народа и во всю прыть примчавшимся искать спасения тут где-нибудь, неподалеку от дрожек фельдмаршала? Еще для Ростопчина не настал момент, когда он мог писать Кутузову злобно-оскорбительные письма.

Уцелевшие бородинские бойцы, многие еще не оправившиеся от ран, еле волоча ноги, другие исхудалые, худо кормленные, угрюмо глядя в землю, молча проходили мимо фельдмаршала. Беглецы из города принесли к вечеру известие, что французы уже заняли Кремль. 3

9 сентября Наполеон был в Можайске. Его простуда все еще не проходила. Только 12 сентября он вышел из Можайска. Он догонял армию, которая безостановочно двигалась к Москве. Авангард уже подходил к Поклонной горе, когда император догнал его. Это было 13 сентября.

Ночь с 13 на 14 сентября Наполеон провел в селе Вязёмах. Ночью и утром французский авангард проходил мимо Вязём по дороге в Москву. Даст ли Кутузов бой на возвышенностях, окружающих Москву, было еще не ясно для императорского штаба. Мы видели, впрочем, что до конца совета в Филях это и для русского штаба было не очень ясно.

Верхом, в сопровождении свиты, очень медленным аллюром, предшествуемый разведчиками, Наполеон утром 14 сентября ехал к Поклонной горе. Маршалы следовали поодаль; раздражение и обида против императора, не давшего им гвардию, чтобы довершить бородинскую победу, у них еще не проходили. Наполеон с ними, впрочем, мало и заговаривал в эти дни, а, по придворному этикету, начинать разговор с его величеством по собственной инициативе не полагалось.

Было два часа дня, когда Наполеон со свитой въехал на Поклонную гору, и Москва сразу

открылась их взорам. Яркое солнце заливало весь колоссальный, сверкавший бесчисленными золочеными куполами город. Шедшая за свитой старая гвардия, забыв дисциплину, тесня и ломая ряды, сгущалась на горе, и тысячи голосов кричали: «Москва! Москва! Да здравствует император!» И опять: «Москва! Москва!» Въехав на холм, Наполеон остановился и, не скрывая восторга, воскликнул тоже: «Москва!» Очевидец и соучастник граф Сегюр заметил тут, что и маршалы сразу забыли свою обиду и, «опьяненные энтузиазмом славы», бросились к императору с поздравлениями: «Вот наконец этот знаменитый город!» Наполеон сказал: «Пора, пора!» Наполеон даже в этот миг упоения победой и гордыней не забывал, чего стоило добраться до этой великой европейско-азиатской красавицы.

Ни Милан, ни Венеция, ни Александрия и Каир, ни Яффа, ни Вена, ни Берлин, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Варшава, ни Амстердам, ни Рим, ни Антверпен — ни одна столица, куда входили победителями его войска, не имела в его глазах и в глазах его армии такого огромного политического значения, как эта древняя русская Москва, соединительное звено Европы и Азии, ключ к мировому владычеству. В Москве император ждал просьбы смирившегося Александра о мире, армия ждала теплых квартир, изобильного провианта, всех удобств и всех наслаждений огромного города после мучительного похода с его полуголодными рационами, отсутствием питьевой воды, палящим зноем, постоянными стычками с упорным и храбрым врагом.

Люди, пережившие эти часы на Поклонной горе, генералы ли свиты и гвардии, простые ли гвардейцы, говорили потом, что для них это была кульминационная точка похода 1812 г.; они готовы были поверить, что сопротивление русского народа сломлено и что подписание перемирия, а затем и мира вопрос дней.

Солнце начало между тем склоняться к западу. Мюрат с кавалерией уже вошел в город и параллельным потоком несколько левее Мюрата в Москву вливался корпус итальянского вице-короля Евгения. Наполеон хотел принять депутацию от города тут, на Поклонной горе, и знал, что Мюрат и Евгений прежде всего, войдя в соприкосновение с московскими властями и московским населением, должны прислать эту депутацию с ключами от города. Но никакой депутации не являлось. Эта странность стала понемногу предметом разговора между свитскими генералами и офицерами, а потом и между гвардейцами. Вдруг совсем невероятная новость распространилась сначала в гвардии, а потом в свите и дошла немедленно до Наполеона: никакой депутации от жителей не будет, потому что никаких жителей в Москве нет. Москва покинута всем своим населением. Это известие показалось Наполеону настолько диким, настолько невозможным, что он в первую минуту просто не поверил ему. Наконец Наполеон решил покинуть Поклонную гору, и он подъехал со свитой к Дорогомиловской заставе. Затем он приказал графу Дарю подойти к нему: «Москва пуста! Какое невероятное событие! Следует войти туда. Ступайте и приведите мне бояр!» У Наполеона, по-видимому, осталось впечатление от докладов его шпионов, что высшие аристократы в России называются и формально «боярами», вроде того как в Англии лордами.

Однако Дарю, съездив в город, никаких «бояр» оттуда не привел. Он только подтвердил, что город пуст, жители исчезли. «Но таково было упорство Наполеона, что он упрямился и ждал еще. Наконец один офицер, решив понравиться или будучи убежден, что все, желаемое императором, должно было совершиться, проник в город, захватил пять или шесть бродяг, довел их, подталкивая их впереди себя своей лошадью, до самого императора и изобразил, что это он привел депутацию. По первому же ответу этих несчастных Наполеон увидел, что перед ним — только жалкие поденщики», — говорит очевидец, тоже обожающий Наполеона, но наиболее из всех этих обожателей правдивый, граф Сегюр17.

Этот нелепый маскарад мог, конечно, только разозлить и оскорбить Наполеона: «О, русские не знают еще, какое впечатление произведет на них взятие их столицы!» — воскликнул он. Некоторое время он не двигался от заставы. Он ждал известий от Мюрата, который должен

был первым подойти к Кремлю и занять его.

Мюрат со своим штабом и кавалерией вступил в Москву в середине дня. Еще накануне между ним и Милорадовичем состоялось соглашение: Мюрат, начальник французского авангарда, обязывался не беспокоить уходящую через город русскую армию, Милорадович, начальник русского арьергарда, обязывался не предпринимать со своей стороны никаких враждебных действий. Поэтому Мюрат не побоялся растянуть свою конницу по бесконечно длинному и узкому Арбату, хотя в случае сопротивления русским легко было нанести страшные потери этому растянутому узкому строю и решительно задержать его движение вперед. Все было тихо, глухо, мертво. Кое-где на углах пересекающих Арбат переулков стояло по нескольку человек. Французы передавали потом, что им странно и дико было ощущать себя среди громадного города, двигаясь мимо окон и дверей бесчисленных домов бесконечных улиц, как в пустыне. Угадывалось, что люди не спрятались, а что эти дома и дворы пусты, что никого в городе нет. На самом деле несколько тысяч человек (подсчетов сколько-нибудь точных не было и быть не могло) разного люда осталось в Москве. Тут были, во-первых, просто не успевшие бежать или не имевшие к тому никаких материальных средств и возможностей, во-вторых, иностранцы (французы, швейцарцы, итальянцы, поляки, немцы), надеявшиеся на благосклонность победителя, в-третьих, русские солдаты, отчасти дезертиры, отчасти случайно, по своей вине или без вины, застрявшие в Москве. Но эти несколько тысяч человек тонули и исчезали в пустоте огромного мертвого города.

Кавалерия шла осторожно, опасаясь засады, внезапного нападения ждали на каждом углу. Но молчание царило и час и другой, пока бесконечными потоками французская армия вливалась в город. Только когда головной отряд кавалерии Мюрата подошел к Кремлю, оттуда из-за запертых ворот раздалось несколько выстрелов. Французы ядром выбили ворота и картечью перебили нескольких человек, там оказавшихся. До сих пор не выяснено, что это были за люди. Трупы их были куда-то выброшены, и установлением их личности никто не занялся. Когда французы ворвались в крепость, то один из защитников с необычайной яростью бросился на французского офицера, стараясь задушить его, и зубами прокусил ему руку. Он был убит, как и остальные. Конечно, подобный эпизод не мог задержать французов перед Кремлем. Крепость была занята.

Перед вечером Наполеону было дано знать и от Мюрата, и от Понятовского, и от Евгения, что город занят французскими войсками без сопротивления. Было уже поздно, и Наполеон решил провести эту первую ночь в Москве (с 14 на 15 сентября) не в Кремле, а в одном из брошенных домов у Дорогомиловской заставы, где он находился со свитой после того, как покинул Поклонную гору. Император был очень мрачен. «Какая страшная пустыня!»18 — воскликнул он, глядя на мертвые улицы. Совсем не так он въезжал во все европейские столицы и в столицу африканскую, Александрию. Еще перед его отходом ко сну в дом, занятый им, явились один за другим несколько адъютантов и ординарцев. Они прибыли из разных далеких одна от другой частей города, а между тем докладывали об одном и том же: в городе начинаются пожары. Наполеон далеко не сразу уразумел истинный смысл и размеры того явления, о котором ему докладывали. У него сначала составилось такое представление, что это солдаты его армии, рассеявшись по городу, громят брошенные дома и по их неосторожности возникают пожары. Он призвал маршала Мортье, которого назначил в этот день военным губернатором Москвы, и грозно приказал ему немедленно прекратить грабежи, о которых уже начали доходить до него многочисленные сведения. «Вы мне отвечаете своей головой за это!» — прибавил император.

Он еще не успел заснуть, когда в третьем часу ночи ему сообщили, что горит уже центральный квартал. Гостиный двор, средоточие московской торговли, и что загораются дома, куда никто из французских солдат не только не входил, но где и поблизости еще никаких французов не было. Бушевал ветер, искры сыпались густым огненным дождем и зажигали соседние здания. Взошло солнце, и при дневном свете вместо зарева пожаров над городом носились клубы дыма.

Когда Наполеон проезжал утром 15 сентября из Дорогомилова в Кремль, где решил поселиться, Москва со своими великолепными дворцами и храмами поразила его почти так же, как с Поклонной горы. Эти впечатления разделяли с ним его маршалы и, насколько можно судить из случайно дошедших документов, также все люди армии. Вот, например, первые впечатления очевидца, офицера интендантского ведомства наполеоновских войск, которые мы узнаем из его позднейшего письма, писанного в Москве 15 октября (и перехваченного казаками). Он пишет о вступлении французов в Москву, т. е. о событии, бывшем за. месяц до того: «Мы вошли в город с надеждой найти там жителей и отдохнуть от дурных бивуаков, но там никого не было, кроме французов и иностранцев, которые не хотели уходить вслед за русскими. Все было спокойно, и ничто не предвещало ужасных событий, которые должны были последовать. При входе в Москву меня охватило удивление, смешанное с восхищением, потому что я ожидал увидеть деревянный город, как многие о том говорили, но, напротив, почти все дома оказались кирпичными и самой изящной и самой новой архитектуры. Дома частных лиц похожи на дворцы, и все было богато и великолепно. Нас поместили в очень хорошей квартире»19.

О ярких и в общем положительных впечатлениях, произведенных Москвой в самые первые дни ее оккупации, говорит также первое письмо, которое Наполеон написал императрице из Москвы на третий день после вступления своего в столицу:

«Город так же велик, как Париж. Тут 1600 колоколен и больше тысячи красивых дворцов, город снабжен всем. Дворянство уехало отсюда, купцов также принудили уехать, народ остался… Неприятель отступает, по-видимому, на Казань. Прекрасное завоевание — результат сражения под Москвой»20.

Почему Наполеон думал тогда, что «народ» остался, неизвестно. Вскоре он убедился, что и «народа» в Москве почти вовсе нет, если не считать прячущихся по углам в разных частях необъятного города, в общем кучку в несколько тысяч человек.

Французы буквально не могли поверить своим глазам, бродя по громадной столице и видя, что она пуста. Зловещее и дикое это было впечатление. «Вступая вслед за пехотой, я проходил через громадные площади и улицы. Я заглядывал в окна каждого дома и, не находя ни одной живой души, цепенел от ужаса. Изредка мы встречали (французские. — Е. Т.) кавалерийские полки, мчавшиеся во весь опор по улицам и также никого не находившие», — читаем мы показания одного французского артиллериста. Далеко не все понимали все значение этого странного, неслыханного явления. «Я громко заявлял, что город покинут жителями; теперь еще я без смеха не могу вспомнить, каким наставительным тоном мне отвечал капитан Лефрансэ: „Подобным образом больших городов не покидают. Эти канальи попрятались, мы их разыщем, и они будут перед нами стоять на коленях!“»

Но эти первые впечатления французской армии уже с утра 15 сентября стали очень быстро вытесняться грозным событием, с часу на час принимавшим совсем неслыханные, поистине чудовищные размеры. Пожары, начавшиеся еще с вечера 14 сентября, охватили уже полгорода и продолжали усиливаться.

Загорелся прежде всего винный двор, был взорван пороховой магазин, сгорел Новый Гостиный двор. Ряды, потом разом в нескольких местах дома, церкви, «особливо сожжены все фабрики…» «Эти пожары продолжались целых шесть суток, так что нельзя было различить ночи от дня. Во все же сие время продолжался грабеж». Французские солдаты, а за ними и французские мародеры вбегали в дома и тащили все, что уцелело от огня. Брали белье, шубы, даже женские салопы. «Нередко случалось, что идущих по улицам обирали до рубахи, а у многих снимали только сапоги, капоты или сюртуки. Если же найдут какое сопротивление, то с остервенением того били, и часто до смерти». Кое-кто из солдат прибегал и к пыткам, особенно пытали церковных служителей, так как были убеждены, что они куда-то припрятали церковное золото и серебро. «Французы даже купцов и крестьян

хватали для пытки, думая по одной бороде, что они попы». Схваченных на улице заставляли работать, носить за собой мешки с награбленными вещами, а также копать огороды, «таскать с дороги мертвых людей и лошадей»21.

По донесению (от 19 сентября) очевидца генерала Тутолмина, оставшегося в Москве, пожары начались 14 сентября вечером, через несколько часов после вступления конницы Мюрата в город, а уже на следующий день, пишет Тутолмин императору Александру, пожары «были весьма увеличены зажигателями… Жестокости и ужасов пожара я не могу вашему императорскому величеству достаточно описать: вся Москва была объята пламенем при самом сильном ветре, который еще более распространял огонь, и к тому весьма разорен город»22.

Ростопчин, конечно, активно содействовал возникновению пожаров в Москве, хотя к концу жизни, проживая в Париже, издал брошюру, в которой отрицал это. В другие моменты своей жизни он гордился своим участием в пожарах, как патриотическим подвигом.

Вот официальное донесение пристава Вороненки в Московскую управу благочиния: «2 (14) сентября в 5 часов пополуночи (граф Ростопчин. — Е. Т.) поручил мне отправиться на Винный и Мытный дворы, в комиссариат… и в случае внезапного вступления неприятельских войск стараться истреблять все огнем, что мною исполняемо было в разных местах по мере возможности в виду неприятеля до 10 часов вечера…»23.

Что и независимо от распоряжений Ростопчина могли найтись люди, которые остались в Москве и с риском для жизни решили уничтожить все, лишь бы ничего не досталось врагу, — это тоже более чем вероятно. Наконец, безусловно очень много пожаров возникло при хозяйничанье солдат французской армии в покинутых домах и лавках, где были найдены огромные запасы спиртных напитков. Пьянство уже с первых дней во французском войске шло невообразимое. 4

В течение всего дня 15 сентября пожар разрастался в угрожающих размерах. Весь Китай-город, Новый Гостиный двор у самой Кремлевской стены были охвачены пламенем, и речи не могло быть, чтобы их отстоять. Началось разграбление солдатами наполеоновской армии лавок Торговых рядов и Гостиного двора. На берегу Москвы-реки к вечеру 15 сентября загорелись хлебные ссыпки, а искрами от них был взорван брошенный русским гарнизоном накануне большой склад гранат и бомб. Загорелись Каретный ряд и очень далекий от него Балчуг около Москворецкого моста. В некоторых частях города, охваченных пламенем, было светло, как днем. Центр города с Кремлем еще был пока не затронут, или, точнее, мало затронут. Большой Старый Гостиный двор уже сгорел. Настала ночь с 15 на 16 сентября, и все, что до сих пор происходило, оказалось мелким и незначительным по сравнению с тем, что разыгралось в страшные ночные часы.

Ночью Наполеон проснулся от яркого света, ворвавшегося в окна. Офицеры его свиты, проснувшись в Кремле по той же причине, думали спросонок, что это уже наступил день. Император подошел к одному окну, к другому; он глядел в окна, выходящие на разные стороны, и всюду было одно и то же: нестерпимо яркий свет, огромные вихри пламени, улицы, превратившиеся в огненные реки, дворцы, большие дома, горящие огромными кострами. Страшная буря раздувала пожар и гнала пламя прямо на Кремль, завывание ветра было так сильно, что порой перебивало и заглушало треск рушащихся зданий и вой бушующего пламени. В Кремле находились Наполеон со свитой и со старой гвардией, и тут же был привезенный накануне французский артиллерийский склад. Был в Кремле и пороховой склад, брошенный русским гарнизоном вследствие невозможности вывезти его. Другими словами, пожар Кремля грозил полной и неизбежной гибелью Наполеону, его свите, его штабу и его старой гвардии. А ветер все свирепел, и направление его не менялось. Уже загорелась одна из кремлевских башен. Нужно было уходить из Кремля, не теряя ни минуты. Наполеон, очень бледный, но уже взяв себя в руки после первого страшного волнения при

внезапном пробуждении, молча смотрел в окно дворца на горящую Москву. «Это они сами поджигают. Что за люди! Это скифы!», — воскликнул он. Затем добавил: «Какая решимость! Варвары! Какое страшное зрелище!»

Свита обступила императора; маршал Мортье, делавший все возможное, чтобы отстоять Кремль, категорически заявил, что императору нужно немедленно уходить из Кремля, иначе ему грозит смерть от огня. Наполеон медлил. Еще накануне, войдя впервые во дворец, он сказал, обращаясь к свите: «Итак, наконец, я в Москве, в древнем дворце царей, в Кремле!» Он знал значение Кремля в русской истории и не хотел покидать его, только сутки, да и то неполные, пожив в нем. Но рассуждать было нельзя: пожар с каждой минутой грозил объять дворец и отрезать все выходы. Стало светать, а положение все ухудшалось, уже дышать становилось трудно от гари и дыма, отовсюду проникавших во дворец. «Это превосходит всякое вероятие, — сказал Наполеон, обращаясь к Коленкуру. — Это война на истребление, это ужасная тактика, которая не имеет прецедентов в истории цивилизации… Сжигать собственные города!.. Этим людям внушает демон! Какая свирепая решимость! Какой народ! Какой народ!»24

Маршалы и свита единодушно возобновили свои просьбы, чтобы император немедленно покинул дворец. Уже повторялась версия, что русские не только организованно подожгли Москву, но что в особенности они решили направить все усилия на дворец, чтобы покончить с Наполеоном. Вице-король Италии Евгений, пасынок и любимец Наполеона, и маршал Бертье пали на колени, убеждая императора покинуть Кремль. Со всех сторон доносились громкие крики: «Кремль горит!» Император решил перейти в Петровский дворец, тогда стоявший еще вне городской черты, среди чащи и пустырей.

Он вышел из дворца в сопровождении свиты и старой гвардии, но все чуть было не погибли при этой попытке спасения. Вице-король, Сегюр, Бертье, Мюрат шли рядом с императором. Они навсегда запомнили этот выход из Кремля. Вот знаменитое показание графа Сегюра: «Нас осаждал океан пламени: пламя запирало перед нами все выходы из крепости и отбрасывало нас при первых наших попытках выйти. После нескольких нащупываний мы нашли между каменных стен тропинку, которая выходила на Москву-реку. Этим узким проходом Наполеону, его офицерам и его гвардии удалось ускользнуть из Кремля. Но что они выиграли при этом выходе? Оказавшись ближе к пожару, они не могли ни отступать, ни оставаться на месте. Но как идти вперед, как броситься в волны этого огненного моря? Те, которые пробегали по городу, оглушенные бурей, ослепленные пеплом, не могли распознать, где они, потому что улицы исчезали под дымом и развалинами. Однако приходилось спешить. С каждым мигом вокруг нас возрастал рев пламени. Единственная извилистая и кругом пылающая улица являлась скорее входом в этот ад, чем выходом из него. Император, не колеблясь, пеший, бросился в этот опасный проход. Он шел вперед сквозь вспыхивающие костры, при шуме трескающихся сводов, при шуме от падения горящих бревен и раскаленных железных крыш, обрушивавшихся вокруг него. Эти обломки затрудняли его шаги… Мы шли по огненной земле, между двумя стенами из огня. Пронизывающий жар жег нам глаза, которые, однако, приходилось держать открытыми и устремленными на опасность. Удушающий воздух, пепел с искрами, языки пламени жгли вдыхаемый нами воздух, дыханье наше становилось прерывистым, сухим, коротким, и мы уже почти задыхались от дыма…» Наполеона и его свиту спасли случайно встретившиеся солдаты, мародерствовавшие поблизости.

Император переселился в Петровский замок. Еще двое суток, 17-го и 18-го, бушевал пожар, уничтоживший около трех четвертей города. Пожары продолжались, и собственно редкий день пребывания французов в Москве обходился совсем без пожара. Но это уже нисколько не походило на тот грандиозный огненный океан, в который превратили Москву великие пожары 14–18 сентября, раздувавшиеся неистовой бурей несколько дней и ночей сряду. Наполеон все время был в самом мрачном состоянии духа. «Это предвещает нам большие несчастья», — сказал он, глядя на развалины и дымящийся мусор, в который обратились

самые богатые части города. И не только в неожиданном исчезновении завоеванной добычи было дело. Император ясно понял, что теперь заключить мир с Александром будет еще труднее, чем было до сих пор. Он еще не знал тогда, что мир с Россией для него не только труден, но невозможен, и что война, которую он считал со взятием Москвы оконченной, для русского народа после гибели Москвы только еще начинается.

Величайший английский поэт был потрясен пожаром Москвы и на всю жизнь сохранил это первое впечатление. Обращаясь к Наполеону, Байрон писал: «Вот башни полудикие Москвы перед тобой в венцах из злата горят на солнце… Но увы! то солнце твоего заката!»

Сам Наполеон уже в конце жизни в беседе с доктором О'Мира говорил о пожаре Москвы, о том, как громадные валы крутящегося пламени, как волны разъяренного огненного океана то вздымались к пылавшему небу, то снова низвергались вниз. Но он не сразу оценил все результаты этой катастрофы, не предугадал далеких еще пока последствий своего кровавого нашествия на Россию, не предвидел, что пылающая Москва подожжет всю порабощенную и раздавленную им Европу.

Свита и части армии, которые вышли во время пожара к Петровскому дворцу, целыми часами глядели на пылавшую Москву. «Это было устрашающее зрелище, — говорит очевидец-француз, — этот пылающий город. Ночью видна была линия огня, больше чем в милю длиною. Казалось, это — вулкан со многими кратерами. В течение трех дней, пока продолжался пожар, мы оставались в Петровском дворце. На четвертый день мы вернулись в город и увидели там только развалины и пепел. Кремль сохранился…»

В эти дни и в ближайшие шел повальный грабеж домов и лавок. Не было возможности удержать солдат, и немало их сгорело и задохнулось, — не все успевали выбежать вовремя из горевших зданий. Но все-таки некоторые склады муки и иного продовольствия уцелели. Французов поражала роскошь внутреннего убранства многих домов, исключительной работы мебель, которую они нашли в немногих, случайно уцелевших от пожара барских особняках. «Очень печально теперь проходить по улицам, заваленным обломками, и притом не видеть ни одного жителя», — пишет этот очевидец25.

Вот показание одного из оставшихся в Москве от 30 сентября: «Опустошение и пожары продолжаются… Своевольства столь велики, что были наказываемые, но теперь сам Себастиани приносящим жалобы признается, что он не в силах их удержать. Все французы ежедневно пьяны после обеда, и жители их убивают, тогда их зарывают ночью. Но число сих жертв невелико… Французы опечалены и ожесточены, что не требуют у них мира, как Наполеон обещал при занятии Москвы, а потому разорением и грабежами думают к миру их понудить… У жителей отнимают рубашки и сапоги, мучат их разными работами, не кормя. Иногда они умирают от голода и усталости. Удивительно, что у самих французов бегут ежедневно по сто и более солдат, за ними нет никакого присмотра, и они не слушают начальников. Ежедневно расстреливают их за неповиновение».

Расстрелы поджигателей, или, вернее, тех, кого угодно было счесть поджигателями, начались уже на второй день пожаров, а 24 сентября 1812 г. в доме князя Долгорукова начал действовать военно-полевой суд под председательством генерала Мишеля, командира 1-го гренадерского полка гвардии. Назывался этот военно-полевой суд военной комиссией. На первый раз судили 26 человек, из коих расстреляли 10, а относительно прочих 16 сделано любопытнейшее в своем роде постановление: «Военная комиссия, уважив, что они не довольно изобличены, осуждает их к тюремному заключению». Первые 10 были столь же «не довольно изобличены», и почему сделано было такое отличие, непонятно. Судились кузнецы, портные, маляры («живописцы»), лакеи, солдаты. Из лиц других классов — пономарь Классианов, поручик Московского полка Игнатьев (расстрелян). Расстрелы продолжались и в следующие дни. Происходили очень часто и простые убийства, производимые солдатами-грабителями под предлогом самозащиты при сопротивлении арестуемых

«поджигателей». Сам Наполеон признает (как увидим дальше) в своем письме к Александру, писанном 20 сентября, что он успел уже расстрелять 400 «поджигателей». Вот иллюстрация с натуры: «По улицам много валяется мертвых лошадей и людей, па Тверском бульваре много есть повешенных и расстрелянных разных людей с надписью: „зажигатели Москвы“»26.

Наполеону доносили о неистовых грабежах, которыми занималась его армия, особенно баварцы, вестфальцы, итальянцы. Он знал, что и в чисто французских частях немало людей занимается грабежом. Что вместо зимних квартир, которые он обещал своей армии, перед нею обгорелые остатки большого города, дымящееся пожарище — это ему тоже было уже ясно. Как в Европе отнесутся к пожару Москвы? Как посмотрят там на эту удачу русских, вырвавших у императора буквально из рук его добычу?

Письмо Наполеона к императрице Марии-Луизе, как всегда, «стилизует» событие. Вот это письмо, написанное 18 сентября; оно писалось среди бушующего пожара. Великий город горит, как необъятный костер. «Мой друг, я тебе писал из Москвы. Я не имел понятия об этом городе. Он заключал в себе пятьсот таких же прекрасных дворцов, как Елисейский дворец, меблированных на французский лад с невероятной роскошью, несколько императорских дворцов, казармы, великолепные госпитали. Все это исчезло, огонь пожирает это вот уже четыре дня. Так как все небольшие дома граждан деревянные, то они загораются, как спички. Губернатор и сами русские в ярости за свое поражение зажгли этот прекрасный город. Двести тысяч обитателей в отчаянии, на улице, в несчастье. Однако для армии остается достаточно, и армия нашла тут много всякого рода богатств, так как в этом беспорядке все подвергается разграблению. Для России эта потеря огромна, ее торговля испытает от этого большое потрясение. Эти негодяи довели свою предосторожность до того, что увезли или уничтожили пожарные насосы»27. И в этот же день император приписывает в 8 часов вечера: «Осталась только треть домов. Солдат нашел достаточно провизии и товаров, у него есть припасы, значительное количество французской водки». Этот искусственный оптимизм с постоянным повторением «мои дела хороши» был рассчитан для парижского двора и для Европы. Император знал очень хорошо со времени пожара и гибели Москвы, что дела его вовсе не идут так, как он рассчитывал и рекламировал теперь перед Европой.

Мир! Немедленный мир с Александром — вот что становится для Наполеона первой и главнейшей целью после московского пожара. И тут-то ждала его наиболее роковая неудача всей его исторической карьеры. 5

Около 11 сентября по Петербургу прокатились первые слухи о Бородине, об одержанной Кутузовым «большой победе». Счастливое известие, пришедшее как раз к царским именинам, держало двор и всю столицу в радостном возбуждении около двух дней. Но вскоре явился курьер, посланный Ростопчиным к царю 13 сентября с извещением о сдаче Москвы, а через три дня явился курьер с коротеньким извещением и от самого Кутузова. Уже никаких сомнений в том, что роковое событие произошло, не могло остаться.

Только 16 сентября, т. е. через девять дней после Бородинского боя и через два дня после вступления неприятеля в столицу, Кутузов послал Александру извещение об этом. Он объясняет оставление Москвы ослаблением армии после Бородина. «Осмеливаюсь всеподданнейше донести вам, всемилостивейший государь, что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России»28.

После этого лаконического письма фельдмаршал умолк.

С 16 вплоть до 29 сентября, 13 дней, Кутузов ни строки не написал Александру, и тот, «не скрывая своего беспокойства и уныния в с. — петербургской столице», особым письмом настойчиво просил фельдмаршала писать через каждые двое суток29. Правда, за эти дни молчания Кутузов дал возможность царю услышать устный доклад.

С подробными известиями об оставлении Москвы Кутузов послал в Петербург к Александру некоего полковника Мишо, француза и сардинского дворянина, поступившего на русскую службу после того, как Сардинское королевство было завоевано Бонапартом. Мишо 20 сентября 1812 г. явился к Александру и тут имел с ним разговор, который сам он изложил спустя семь лет, в 1819 г., Михайловскому-Данилевскому, получившему тогда поручение написать историю войны 1812 г. и собиравшему материалы. Излагает Мишо свою беседу в том слащаво-верноподданническом стиле, в котором тогда принято было говорить об Александре, и даже наименование ему дает, какое следовало по установленному казенному образцу: «Наш ангел». Читая показание Мишо об этом разговоре, следует, конечно, делать поправку и на царедворчески умильные украшения стиля, и на выдумки с целью выставить собственное свое остроумие и находчивость, и даже просто на забывчивость: за такие семь лет, как от 1812 до 1819 г., многое позволительно было помнить не в совершенной точности. «Вы мне привезли печальные известия, полковник?» — «К несчастью, очень печальные: оставление Москвы». — «Как? Мы проиграли битву? Или мою древнюю столицу сдали без сражения?» — «Государь, так как окрестности Москвы, к несчастью, не представляют никакой позиции, на которой можно было бы рискнуть дать сражение с силами, меньшими, чем у противника, фельдмаршал Кутузов счел лучшим сохранить для вашего величества армию, потеря которой, не приведя к спасению Москвы, могла бы иметь самые большие последствия…» — «Вошел ли неприятель в город?» — «Да, государь, и город теперь превращен в пепел, я оставил его весь в пламени». При этих словах, пишет Мишо, слезы потекли из глаз царя. Дальше Александр спросил, в каком настроении армия, как повлияло на ее дух оставление Москвы. И здесь Мишо в качестве истинного француза старого режима, придворного каламбуриста и остряка пишет о том затейливом обороте фразы, который он будто бы пустил в ход в ответ на вопрос Александра о духе русской армии. На самом деле все это, конечно, выдумано через семь лет, на досуге. Посмел ли бы маленький человек, эмигрант-полковник, прикармливаемый в России, да еще в такой трагический момент, когда царь перед ним плачет, вдруг начинать ни с того, ни с сего какие-то словесные выверты и прибегать к юмористическим загадкам! «Государь, — будто бы сказал Мишо, — позволите ли говорить с вами откровенно, как честный военный?» — «Я всегда этого требую, а в эту минуту особенно. Я вас прошу, ничего от меня не скрывайте, говорите откровенно!» — «Государь, мое сердце исходит кровью, но я должен перед вами признать, что я оставил всю армию от начальника до последнего солдата в ужасающем страхе, в испуге…» — «Что вы мне говорите, Мишо?

Как? Откуда может родиться этот страх? Мои русские впали в уныние вследствие несчастья?» — «Никогда, государь, они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте сердца не дали себя убедить, что нужно заключить мир. Они горят желанием сражаться и доказать вам, пожертвовав своей жизнью, и доказать своей храбростью, как они вам преданы!» — «Ах, полковник, вы облегчаете мою душу, вы меня успокаиваете! Ну, возвращайтесь к армии, скажите моим храбрецам, скажите моим добрым подданным всюду, где вы будете проезжать, что, когда у меня не будет более ни одного солдата, я сам стану во главе моего дорогого дворянства и моих добрых крестьян и использую все средства моей империи (а их больше, чем мои враги думают); но что если в велениях божьего промысла сказано, что моя династия должна перестать царствовать на прародительском троне, тогда, использовав все средства, какие будут в моей власти, я отращу себе бороду вот до сих пор, — и он указал на свою грудь, — и буду есть картофель с последним из моих крестьян в глубине Сибири, скорее чем подпишу стыд моего отечества и моих добрых подданных, жертвы которых я умею ценить. Провидение нас испытывает; будем надеяться, что оно нас не покинет». И царь прибавил: «Полковник Мишо, не забудьте того, что я вам тут говорю; может быть, когда-нибудь мы вспомним об этом с удовольствием. Наполеон или я, или он, или я, мы уже не можем больше царствовать вместе! Я его узнал, он меня не обманет».

Если из этой фразы исключить и не весьма правдоподобно звучащую интимность по адресу Мишо о том, как «мы» (т. е. они вдвоем: царь да Мишо) об этом «вспомним» и т. д., то зерно

истины все-таки может быть из всего этого разговора выявлено вполне, тем более что у нас есть и другие аналогичные показания: Александр твердо решил в этот момент продолжать войну против Наполеона до самых последних пределов возможного.

Что Мишо, вообще говоря, охотно привирает в своем свидетельстве, явствует еще из слов, будто бы Александр только от него первого узнал об оставлении Москвы. Между тем мы знаем (но Мишо этого документа не знал, — иначе он, конечно, воздержался бы от лжи), что Александр сам засвидетельствовал о получении им первого известия о сдаче Москвы от Ростопчина с курьером, посланным еще 13 сентября через Ярославль. Мы это знаем из рескрипта, привезенного в ставку Кутузова князем Волконским. Александра тогда болезненно поразило это донесение Ростопчина. «Я отправляю… князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь несчастной решимости», — так кончался упомянутый рескрипт к Кутузову, хорошо передающий отношение царя к главнокомандующему.

Растерянность при петербургском дворе, в царской семье, в дворянстве, в купечестве была очень большая. Не пойдет ли Наполеон из Москвы в Петербург?

Сестра царя Екатерина Павловна, находившаяся в Ярославле, заклинала брата не заключать мира. «Москва взята… Есть вещи необъяснимые. Не забывайте вашего решения: никакого мира, — и вы еще имеете надежду вернуть свою честь… Мой дорогой друг, никакого мира, и если бы вы даже очутились в Казани, никакого мира»30, — так писала царю его сестра при первом известии о вступлении Наполеона в древнюю столицу.

Александр поспешил ответить сестре, что он и не думает о мире. «Удостоверьтесь, что мое решение бороться более непоколебимо, чем когда-либо. Я скорее предпочту перестать быть тем, чем я являюсь, но не вступать в сделку с чудовищем, которое составляет несчастие всего света… Я возлагаю мою надежду на бога, на восхитительный характер нашей нации и на мое постоянство в решимости не подчиняться ярму»31.

Конечно, естественное чувство оскорбленного самолюбия, раздражение и гнев могли быть и у Александра. Но истинный смысл твердого поведения царя после такого страшного удара, как потеря Москвы, объясняется прежде всего, как уже замечено в первой главе этой работы, также обстоятельствами, в которых находился Александр перед лицом высшей аристократии и дворянства, широких кругов генералитета и офицерства (особенно гвардейского), купечества, связанного в той или иной степени с экспортной торговлей. Он знал, что нового Тильзита ему не простят, он прекрасно понимал еще задолго до войны, что если уж война затеется, то ему нужно или выйти из нее с честью, или потерять престол. А он хорошо знал по примерам отца и деда, что в Петербурге люди, теряя престол, обыкновенно на свете долго не заживаются. Ведь в то самое время, когда Александр в Петербурге говорил полковнику Мишо и писал сестре, что он ни в каком случае мира с Наполеоном не заключит, в Москве в кремлевских царских апартаментах Коленкур говорил Наполеону об этой невозможности для Александра заключить мир. Еще за полтора года до пожара Москвы Александр имел разговор с наполеоновским послом Коленкуром, и Наполеон знал об этом разговоре. Коленкур, герцог Виченцский, пользовавшийся большим доверием и фавором у Александра, так передает его слова: «Скажите императору Наполеону, что земля тут трясется подо мною, что в моей собственной империи мое положение стало нестерпимым вследствие его (Наполеона. — Е. Т.) нарушения трактов. Передайте ему от моего имени это честное и последнее заявление: раз уже начнется война, — ему, Наполеону, или мне, Александру, придется потерять свою корону»32. Это не было фразой, а вполне соответствовало глубокому убеждению царя, да едва ли расходилось и с объективной истиной. Это говорилось в 1811 г.

И вот теперь, после гибели Москвы, родная сестра Александра написала ему именно то, о чем он еще до войны сам заявил Наполеону через Коленкура. Царя незачем было и убеждать в том, что для него самого было давным-давно ясно. Александр понимал: ему простят, что он

сидит в Петербурге, когда русская армия истребляется на Бородинском поле, ему простят гибель Смоленска, гибель Москвы, потерю пол-России, но мира с Наполеоном не простят. Настал момент решать, кому из двух потерять корону: Наполеону или Александру.

Таковы были настроения царя после гибели Москвы. Они еще усилились, когда Александр учел, что творится вокруг. Настроения народа были несравненно более искренними и непосредственными.

Выехав из Епифани 17 сентября в три часа ночи, купец Маракуев видел «к стороне Москвы сильное зарево, но мало похожее на зарево обыкновенное, а к концу горизонта весь воздух казался как бы раскаленным докрасна столбом, который простирался от земли до неба и казался как бы колеблющимся или дрожащим… Смотря на это, не можно было выразить тех чувств, какие были тогда в душе. Страх, жалость и ужасная неизвестность приводили в какое-то оцепенение».

«Страх» и «жалость» не выражают того впечатления, которое пожар произвел на крестьян, о чем единогласно свидетельствуют нам сохранившиеся документы.

Когда в октябре генерал Лористон, посол Наполеона, жаловался Кутузову на «варварское» отношение русских крестьян к французам, то старый фельдмаршал в извинение и объяснение этого факта сказал, что русские крестьяне относятся к французам так, как их предки относились к монголам. Лористон был недоволен этим сравнением цивилизованной армии его величества императора и короля с полчищами Чингисхана, но оно очень точно передает психологию русского крестьянина, видящего, как огромная вооруженная орда ворвалась в его отечество и не перестает терзать, грабить, жечь и обливать его кровью. «Татарское разорение» — именно так вспоминали долго подмосковные крестьяне наполеоновское нашествие.

После Бородина и гибели столицы стремление уничтожить захватчиков сделалось всенародным в полном смысле слова. Ставка Наполеона на устрашение России была бита. 6

Мы видели, что Александр поспешил категорически заверить сестру, что мира с Наполеоном он не заключит ни в каком случае.

Однако Екатерина Павловна не успокаивалась. 19 сентября она снова пишет брату: «Мне невозможно далее удерживаться, несмотря на боль, которую я должна вам причинить. Взятие Москвы довело до крайности раздражение умов. Недовольство дошло до высшей точки, и вашу особу далеко не щадят. Если это уже до меня доходит, то судите об остальном. Вас громко обвиняют в несчастье, постигшем вашу империю, во всеобщем разорении и разорении частных лиц, наконец, в том, что вы погубили честь страны и вашу личную честь. И не один какой-нибудь класс, но все классы объединяются в обвинениях против вас. Не входя уже в то, что говорится о том роде войны, которую мы ведем, один из главных пунктов обвинений против вас — это нарушение вами слова, данного Москве, которая вас ждала с крайним нетерпением, и то, что вы ее бросили. Это имеет такой вид, что вы се предали. Не бойтесь катастрофы в революционном роде, нет. Но я предоставляю вам самому судить о положении вещей в стране, главу которой презирают. Нет ничего такого, что люди не могли бы сделать, чтобы восстановить честь, но при желании всем пожертвовать для отечества говорят: „К чему это поведет, когда все изничтожается, портится вследствие неспособности начальников?“ Мысль о мире, к счастью, не всеобщая мысль, далеко не так, потому что чувство стыда, возбужденное потерей Москвы, порождает желание мести. На вас жалуются, и жалуются громко. Я думаю, мой долг сказать вам это, дорогой друг, потому что это слишком важно. Что вам надлежит делать, — не мне вам это указывать, но спасите вашу честь,

которая подвергается нападениям. Ваше присутствие может расположить к вам умы; не пренебрегайте никаким средством и не думайте, что я преувеличиваю; нет, к несчастью, я говорю правду, и сердце от этого обливается кровью у той, которая столькими вам обязана и желала бы тысячу раз отдать жизнь, чтобы вывести вас из того положения, в котором вы находитесь»33.

В своем ответе на это письмо Александр старается реабилитировать себя по крайней мере в глазах сестры. Слишком уж, очевидно, оскорбило и взволновало Александра ее письмо. Быть может, за всю его жизнь никто его в прямых обращениях к нему так больно не задел, как Наполеон в 1804 г., попрекнув царя очень прозрачно (в официальной ноте) отцеубийством, и как теперь Екатерина Павловна, укоряя его в предательстве по отношению к Москве и в потере личной чести. Ответ Александра последовал уже 30 сентября34.

«Что люди несправедливы к тому, кто находится в несчастии, что его обвиняют, что его терзают, — это дело самое обыкновенное. Я никогда не делал себе никаких иллюзий в этом отношении, я был уверен, что это со мной случится, едва только судьба будет ко мне неблагосклонна… Несмотря на неохоту утомлять кого бы то ни было подробностями, которые меня касаются, неохоту, которая еще бесконечно увеличивается, когда я нахожусь в несчастье, искренняя привязанность, которую я к вам питаю, заставляет меня превозмочь это чувство, и я вам изложу дела так, как я на них смотрю.

Что может делать человек больше, чем следовать своему лучшему убеждению? Оно-то мной только и руководило. Оно заставило меня назначить Барклая командующим 1-й армией на основании репутации, которую он себе составил во время прошлых войн против французов и против шведов. Это убеждение заставило меня думать, что он по своим познаниям выше Багратиона. Когда это убеждение еще более увеличилось вследствие капитальных ошибок, которые этот последний сделал во время нынешней кампании и которые отчасти повлекли за собой наши неудачи, то я счел его менее чем когда-либо способным командовать обеими армиями, соединившимися под Смоленском. Хотя и мало довольный тем, что мне пришлось усмотреть в действиях Барклая, я считал его менее плохим, чем тот (Багратион — Е. Т.), в деле стратегии, о которой тот не имеет никакого понятия. Словом, у меня тогда, по моему убеждению, лучшего никого не было… Царю сказали, что Барклая и Багратиона считают одинаково неспособными командовать такими большими массами и что в армии хотят Петра Палена.

Не говоря уже о вероломном и безнравственном характере и о преступлениях этого человека, вспомните только, что он уже 18–20 лет не видел неприятеля… Как я мог положиться на него, и где доказательства его военного таланта? В Петербурге я нашел, что все умы настроены в пользу назначения старого Кутузова главнокомандующим. Это был общий крик: то, что я знал об этом человеке, меня сначала отталкивало от него, но когда письмом от 5 августа Ростопчин меня известил, что вся Москва желает, чтобы Кутузов командовал, так как находят, что Барклай и Багратион оба к этому неспособны, а в это же время, как нарочно, Барклай делал одну глупость за другой у Смоленска, я не мог поступить иначе, как уступить общим желаниям, и я назначил Кутузова. Я и теперь думаю, что при обстоятельствах, в которых мы находились, я не мог поступить иначе, как выбрать между тремя генералами, одинаково мало способными к главному командованию, того, за кого высказывался общий голос.

Я перехожу теперь к пункту, который ближе всего меня касается: к моей личной чести… Я не могу думать, что в вашем письме ставится вопрос о той личной храбрости, которую имеет каждый солдат и которой я не придаю никакой цены. Впрочем, если уж я должен иметь унижение останавливаться на этом предмете, я вам сказал бы, что гренадеры полков Малороссийского и Киевского могли бы удостоверить, что я умею держаться под огнем так же спокойно, как и всякий другой. Но, еще раз, я не думаю, что в вашем письме идет речь об этой храбрости, и я предполагаю, что вы хотели сказать о храбрости моральной — о

единственной, которой в выдающихся положениях можно придавать некоторую цену. Может быть, если бы я остался при армии, мне удалось бы вас убедить, что у меня тоже есть доля ее. Но чего я не могу понять, это что вы, которая в своих письмах в Вильну хотели, чтобы я уехал из армии, вы, которая в письме от 5 августа, доставленном Вельяшевым, говорите мне: „ради бога, не берите на себя командования…“, установляя таким образом, как факт, что я не могу внушать никакого доверия, — я не понимаю, что вы хотите сказать в вашем последнем письме словами: „Спасайте вашу честь… ваше присутствие может примирить с вами умы“. Понимаете ли вы под этим мое присутствие в армии? И как примирить эти два столь противоречивых мнения?»

Дальше Александр говорит, что он, назначив Кутузова, отказался от мысли ехать в армию отчасти из-за советов сестры, отчасти «вследствие воспоминания о том, что наделал придворный характер этого человека под Аустерлицем». Тут царь имеет в виду поведение Кутузова перед роковой битвой 2 декабря 1805 г. Тогда, в 1805 г., у царя, правда, не хватило ума и хитрости, чтобы распознать игру Наполеона, который прикидывался испуганным, чтобы подманить русских к нападению и этим вконец погубить их, и Наполеон царя обманул, но зато Кутузова царь понял. Он понял, что Кутузов единственный. кто вполне разгадал игру Наполеона, и он хотя и советовал не начинать битвы, но слишком слабо советовал, слишком легко уступил, не предостерег. Царь не мог никогда простить Кутузову его поведения в то время, так ясно обнаружившего военную бездарность самого Александра, мечтавшего о славе великого полководца. Переходя далее к своему положению после Бородина, царь говорит, что, не будучи в армии, он не мог воспрепятствовать «губительному отступлению» после Бородина, решившему участь Москвы.

Александр, заметим мимоходом, тут снова лишний раз обнаруживает свое глубокое, истинно дилетантское непонимание военного дела. Он думает (а может быть, прикидывается), что, не будь «неспособного» Кутузова, можно было бы после Бородина дать Наполеону новое сражение сейчас же и победить его.

Кончается письмо уверением, что он, по мере сил, от всего сердца служит отечеству. «Что касается таланта, — может быть, у меня недостаток его, но ведь он не приобретается: это — благодеяние природы, и никто никогда себе его не достал сам. Обслуживаемый так плохо, как я, нуждаясь во всех областях в нужных орудиях, руководя такой огромной машиной, в таком страшном критическом положении, и притом против адского противника, соединяющего с самой ужасной преступностью самый замечательный талант, и который распоряжается всеми силами целой Европы и массой талантливых людей, сформировавшихся за 20 лет резолюции и войны, — не удивительно, что я испытываю поражения».

Нет другого письма к его сестре, и тем более к кому бы то ни было другому, в котором царь так полно высказал бы свои воззрения на эту войну и свое настроение. Он за всю жизнь не переживал более критического времени, чем между Бородином и Тарутином, если не считать времени между тем моментом, когда граф Пален сообщил ему, что император Павел хочет его, Александра, арестовать, и тем ночным часом, когда тот же Пален вошел к нему и заявил, что император Павел только что перестал существовать. «Довольно ребячиться, ступайте царствовать!» — сказал ему тогда «вероломный и безнравственный» Пален, о котором с такой ненавистью пишет Александр сестре в только что приведенном письме. Этих слов он Палену никогда не простил. «Спасайте вашу честь», — сказала царю Екатерина Павловна в сентябре 1812 г., и ей он простил. При тех сложнейших и крайне загадочных отношениях, какие были между этими братом и сестрой, ей он всегда все прощал…

Александр между прочим дает здесь вполне отрицательную оценку трем лучшим генералам своей армии — Барклаю, Багратиону и Кутузову — и сохраняет полное при этом молчание о четвертом бессменном кандидате в главнокомандующие — о Беннигсене. А между тем, если учесть слова Александра о «губительности» отступления после Бородина, которые полностью совпадают с воззрением Беннигсена, то будет достаточно ясно, что Александр,

конечно, предпочел бы в качестве преемника Барклая вовсе не «неспособного» Кутузова, а именно Беннигсена, которого ведь он уже раз и сделал главнокомандующим (в войну 1807 г.), несмотря на то, что Беннигсен столь же «вероломно» и «безнравственно» совершил «преступление» в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. в Михайловском дворце, как и Пален. Только горькая необходимость, полное сознание своей собственной беспомощности могли заставить Александра назначить главнокомандующим Кутузова, который был ему ненавистен.

«Вас обвиняют в неспособности»35, - написала Александру в ответ на эти излияния злая и умная сестра. В том беспомощном положении, в котором находился царь, нечего было и думать о борьбе против ненавистного одноглазого «старого сатира», засевшего в Тарутине с армией. Нужно было покориться и ждать. Александр покорился.

Судьба армии и России перешла в руки Кутузова.

Глава VII

Русский народ и нашествие

1

В кратком анализе событий 1812 г. совсем немыслимо было бы пытаться дать сколько-нибудь полную картину внутреннего положения России в год наполеоновского нашествия. Мы тут постараемся на нескольких немногих страницах выяснить в самом общем виде, какое впечатление произвели события на разные классы русского народа. Начать нужно, конечно, с основного вопроса, имеющего огромную историческую важность: как отнеслось к нашествию подавляющее большинство народа, т. е. тогдашнее крепостное крестьянство — помещичьи, государственные, удельные крестьяне?

На первый взгляд, казалось бы, перед нами странное явление: крестьянство, ненавидящее крепостную неволю, протестующее против нее ежегодно регистрируемыми статистикой убийствами помещиков и волнениями, поставившее под угрозу вообще весь крепостнический строй всего 37–38 лет до того в восстании Пугачева, — это самое крестьянство встречает Наполеона как лютого врага, не щадя сил, борется с ним, отказывается делать то, что делали крестьяне во всей завоевываемой Наполеоном Европе, кроме Испании, т. е. отказывается вступать в какие бы то ни было торговые сделки с неприятелем, сжигает хлеб, сжигает сено и овес, сжигает собственные избы, если есть надежда сжечь забравшихся туда французских фуражиров, деятельно помогает партизанам, проявляет такую неистовую ненависть к вторгшейся армии, какой нигде и никогда французы не встречали, кроме той же Испании. Между тем у нас есть определенные сведения, что еще в 1805–1807 гг., да и в начале нашествия 1812 г., в русском крестьянстве (больше всего среди дворовых слуг и вблизи городов) бродили слухи, в которых представление о Наполеоне связывалось с мечтаниями об освобождении. Говорилось о мифическом письме, которое будто бы французский император послал царю, что, мол, пока царь не освободит крестьян, до той поры будет война и миру не бывать. Каковы же причины, приведшие к такому резкому повороту, к такому решительнейшему изменению во взглядах?

После всего, что было сказано выше, незачем повторять, что Наполеон вторгся в Россию в качестве завоевателя, хищника, беспощадного разорителя и ни в малейшей степени не помышлял об освобождении крестьян от крепостной неволи. Для русского крестьянства защита России от вторгшегося врага была в то же время обороной своей жизни, своей семьи, своего имущества.

Начинается война. Французская армия занимает Литву, занимает Белоруссию. Белорусский крестьянин восстает, надеясь освободиться от панского гнета. Белоруссия была в июле и

августе 1812 г. прямо охвачена бурными крестьянскими волнениями, переходившими местами в открытые восстания. Помещики в панике бегут в города — в Вильну к герцогу Бассано, в Могилев к маршалу Даву, в Минск к наполеоновскому генералу Домбровскому, в Витебск к самому императору. Они просят вооруженной помощи против крестьян, умоляют о карательных экспедициях, так как вновь учрежденная Наполеоном польская и литовская жандармерия недостаточно сильна, и французское командование с полной готовностью усмиряет крестьян и восстанавливает в неприкосновенности все крепостные порядки. Таким образом, уже действия Наполеона в Литве и Белоруссии, занятых его войсками, показывали, что он не только не собирался помогать крестьянам в их самостоятельной попытке сбросить цепи рабства, но что он будет всей своей мощью поддерживать крепостников-дворян и железной рукой подавлять всякий крестьянский протест против помещиков. Это согласовалось с его политикой: он считал польских и литовских дворян основной политической силой в этих местах и не только не желал их отпугивать, внушая их крестьянам мысль об освобождении, но и подавлял своей военной силой огромные волнения в Белоруссии.

«Дворяне этих губерний Белоруссии… дорого заплатили за желание освободиться от русского владычества. Их крестьяне сочли себя свободными от ужасного и бедственного рабства, под гнетом которого они находились благодаря скупости и разврату дворян. Они взбунтовались почти во всех деревнях, переломали мебель в домах своих господ, уничтожили фабрики и все заведения и находили в разрушении жилищ своих мелких тиранов столько же варварского наслаждения, сколько последние употребили искусства, чтобы довести их до нищеты. Французская стража, исходатайствованная дворянами для защиты от своих крестьян, еще более усилила бешенство народа, а жандармы или оставались равнодушными свидетелями беспорядков, или не имели средств, чтобы им помешать»1 — таково, например, показание А. Х. Бенкендорфа (тогда полковника в отряде Винценгероде). Таких показаний немало.

Маршал Сен-Сир, проделавший кампанию 1812 г., прямо говорит в своих воспоминаниях, что в Литве уже определенно начиналось движение крестьян: они выгоняли помещиков из усадеб. «Наполеон, верный своей новой системе, стал защищать помещиков от их крепостных, вернул помещиков в их усадьбы, откуда они были изгнаны», и дал им своих солдат для охраны от крепостных. Крестьянское движение, которое уже кое-где (в западных губерниях) стало принимать очень резко выраженный характер, было беспощадно удушено самим Наполеоном и в Литве, и в Белоруссии. 2

Конечно, классовая борьба, борьба крепостного крестьянства против помещиков, не прекращалась и в 1812 г., как она не прекращалась ни на один год, ни на один месяц и до и после 1812 г. Но изгнание врага из пределов России сделалось для русского крестьянства первоочередной задачей во всю вторую половину 1812 г.

Хищник, вторгшийся в русские пределы, нес крестьянам не свободу, а новые тяжелые цепи. И русское крестьянство это очень хорошо поняло и по достоинству оценило.

Если русское крепостное крестьянство очень скоро удостоверилось, что от Наполеона ждать освобождения не приходится, то отсюда не следует, что в 1812 г. в России не было вовсе крестьянского движения против крепостного права. Оно, бесспорно, было, но не связывало в подавляющем большинстве своих надежд с нашествием. И в архивах и в печатных источниках иногда очень глухо, с нарочитой беглостью и неясностью встречаются указания, намеки, краткие рассказы. Я попытаюсь привести несколько фактов, относительно которых удалось найти ясные, конкретные данные.

Общее впечатление такое: крестьяне в 1812 г. то в одном, то в другом месте восставали против помещиков, как и в предшествующие и последующие годы. Но наличие неприятельской армии в стране, конечно, не усиливало, а, напротив, ослабляло движение

против помещиков. Беспощадно грабящий неприятель решительно отвлекал внимание крестьян от помещиков, и мысль о грозящей гибели России, о порабощении всего русского народа иноземным хищником и насильником все более выступала на первый план. Нужно к этому прибавить, что и помещики очень сильно присмирели в 1812 г. и со своей стороны старались не раздражать и не очень обижать крепостных. Очень многие из помещиков просто убегали из своих деревень в столицы и в губернские города, и о них в оставленных поместьях ничего не было слышно, а приказчики и управляющие тоже вели себя без «господ» совсем не так, как всегда. Необходимо тут же отметить, что народ и в деревнях и в Москве часто негодовал на то, что «господа» убегают от неприятеля, вместо того чтобы оказать сопротивление. Чувство родины разгорелось в народе в особенности после гибели Смоленска. Армия Наполеона нигде решительно, даже в Египте, даже в Сирии, не вела себя так необузданно, не убивала и не истязала население так нагло и жестоко, как именно в России. Французы мстили за пожары деревень, сел и городов, за сожжение Москвы, за непримиримую вражду со стороны русского народа, которую они ощущали от начала до конца в течение всего своего пребывания в России.

Разорение крестьян проходившей армией завоевателя, бесчисленными мародерами и просто разбойничавшими французскими дезертирами было так велико, что ненависть к неприятелю росла с каждым днем.

Рекрутские наборы в России следовали один за другим и встречались народом не только безропотно, но с неслыханным и невиданным прежде одушевлением.

Интересно проследить обстоятельства всех наборов, вплоть до набора 12 декабря 1812 г. Тогда было повелено собрать во всем государстве по восьми человек рекрут с каждых пятисот человек.

Это был, считая с ополченскими наборами, фактически уже третий «общий» набор (по крайней мере для некоторых губерний).

В обычное время это была ненавистная и страшная рекрутчина, теперь, после гибели Москвы, набор возбуждал в народе совсем другие чувства, которым изумлялись и которыми восхищались очевидцы. «В Тамбове все тихо… До нас доходит лишь шум, производимый рекрутами. Мы живем против рекрутского присутствия, каждое утро нас будят тысячи крестьян: они плачут, пока им не забреют лба, а сделавшись рекрутами, начинают петь и плясать, говоря, что не о чем горевать, что такова воля божья. Чем ближе я знакомлюсь с нашим народом, тем более убеждаюсь, что не существует лучшего…» — так писала 30 сентября 1812 г. М. И. Волкова своей подруге В. И. Ланской. Тамбову и Тамбовской губернии в это время не угрожало никакой опасности, но раздражение и чувство обиды за разоряемую и унижаемую Россию были налицо и проявлялись в этих самых людях, которые жили в нужде и крепостной неволе. Современники и очевидцы не могут иной раз этому достаточно надивиться, но самый факт удостоверяют категорическим образом. Мы знаем, как вели себя под Смоленском, при Бородине, под Малоярославцем те рекруты, которые «пели и плясали» от радости, когда их брали в солдаты. Они-то и заставили Наполеона поставить русских по личному мужеству в боях выше всех народов, с которыми ему пришлось сражаться. А с каким народом ему не приходилось сражаться?

Таковы были наиболее характерные настроения 1812 г. Но при существовании крепостного строя, разумеется, не могли местами не обнаружиться и другие течения.

Конечно, Наполеон явно фантазировал и преувеличивал, когда говорил о «многочисленных деревнях», просивших его освободить их, но, несомненно, не могло не быть единичных попыток такого обращения к нему, пока еще не все крестьяне удостоверились, что Наполеон и не думает об уничтожении помещичьей власти и что пришел он как завоеватель и грабитель, а вовсе не как освободитель крестьян.

Были там и сям проявления крестьянского движения против помещиков, и я приведу несколько данных об этом, потому что без этого картина 1812 г. была бы неверна и неполна.

Но читатель должен твердо помнить о следующем. Во-первых, не протесты крестьян против помещиков, без чего не обходился буквально ни один год за все время существования крепостного права, а именно относительная редкость этого явления характерны для годины наполеоновского нашествия. Во-вторых, даже при волнениях или восстаниях крестьян, и именно в двух наиболее серьезных случаях (в Тверской губернии и в пензенском ополченском лагере), налицо оказывалось единодушное патриотическое, антифранцузское настроение. Это настолько характерно, настолько знаменательно для описываемого времени, что я приведу эти факты с некоторыми уточнениями. В-третьих, наконец, — и это самое главное, — все эти волнения крестьян в 1812 г. были буквально каплей в море сравнительно с гигантским подъемом чувства гнева к иноземному хищнику, разорителю и оскорбителю России, которое так непреодолимо охватило многомиллионную народную массу и сделалось могучим двигателем победы над страшным врагом.

Крестьяне Московской губернии «говорили дерзости проезжающим и могли бы зайти далее, если бы за ними не было бдительного надзора», — пишет М. И. Волкова своей подруге Ланской, рассказывая о днях, предшествовавших гибели Москвы. Волкова даже жалеет, что все так ругают Ростопчина, в ее глазах он имеет большую заслугу: «он охранил чернь, которая везде легкомысленна», «охранил» эту «чернь» от «вероломных намерений» Наполеона. Чем же он достиг этого? А вот именно тем, что до последней минуты уверял, будто Москва не будет сдана. Народ не успел взбунтоваться, потому что о сдаче Москвы узнали одновременно со вступлением французского авангарда через Дорогомиловскую заставу. За эту ложь во спасение многие дворяне вроде Волковой прощали Ростопчину все его грехи.

Все это не вылилось в сколько-нибудь сильное, организованное движение. Уже после Смоленска, а особенно к моменту занятия Наполеоном Москвы, когда окончательно стало ясно, что завоеватель и не думает об освобождении крестьян, даже и эти отдельные проявления крестьянского движения почти прекратились. Нужно сказать, что и по размерам и по характеру крестьянское движение в Литве и Белоруссии, вызванное обманчивыми надеждами на Наполеона, было гораздо более бурным, чем в губерниях коренной России. Как сказано, оно было там задавлено свирепыми усмирениями со стороны самого Наполеона.

Весной 1812 г. в Вологодской губернии началось длительное дело крестьян, проданных помещицей Щербининой надворному советнику Яковлеву. Крестьяне отказались повиноваться Яковлеву, во-первых, ссылаясь на незаконность этой сделки и приводя в доказательство, что будто они должны были остаться в роду графов Воронцовых (Щербинина была урожденная Дашкова и племянница С. Р. Воронцова), а сверх того крестьяне указывали на то, что Яковлев гонит крестьян на свои вятские и пермские заводы. Дело тянулось весь 1812 и часть 1813 г.; правительство не решалось пустить в ход оружие, пока Наполеон был в России. Только в июне 1813 г. был послан в «бунтующую вотчину» Башкирский полк, который стрелял в крестьян и убил 24 человека, переранил гораздо больше и восстановил «порядок». Часть крестьян укрылась в вологодских лесах и лишь постепенно вернулась домой. Несколько зачинщиков (или, как выражаются документы, начинщиков) было отдано под суд и приговорено к 200 ударам кнута. К сожалению, из бумаг не видно, ни сколько именно человек было осуждено, ни сколько из осужденных выжило после наказания. Известно, что даже и 100 ударов было более чем достаточно для умерщвления наказуемого. Стрельба и усмирение произошли лишь в нюне 1813 г.2 То же неповиновение и по тем же причинам оказали Яковлеву крестьяне Череповецкого уезда Новгородской губернии.

Только из нескольких неясных слов в кратком протоколе заседания комитета министров мы узнаем о «неповиновении» заводских (приписанных к заводам) крестьян Пермской губернии;

что это «неповиновение» охватило 20 тысяч человек; что посылалась воинская команда и т. д.3 Зачинщики взяты были под стражу. Что с ними дальше было, неизвестно. В июне 1812 г. «неповиновение» «совершенно прекратилось».

К сожалению, эти известия именно осенью 1812 г. были особенно скупы. Вот образчик: «В Бельском уезде крестьяне восстали непослушанием против своего помещика Лыкошина, его убили, начальник отряда Дебич, по исследовании, двоих велел расстрелять, деревню сожгли, и тем восстановлено послушание»4.

Были волнения и в Тверской губернии, и комитет министров в заседании 24 сентября 1812 г. слушал дело «о взбунтовавшихся крестьянах Волоколамского уезда и об одном священнике, который соучаствовал с ними». Крестьяне «вышли из повиновения», «разграбили господское имение, хлеб, скот, лошадей, убили крестьянина деревни Петраковой из пистолета».

Во всей окрестности крестьяне тоже взбунтовались, и губернатор должен был обратиться к генералу Винценгероде, командующему войсками в Тверском округе. Комитет министров, заслушав дело, положил: «Барону Винценгероде предписать, чтобы он на место к взбунтовавшимся крестьянам отрядил достаточную команду и, изыскав начинщиков возмущения, в страх другим велел их повесить»5. К счастью, Винценгероде разобрался в деле и не только никого не повесил, но выяснил гнуснейшее поведение помещиков и их приказчиков, сознательно подводивших крестьян под обвинение в государственной измене. Посланный им генерал-майор Бенкендорф донес следующее (донесение на французском языке, конечно, потому что русского языка Винценгороде не знал): «Позвольте мне говорить с вами без обиняков. Крестьяне, которых губернатор и другие власти называют возмутившимися, вовсе не возмутились. Некоторые из них отказываются повиноваться своим наглым приказчикам, которые при появлении неприятеля, так же как и их господа, покидают этих самых крестьян, вместо того чтобы воспользоваться их добрыми намерениями и вести их против неприятеля… Имеют подлость утверждать, будто некоторые из крестьян называют себя французами. Они избивают, где только могут, неприятельские отряды, отправляют в окружные города своих пленников, вооружаются отнятыми у них ружьями и защищают свои очаги… Нет, генерал, не крестьян нужно наказывать, а вот нужно сменить служащих людей, которым следовало бы внушить хороший дух, царящий в народе»6. Слух о возмущении крестьян — лживая выдумка. «Я отвечаю за это своей головой» (подчеркнуто в тексте). «Я пользуюсь крестьянами для получения известий о неприятеле», — так кончает Бенкендорф свое донесение.

Крестьянские настроения в 1812 г. нашли свое отражение в выступлениях крестьян, только что одетых в ополченскую форму, но от этого не переставших быть крестьянами.

Осенью 1812 г. в Пензенской губернии сформировалось ополчение в составе четырех пехотных полков, одного конного и артиллерийской роты. Каждый полк был численностью в 4 тысячи человек. Ополчение здесь, как и всюду, заметим, в 1812 г., удивляло начальников своими быстрыми успехами в деле воинского обучения: «Усердие к пользе отечества производило чудеса», — пишет очевидец, офицер этого ополчения Шишкин в своих выступлениях «Бунт ополчения 1812 г.». Ополчение было готово выступить лишь к 10 (22) декабря, т. е. когда Россия уже была очищена от неприятеля совершенно и когда начинался заграничный поход. Совершенно неожиданно в ополчении вспыхнул бунт. Ратники требовали, чтобы их привели к присяге. Не забудем, что среди множества слухов, носившихся в воздухе в 1812 г., была и весть, будто всех присягнувших ополченцев по окончании войны уже не вернут в крепостное состояние, а объявят свободными. Более чем вероятно, что требование привода к присяге в данном случае и было вызвано этим слухом. Взбунтовался 3-й полк ополчения и в полном вооружении вышел на площадь, — стоял он в городке Инсаре. Полк разгромил квартиру полковника, квартиры офицеров, запер офицеров, полковника избили до крови, так же как майора и других. Выбрав себе из своей среды начальника, солдаты собрались покончить с офицерами. Жители Инсара подверглись также нападениям со

стороны разбушевавшихся ратников и часть их разбежалась из города. Ратники овладели городом и перевели офицеров в тюрьму. Офицеров обвиняли в том, что они скрывали царский указ о присяге и что они не берут дворян в ополчение, а берут крестьян, тогда как царь велел брать дворян. Перед тюрьмой ратники воздвигли три виселицы и объявили офицерам, что всех их перевешают. На четвертый день в город вступили посланные из Пензы войска с артиллерией, и восставшие ратники сдались. Одновременно в других полках этого же пензенского ополчения происходили волнения, но в более слабой форме. Военный суд присудил прогнать сквозь строй, к кнуту, каторжным работам, к ссылке на поселение и к отдаче навсегда солдаты в дальние сибирские гарнизоны в общей сложности более 300 человек. «Три дня лилась кровь виновных ратников, и многие из них лишились жизни под ударами палачей», — пишет очевидец Шишкин, к сожалению, не уточняя в этом месте свое повествование. Остальные (за вычетом этих 300 с лишком) участники восстания были отправлены в поход и уже в походе получили «всемилостивейшее прощение».

Необычайно характерна для всей политической атмосферы 1812 г. цель заговора ратников, выяснившаяся на военном суде (потому что это был заговор, и условлено было всем полкам выступить в один день — 9 декабря): «Цель мятежников заключала в себе безрассудное намерение людей, погруженных в невежество: они хотели, истребив офицеров, отправиться целым ополчением к действующей армии, явиться прямо на поле сражения, напасть на неприятеля и разбить его, потом с повинной головой предстать перед лицо монарха и в награду за свою службу выпросить себе прощение и вечную свободу из владения помещиков». Несмотря на то что репрессии были весьма свирепы, несмотря на пытки («строгие меры при допросах», — пишет благонамеренный Шишкин), ратники не назвали инициатора движения: «Кто был первый, у которого родилась такая нелепая мысль, кто был первый, принявший на себя исполнение дерзкого намерения, того никакие розыски, никакие строгие меры не могли открыть, это осталось навсегда глубокой тайной».

В этом пензенском ополчении бродили мысли и стремления, наиболее характерные для крепостной массы в год нашествия Наполеона, и именно во вторую половину войны, когда уже всякие легенды об освобождении из рук вторгшегося завоевателя крестьянством были окончательно отброшены: изгнать неприятеля из отечества и за это получить свободу по воле царя, которого отделяют от народа дворяне-помещики, скрывающие благодетельные царские указы. Чувство мести к иноземному завоевателю, ненависть к помещичьему классу, монархическая легенда о народолюбивом царе — все это смешалось воедино и породило инсарское движение 1812 г.

Если о восстании полка в Инсаре мы имеем сведения от очевидца Шишкина, то об одновременном выступлении другого полка пензенского ополчения в Саранске нам дает понятие секретное донесение пензенского губернского прокурора министру юстиции, сохранившееся в архиве7. В Саранске движение не приняло таких решительных форм, как в Инсаре. Ополченцы «азартно кричали», что их посылает не царь, а дворяне и что их по пути морят голодом. Было подобное же выступление и в Чембаре, причем в Чембаре ополченцы покорились лишь после стрельбы в них со стороны присланного на усмирение воинского отряда. Было убито при этом пять человек и ранено 23, а уже 24 декабря начала свои действия комиссия военного суда8.

Некоторые уточнения относительно жертв расправы мы находим в архивном деле: оказывается, что засечено до смерти из числа приговоренных к кнуту и шпицрутенам было в Инсаре 34 человека, в Чембаре — 2, а затем попозже еще 2 из чембарских осужденных и 4 из инсарских, а в каторгу пошло 43 человека. Но ни сроков каторги, ни того, куда пошло большинство из 300 арестованных, мы из дела не узнаем.

Мы видим, что ополченцы связывали неразрывно мысль об освобождении от крепостной неволи с мыслью об освобождении родины от вторгнувшегося врага.

Ожесточение, которое было почти незаметно, пока Наполеон не пошел из Витебска на Смоленск, которое стало резко проявляться после гибели Смоленска, которое уже обратило на себя всеобщее внимание после Бородина, во время марша «великой армии» от Бородина до Москвы, — теперь, после пожара столицы, дошло среди крестьян до крайней степени. Крестьяне вокруг Москвы не только не вступали, несмотря на все зазывания и посулы, в торговые сношения с французами, но ожесточенно убивали тех фуражиров и мародеров, которые попадали им живыми в руки.

Когда казаки вели пленных французов, крестьяне бросались на конвой, стремясь отбить и лично уничтожить пленных.

Когда фуражировки сопровождались большим конвоем, крестьяне сжигали свои запасы (выгорали целые деревни) и убегали в леса. Застигнутые отчаянно оборонялись и погибали. Французы крестьян в плен не брали, а иногда, на всякий случай, даже еще только приблизясь к деревне, начинали ее обстреливать, чтобы уничтожить возможность сопротивления.

Партизанское движение, начавшееся, как увидим дальше, сейчас же после Бородина, достигло огромных успехов только благодаря деятельнейшей добровольной, усердно оказываемой помощи со стороны русского крестьянства. Но неутолимая злоба к захватчикам, разорителям, убийцам и насильникам, неизвестно откуда пришедшим, проявлялась больше всего в том, как шли в 1812 г. на военную службу и как сражались потом русские крестьяне.

Народный характер этой войны мог проявиться сразу же в организованных формах, в армии. В Испании народная война приняла совсем иные формы, потому что там долго не налаживалась организация армейских единиц, но по неукротимой ненависти к иноземным насильникам и грабителям, по жажде отдать свою жизнь для уничтожения жестокого и хищного врага, по крепкому сознанию своей внутренней правоты русский народ в своей борьбе против Наполеона ничуть не уступал испанскому.

Дальше, при описании отступления великой армии, я говорю подробно о партизанской воине, об участии в ней крестьян. О подвигах Четвертакова, упорно и ожесточенно боровшегося со своим крестьянским отрядом против французских кавалеристов, о Герасиме Курине, который со своими односельчанами очистил Богородский уезд от мародеров, я говорю дальше также о геройском поведении старостихи Василисы и других партизан, вышедших из рядов крестьянства. Это были позднейшие партизаны. Но следует отметить, что уже и в первую половину войны, когда и главный пионер партизанского движения Денис Давыдов не выступал еще со своим предложением, крестьянская масса уже начинала партизанскую борьбу. Степан Еременко, рядовой Московского пехотного полка, раненный и оставленный в Смоленске, бежал из плена и организовал из крестьян партизанский отряд в 300 человек. Самусь собрал вокруг себя около 2 тысяч крестьян и совершал смелые нападения на французов. Крестьянин Ермолай Васильев собрал и вооружил отнятыми у французов ружьями и саблями отряд в 600 человек. Никто не позаботился систематически, внимательно сохранить для истории память об этих народных героях, а сами они не гнались за славой. Крестьянка деревни Соколово Смоленской губернии Прасковья, оборонявшаяся одна от шести французов, убившая вилами трех из них (в том числе полковника), изранившая и обратившая в бегство трех остальных, так и осталась для потомства Прасковьей, без фамилии. Шестеро неприятелей были вооружены с ног до головы — у нее, кроме вил, ничего в руках не было.

Прасковья во главе небольшой группы крестьян и крестьянок энергично нападала на отряды, высылавшиеся французами для реквизиции хлеба и сена в Духовщинском уезде Смоленской губернии.

С этой «кружевницей Прасковьей» связан эпизод, о котором уже спустя много времени в России узнали из рассказов генерала Жомини, швейцарца по происхождению, бывшего при

Наполеоне губернатором г. Смоленска, а впоследствии перешедшего на русскую службу и прославившегося в качестве военного теоретика и историка наполеоновских войн. Когда при отступлении «великой армии» Наполеон, войдя в Смоленск в ноябре 1812 г., узнал о том, что запасов нет, он в гневе велел немедленно судить и расстрелять интенданта Сиоффа и отдать под суд другого интенданта, Вильбланша. Первого осужденного расстреляли. Но второй спасся: Жомини сообщил императору, что интендантство не так виновато, потому что крестьяне здесь особенно дерзко нападают на французских фуражиров и истребляют их, и тут же доложил императору о неуловимой предводительнице Прасковье и ее поразительных действиях, и тогда Наполеон отменил суд над Вильбланшем.

По единодушным отзывам французов, решительно нигде, кроме одной Испании, крестьянство в деревнях не оказывало им такого ожесточенного сопротивления, как в России. «Каждая деревня превращалась при нашем приближении или в костер, или в крепость», — так писали впоследствии французы.

Непримиримая ненависть тысяч и тысяч крестьян, стеной окружившая великую армию Наполеона, подвиги безвестных героев — старостихи Василисы, Федора Онуфриева, Герасима Курина, — которые, ежедневно рискуя жизнью, уходя в леса, прячась в оврагах, подстерегали французов, — вот то, в чем наиболее характерно выразились крестьянские настроения с 1812 г. и что оказалось губительным для армии Наполеона.

Именно русский крестьянин уничтожил великолепную, первую в мире кавалерию Мюрата, перед победоносным натиском которой бежали все европейские армии; и уничтожил ее русский крестьянин, заморив голодом ее лошадей, сжигая сено и овес, за которыми приезжали фуражиры Наполеона, а иногда сжигая и самих фуражиров.

Именно русский крестьянин создал ту благоприятную обстановку, среди которой могли развиться действия Давыдова и других партизан. И прежде всего это именно он, русский крестьянин, изумлял своим героизмом Наполеона и его маршалов, погибая и в отряде Раевского, и в отряде Неверовского, и с Дохтуровым в Смоленске, и с Багратионом при Бородине, и сгорая живьем в Малоярославце, потому что, повторяю, русская армия сражалась в 1812 г. так, как сражаются лишь только в народной войне.

А война против вторгшегося Наполеона была истинно народной войной. Наполеон подсчитывал в своей стратегии количество своих войск и войск Александра, а сражаться ему пришлось с русским народом, о котором Наполеон позабыл. Рука-то народа и нанесла величайшему полководцу всемирной истории непоправимый, смертельный удар.

По показанию не только Николая Ивановича Тургенева, но и других людей поколения декабристов, русские крестьяне после изгнания неприятеля из России считали, что своей геройской борьбой против Наполеона они «заслужили свободу» и что получат ее от царя. Однако на деле они получили от Александра I не свободу, а единственную посвященную им строчку в манифесте 30 августа 1814 г., где царь «всемилостивейше» благодарил все сословия и давал всем сословиям разные льготы. Вот что гласила эта единственная строка, где речь идет о награде для крестьянства:

«Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду свою от бога».

Русское крестьянство, сражалось ли оно в двенадцатом году в мундирах или в зипуне, стяжало себе бессмертную славу.

Представители национальных меньшинств и отдельных групп не уступали коренному русскому населению в желании защищать общее отечество.

Донские казаки, башкиры, татары, уральские казаки, народы Кавказа сражались, судя по всем отзывам, замечательно стойко и мужественно. Герой Багратион достойно представлял

Грузию. Калмыки (составившие Ставропольский калмыцкий полк) прославились своей храбростью в 1812 г.:

их «летучие отряды» особенно отличились во вторую половину войны, при преследовании отступавшего неприятеля.

Башкиры так полюбились Платову, что он из двухсот особенно отличившихся башкирских наездников образовал особый отряд, и 27 июля 1812 г. у Молева-Болота этот отряд совершил первую свою блестящую атаку на французов.

О евреях Денис Давыдов несколько раз очень настойчиво говорит как о таком элементе населения западных губернии, на который вполне можно было положиться. То же самое повторяет, и совершенно независимо от Дениса Давыдова, изданный правительством уже в 1813 г. «Сборник» записей и воспоминаний об Отечественной войне: «Надлежит сознаться, что евреи не заслуживают тех упреков, коими некогда отягощаемы были почти всем светом… потому что, несмотря на все ухищрения безбожного Наполеона, объявившего себя ревностным защитником евреев и отправляемого ими богослужения, остались приверженными к прежнему своему (русскому) правительству и в возможнейших случаях не упускали даже различных средств доказать на опыте ненависть и презрение свое к гордому и бесчеловечному утеснителю народов…» Денис Давыдов был очень огорчен, когда один храбрец из его отряда, представленный им к Георгию, не миг получить этого ордена исключительно вследствие своего еврейского вероисповедания. 3

Переходя от эксплуатируемого класса к эксплуататорам, от крепостных крестьян к помещикам, к дворянам-душевладельцам, мы видим, что они встретили вторжение Наполеона с разными чувствами.

В первой главе этой работы я упомянул о той вражде, с которой дворянская масса (и особенно аристократическая ее верхушка) относилась к Наполеону. Не говоря уже о последствиях континентальной блокады, свежий пример мог пугать русский помещичий класс. Ведь если после разгрома Пруссии, после Тильзита король Фридрих-Вильгельм III принужден был так сильно расшатать и частично даже отменить крепостные порядки, то не вздумает ли Александр то же самое сотворить и с Россией, которая тоже потерпела поражение под Фридландом и тоже опозорилась в Тильзите? Когда обнаружилось, что этому не бывать, когда удалось даже скромного реформатора Сперанского убрать в Сибирь, крепостники успокоились. Но если их вполне устраивало положение 1811 и первой половины 1812 г., если они радовались ссоре обоих императоров и дипломатическому расхождению, то совсем другое все-таки ощущение возникло, когда страшная военная опасность стала проникать в глубь России. Страх обуял очень многих. Не только ярая ненавистница Наполеона — императрица-мать Мария Федоровна — вдруг стала плакать, ежеминутно собираться куда-то выехать и предлагать царю «преклониться перед волей божьей» и поскорее мириться с Наполеоном, но страх обуял и значительную часть двора и всю дворянскую массу. А что если Наполеон издаст декрет об освобождении крестьян? Что если он возбудит «пугачевщину», во сто крат более страшную, чем та, что была в 1773–1774 гг.? Знали, что крестьяне давно уже прослышали о Наполеоне.

Еще в декабре 1806 г., когда началась новая кровопролитная война с Наполеоном, граф Ростопчин напомнил Александру, что дворянство — «единственная подпора отечества…» — «Сие знаменитое сословие… — продолжал Ростопчин, — жертвует всем отечеству и гордится лишь титлом россиян… Но все сие усердие, меры и вооружение, доселе нигде не известные, обратятся в мгновение ока в ничто, когда толк о мнимой вольности подымет народ на приобретение оной истреблением дворянства, что есть во всех бунтах и возмущениях единая цель черни, к чему она ныне еще поспешней устремится по примеру французов и быв к сему уже приуготовлена нещастным просвещением, коего неизбежные следствия суть гибель законов и царей…» Ростопчин обращает внимание царя на то, что «сословие слуг уже

ждет Бонапарта, дабы быть вольными»9.

Что если «сословие слуг» восстанет? Эта мысль тревожила в 1812 г. почти все дворянство.

«Войска мало, предводители пятятся назад, научились на разводах только, а далее не смыслят… Французы распространяются всюду и проповедуют о вольности крестьян, то и ожидай всеобщего (восстания. — Е. Т.), при этаком частом и строгом рекрутстве и наборах ожидай всеобщего бунта против государя и дворян и прикащиков, кои власть государя подкрепляют… теперь надобно молчать и ожидать, как придет всеобщее резанье», — так кручинился старый крепостник.

Поздеев, поспешивший убраться подальше от французов в Вологду и оттуда изливавший свою грусть в письме к Разумовскому (21 сентября 1812 г.) и к С. С. Ланскому (19 сентября). Он не верит, что дело обойдется без большого крестьянского восстания. «Ибо где теперь безопасность? Потому ли и мужики наши, по вкорененному Пугачевым и другими молодыми головами желанию, ожидают какой-то вольности; хотя и видят разорение совершенное, но очаровательное слово „вольность“ кружит их, ибо мало смыслящих, а прочее все число так, как и во всех состояниях, глупые и невежды».

Поздеев был не одинок в своих опасениях.

«…Но, кажется, ближние и доверенные советники государя… решили вести войну оборонительную и впустить неприятеля в границы наши. Те, кои не знают немецкой тактики и судят по здравому рассудку, весьма сим огорчаются… боятся также, что когда он приблизится к русским губерниям и объявит крестьян вольными, то может легко сделаться возмущение, но что до этого Фулю, Армфельду и прочим!» — так писала средняя помещица-крепостница еще до начала войны, и эта боязнь все усиливалась и усиливалась в дворянстве, по мере того как «немец» Барклай «отдавал» Наполеону одну губернию за другой10.

Но все эти опасения скоро стали рассеиваться. «Я вам сообщаю новое доказательство, что слово „вольность“, на коей Наполеон создал свой замысел завоевать Россию, совсем в пользу его не действует. Русских проповедников свободы нет, ибо я в счет не кладу ни помешанных, ни пьяных, коих слова остаются без действия», — писал Ростопчин министру полиции Балашову 12 июля (30 июня) 1812 г.

«Не нужно скрывать от себя, — читаем в письме, полученном С. Р. Воронцовым в Англии после Бородина и занятия Москвы, — что неприятель, идя на Москву, имел две цели. Одна из них — возбудить некоторое движение среди крестьян, и другая — принудить к миру, угрожая столице.

Он обманулся и в том и в другом. Народ проявил повсюду выдающийся национальный дух. Он сам уничтожает свое имущество, лишь бы не отдать его неприятелю, против которого он вооружился»11.

Крупный купец, ростовский городской голова Маракуев в своих «Записках» дает характерную картину дворянских и крестьянских настроений южных губерний: «В Харькове под конец ярмарки получено печальное известие о взятии неприятелем Смоленска. Бывшие в то время в Харькове военные именно утверждали, что Москва не устоит, что, выключая Смоленск, нет до самой Москвы такой позиции, где бы можно было с выгодой противустать неприятелю. Все таковые рассказы только умножали общее уныние. А глупые афишки Ростопчина, писанные наречием деревенских баб, совершенно убивали надежду публики… Малороссиянская чернь с внутренним удовлетворением принимала успехи французов: в ней еще не угас крамольный дух польский. Но дворяне не отделяли себя от нас и мыслили и действовали как истинные сыны отечества». «Польский дух» был, конечно, тут не при чем: «чернь», то есть крепостные Украины, недавно только закрепощенные Екатериной, ненавидели польских панов уже никак

не меньше, чем русских, и для них нашествие Наполеона в этот его первый период ассоциировалось не с восстановлением Польши, а с крушением крепостного права. «Нельзя умолчать о неудовольствии публики на главнокомандующего армией Барклая де Толли… отступление армии нашей приписывали не иному чему, как явной его измене, между тем как князь Багратион был обожаем публикой: на него они совершенно во всем надеялись…»

Помещики и исправники «вооружили крестьян и начали систематично и искусно действовать против общего врага. Не повторялось более явлений, происходивших в Белоруссии. Мы вступили в недра коренной России. Дворяне, священники, купцы, крестьяне — все были одушевлены одним духом… Повсюду мы встречали только самое геройское самопожертвование…»12.

Это показание очевидца подтверждается многими другими. Многие из наиболее просвященной передовой части этого класса судили не как крепостники Ростопчин или Поздеев, а как Николай Иванович Тургенев.

Декабристы, вышедшие из этого и из ближайшего к этому поколения дворянства, утверждали, что именно победа 1812 г. сделала в их глазах не только крепостное право, но даже и дальнейшее существование самодержавного деспотизма явлением совсем непереносимым в моральном отношении.

Наполеон вышел из пределов России. Но борьба с ним не только не кончилась, а еще разгоралась, и что выйдет из затеваемого Александром заграничного похода, было неизвестно, но пережитая только что гроза заставила кое-кого из самых передовых дворян заговорить о необходимости смягчить условия крепостного права. «Что касается до меня, — пишет какой-то, судя по всему, большой барин, близкий к верхам, в частном письме к Лонгинову, — о увольнении крестьян, я хотя не якобинец, признаюсь, что думаю непременно мало-помалу это сделать. Теперь есть случаи начать в Польше, конфисковав имения всех тех, кои против нас служили, раздать эти имения генералам и офицерам нашим бедным и изувеченным, и раздав оным поставить таксу, выше которой бы с крестьян не брать и чтоб они были вольны. Дареному коню в зубы не смотрят, новые помещики были бы довольны и важная часть крестьян вышла бы из теперешнего несчастнейшего положения»13.

Автор письма сравнивает Пруссию (куда только что вступила русская армия), где после учиненного Наполеоном разгрома в 1806–1807 гг. пало крепостное право, с положением крестьян в России и русской Польше: «Вот здесь в Пруссии, в части, которая давно уже от Польши взята, мужики уже не крепостные, и общее состояние гораздо лучше, нежели в нашей Польше. Говорили, что часть Польши, доставшаяся нам, счастливее тех, кои принадлежат Пруссии и Австрии. Что совершенная ложь. Правда, что помещикам и шляхтам лучше (и они-то дрянь и неблагодарные), потому что они так же дерут с мужиков, как при дурацкой их республике, но крестьянам гораздо хуже». 4

Купечество, тот «средний класс», который Наполеон рассчитывал найти в Москве, обнаружило дух полной непримиримости к завоевателю, хотя Ростопчин в Москве очень подозрительно относился к купцам-раскольникам и полагал, что они в душе ждут чего-то от Наполеона. Во всяком случае никаких торговых дел с неприятелем (очень этого домогавшимся) купцы не вели, ни в какие сделки с ним не входили и вместе со всем населением, которое только имело к тому материальную возможность, покидали места, занятые неприятелем, бросая дома, лавки, склады, лабазы на произвол судьбы. Московское купечество пожертвовало на оборону 10 миллионов рублей — сумму по тому времени огромную. Были значительные пожертвования деньгами от купечества также и других губерний.

Пожертвования были очень значительные. Но если часть купечества очень много потеряла от великого разорения, созданного нашествием, то другая часть много выиграла.

Многие купеческие фирмы «жить пошли после француза». Мы уж не говорим о таких взысканных фортуной удачниках, как Кремер и Бэрд (знаменитый потом фабрикант), разжившихся на поставках ружей, пороха и боеприпасов.

На чрезвычайном заседании комитета министров 9 сентября было решено выписать из Англии пороху 40 тысяч пудов и 50 тысяч ружей. Выписку этих вещей брали на себя коммерции советник Кремер и заводчик Бэрд. Цена за пуд пороха была ими поставлена 29 рублей (серебром), за каждое ружье — 25 рублей14. Цены эти были очень и очень хорошие — не для казны, но для получивших этот заказ на поставку.

Но и «средние» подрядчики, доставлявшие армии сено, овес, хлеб, сукно, кожу, «охулки на руку не клали» и жили с армейскими «комиссионерами» и «комиссарами» (интендантами) в дружбе, любви и совете. По военному времени торговаться много с поставщиками и подрядчиками не приходилось, проверять их счета было некогда. Генерал Ермолов только помечтал «сжечь» уличенного им вора-интенданта. О «сожжении» или хотя бы уголовном преследовании купцов-поставщиков речь могла идти лишь в совсем исключительных случаях (да и то уже тогда, когда война давно окончилась).

Справедливые нарекания посыпались в 1812 г. на купечество за громадный и внезапный рост цен на все товары вообще и на предметы первой необходимости в частности. Знаменитые, всегда и всеми авторами цитируемые стихи применимы были не только к Петербургу, где они возникли: «Лишь с Англией разрыв коммерции открылся, то внутренний наш враг на прибыль и пустился. Враги же есть все те бесстыдные глупцы, грабители людей, бесчестные купцы» и т. д.

Эти стишки сложены (о чем иногда забывается) не по поводу воины с Наполеоном, а в предшествующие годы, в годы континентальной блокады, но истинную популярность приобрели они в 1812 г., когда все вздорожало в совершенно неслыханных размерах. Дело было не только в полном прекращении ввоза товаров из-за границы, но и в огромных закупках и заготовках для армии и в обширных спекуляциях на этой почве. К этому нужно прибавить разорение занятой неприятелем территории, уничтожение промышленных предприятий, истребление посевов и урожая. В Смоленске. в Москве, в Вязьме, в Гжатске, в Можайске все фабрики без исключения были уничтожены огнем или дотла разграблены.

Рабочих в тогдашней России числилось около 150 тысяч человек (в 1814 г. — 160 тысяч). Рабочие были большей частью крепостными и работали на фабриках своих помещиков или на предприятиях купцов, которым помещики передавали крестьян на определенные сроки, часть же рабочих была и вольнонаемной. И те и другие в большинстве случаев были тесно связаны с деревней, и когда пришла гроза двенадцатого года, рабочие занятых неприятелем мест разбежались по деревням. Очень сильно спекулировали и на предметах вооружения. Спекуляция эта получила новый толчок после посещения Москвы царем. До приезда царя в Москву и до его патриотических воззваний и объявления об ополчениях сабля в Москве стоила 6 рублей и дешевле, а после воззваний и учреждения ополчений — 30 и 40 рублей; ружье тульского производства до воззваний царя стоило от 11 до 15 рублей, а после воззваний — 80 рублей; пистолеты повысились в цене в пять-шесть раз. Купцы видели, что голыми руками отразить неприятеля нельзя, и бессовестно воспользовались этим случаем для своего обогащения, — так свидетельствует несчастный Бестужев-Рюмин, который не успел в свое время выехать из Москвы, попал в наполеоновский «муниципалитет», старался там (конечно, без существенных результатов) защитить жизнь и безопасность оставшейся кучки русских, а в конце концов после ухода французов был заподозрен в измене, подвергся преследованию и нареканиям.

Уже в декабре московские купцы стали подавать правительству заявления об убытках от нашествия. Реестры при этом составлялись очень подробные. Начинались многие эти заявления одной и той же курьезной формулой, очевидно, пущенной в ход каким-нибудь

грамотеем-приказным, зарабатывавшим по купечеству на составлении просьб и иных бумаг: «Известный всем неприятель, вторгнувшись в Москву, пожег в ней домы и купеческие ряды, в числе которых сгорело на великотысячную сумму и моего разного товара»15. Последствий эти прошения (как общее правило) не имели.

Есть свидетельства о денежных пожертвованиях в 1812 г. и от дворянства, но в большинстве случаев нельзя принимать за чистую монету все эти помещичьи заявления о пожертвованиях, приносимых на алтарь отечества. Вот, например, помещики Невельского уезда Витебской губернии заявили (уже после войны), что они ставили продовольствие для русских войск из чистейшего патриотизма и не желают получать за это деньги, но скептический витебский губернатор Лешерин фон Герцфельд доносит сенату: «Они (помещики. — Е. Т.), описывая, что все исполняли единственно из верноподданнической ревности, между прочим нечувствительно ведут, чтобы им за перевозку овса и каких-то других предметов сделали уплату, а также уволили бы и от взноса податей, которых, может быть, больше следует с них взыскивать, нежели сколько получить им от казны за поставленные ими припасы. Следственно, мысли их стремятся к тому, чтобы под видом верноподданнического пожертвования приобресть себе сугубое вознаграждение»16. Вчитываясь в подобные документы, мы часто замечаем, куда «нечувствительно ведут» некоторые патриотические заявления.

Конечно, были и мелкие, обыденные, житейские интересы и узко личные помышления, и как курьезен иногда бывает этот калейдоскоп действительной жизни, когда читаешь некоторые документы! Вот перед нами письмо, помеченное из лагеря в Тарутине 30 сентября 1812 г. Москва уже сдана и сгорела. Наполеон в Кремле. Генерал Лавров пишет в Петербург Аракчееву: «Должно, наконец, отдать справедливость русским, что они ни в каком положении не унывают; пламенное их усердие непременно. По истине вам скажу, что не слыхал ни одного человека, жалующегося о потере своей, всякий стремится к одному предмету, дабы Россию избавить от нашествия вражия. Умы до такой степени воспламенены, что генералы, офицеры, солдаты и мужики лучше согласятся погребстись под развалинами отечества своего, нежели слышать о мире… При помощи всевышнего отметим неприятелю — вот цель всех наших желаний — и потом поедем на отдых. А между тем сделайте одолжение, милостивейший благодетель мой, попросите Гурьева, дабы он предписал, что

всемилостивейше пожалованная мне земля в Козельском уезде отдана была калужской казенной палатой, которая, кажется, и по сие время не извещена».

Это простодушное «а между тем» с прямым переходом от Наполеона, у которого нужно вырвать Россию, к калужской казенной палате, у которой нужно вырвать «пожалованное» имение, очень типично и для класса, к которому принадлежал автор письма, и для момента. Ведь он явно одинаково искренен и в желании победить Наполеона и в усилиях сломить сопротивление калужской казенной палаты.

Кстати отмечу, раз уже упомянуто имя Аракчеева, еще и следующее: Аракчеев, никогда даже и на сотню верст не приблизившийся ни к одному опасному месту за всю войну, хотя он был генералом и состоял на действительной службе, отличался, кроме исключительной трусости, еще необычайным своекорыстием и постоянно затруднял власти жалобами и ябедническими бумагами, имеющими целью избавить его, «как новгородского помещика», от каких-либо вызывавшихся войной чрезвычайных расходов и платежей.

Конечно, воровавшие интендантские чиновники и грабившие казну помещики находили себе в Петербурге стойкого покровителя в лице Аракчеева. Характернейшую историю передает нам в своих записках сурово-правдивый Сергей Григорьевич Волконский, будущий декабрист, который служил в 1812 г. под начальством генерала Винценгероде, старавшегося по мере сил бороться против всех этих казнокрадов:

«Но вопль чиновников, которым препятствовал Винценгероде делать закупы по фабулезным (сказочным. — Е. Т.) ценам, и таковой же вопль господ помещиков, которые как тогда, так и теперь и всегда будут это делать, кричать о патриотизме, но из того, что может поступить в их кошелек, не дадут ни алтына, — этот вопль нашел приют в Питере, и на эти жалобы, хотя в выражениях весьма учтивых, от графа Аракчеева был прислан Винценгероде запрос. Имея рыцарские чувства, Винценгероде, получив его, вспылил, не отвечал графу, но, написав письмо прямо государю, приказал мне немедленно отправиться с этим письмом в Петербург». Князь Волконский тотчас отправился к царю и был им принят. Дело было в октябре 1812 г. Александр предложил ему три вопроса, и Волконский так, по трем пунктам, и излагает вопросы царя и свои ответы: «1) Каков дух армии? Я ему отвечал: Государь! От главнокомандующего до всякого солдата все готовы положить свою жизнь к защите отечества и вашего императорского величества. 2) А дух народный? На это я ему отвечал: Государь! Вы должны гордиться им: каждый крестьянин — герой, преданный отечеству и вам. 3) А дворянство? Государь, сказал я ему: я стыжусь, что принадлежу к нему. Было много слов, а на деле ничего».

Таковы были впечатления правдивого и беспристрастного свидетеля. Не менее интересна развязка дела с жалобой Винценгероде: Александр I, отлично понимая, что Винценгероде совершенно прав и что Аракчеев — покровитель воров и казнокрадов, стал на сторону Аракчеева. «Вот тебе письмо к Винценгероде, он поймет меня и убедится, что имею полное уважение и доверие к нему, но в ходе дел административных надо давать им общий ход…» Что означает эта умышленно темная фраза? А вот что: пусть Винценгероде не тревожится неприятными для него бумагами и пусть впредь «кладет их под красное сукно». То есть, значит, пусть не обращает внимания на запросы Аракчеева. Это — с одной стороны. А с другой стороны — царь тут же прибавил, заканчивая разговор с князем Волконским: «Через несколько часов потребует тебя для отправления граф Алексей Андреевич (Аракчеев. — Е. Т.), — ты не говори, что я тебя требовал к себе и что ты получил от меня конверт для вручения Винценгероде». Эти слова подчеркнуты самим С. Г. Волконским, который прибавляет: «Я указываю на эти последние слова, как на странный факт того, что государь себя подчинял какой-то двуличной игре с Аракчеевым и как доказательство силы Аракчеева у государя».

Волконскому не суждено было передать эту странную беседу с царем генералу Винценгероде: пока он ехал из Петербурга в действующую армию, Винценгероде был взят в плен и, как читатель увидит дальше, чуть было не расстрелян Наполеоном. Но все равно — ясно, что ни Винценгероде и никто из подобных ему борцов за интересы казны ни малейшей поддержки со стороны царя не имели, и помещики могли и впредь спокойно продавать русской армии продукты по «фабулезным ценам», чувствуя за собой прочную защиту в лице «новгородского помещика» Аракчеева. Ни с этим «новгородским помещиком», ни с другими помещиками вообще Александр Павлович никогда не считал благоразумным ссориться, хотя очень хорошо понимал, что Винценгероде прав в своих действиях, а князь Волконский искренен в своих общих отзывах.

У Аракчеева пред глазами были высокие образцы для подражания. Наиболее резкий контраст героическому самопожертвованию народных масс являло то, что происходило в верхах. Ограничимся одним, но зато особо показательным примером.

Царский брат цесаревич Константин Павлович, укрывшись от войны в Петербурге, времени даром не терял. Он представил в Екатеринославский полк 126 лошадей, прося за каждую 225 рублей. «Экономический комитет ополчения сомневался, отпустить ли деньги, находя, что лошади оных не стоят». Но государь приказал, и Константин получил 28 350 рублей сполна, а затем лошади были приняты: «45 сапатых застрелены немедленно, чтобы не заразить других, 55 негодных велено продать за что бы то ни было, а 26 причислены в полк». Это было единственной «услугой», оказанной отечеству Константином Павловичем в 1812 г. В. И. Бакунина в своих интимных заметках говорит по поводу этого поступка Константина, что

«язык недостаточен», чтобы приискать «название истинно выразительное» для подобных деяний; «надобно изобрести новые», достаточно «выразительные» слова, чтобы восславить Константина Павловича так, как он того заслуживает17. 5

Несмотря на постепенно все возрастающее в народе чувство ненависти к врагу, несмотря на отсутствие сколько-нибудь приметных оппозиционных настроений в дворянском классе русского общества, правительство было в 1812 г. неспокойно. Бедственное начало войны, нелепый Дрисский лагерь немца Фуля, где чуть было не погибло все русское войско, погоня французской армии за Барклаем и Багратионом, гибель Смоленска — все это очень волновало умы и в дворянстве, и в купечестве, и в крестьянстве (особенно затронутых нашествием в сопредельных с ними губерниях). Слухи о том, что сам Багратион считает Барклая предателем, что по армии шныряет немец Вольцоген, немец Винценгероде и другие, придавали особенно зловещий смысл этому бесконечному отступлению Барклая и щедрой отдаче неприятелю чуть не половины Российской империи. Сдача и гибель Москвы довели раздражение до довольно опасной точки. Мы видели, в каких выражениях и в каком тоне предостерегала царя его сестра Екатерина Павловна.

Александр был в тревоге, и в такой же тревоге были в этот критический момент окружающие его. Балашову, министру полиции, уже давно не нравились некоторые проявления слишком, так сказать, рассуждающего патриотизма. «Кто это вам позволил, господа?» — так он приветствовал дворян, приезжавших в столицу повергнуть свои чувства «к подножию престола». Так же был настроен и Ростопчин, готовивший, как мы видели, фельдъегерские тройки для слишком активных московских патриотов в июле 1812 г. Корпус жандармов тогда еще не существовал, дело политического выслеживания было поставлено довольно кустарным способом, любители и добровольцы играли значительную роль. Министерство полиции во главе с Балашовым, петербургская полиция во главе с французом Жаком де Сангленом, министр внутренних дел Козодавлев, конкурирующий с Балашовым и де Сангленом, Ростопчин, которого они все ненавидели и который их не терпел, — все эти власти занимались, во-первых, подсиживаньем друг друга, во-вторых, собиранием придворных и великосветских сплетен, в-третьих, перехватыванием чужих писем.

Россия полна была наполеоновскими шпионами обоего пола и всех мастей, и эти шпионы преспокойно сидели в Петербурге, в Москве, в Одессе, в Риге, в Кронштадте вплоть до нашествия, а многие остались и после нашествия и служили верой и правдой Наполеону, когда он был в Москве. Никого из них все эти русские полицейские следопыты не уследили, а между тем сколько было возни с организацией этой слежки! И в какой хаос пришло это дело при военной грозе 1812 г.! Приведу документальные примеры.

Владелец большой суконной и шерстобитной фабрики в селе Бондарях, Тамбовского уезда, француз Лионн был заподозрен в шпионстве в пользу Наполеона. Опасаясь возмущения патриотически настроенных рабочих, центральные и местные власти заботились не столько о том, чтобы обезвредить шпиона, сколько о том, чтобы прикрыть самый факт шпионажа и не довести его до сведения рабочих. Министр внутренних дел писал тамбовскому губернатору: «Весьма опасно, чтобы огласка не довела крестьян-фабричных до возмущения и до остановки работ на фабрике».

После гибели Москвы, когда правительство было особенно неспокойно, оно даже совершило в области расследования внутреннего шпионажа некоторые необдуманные поступки, на которые люди, в этой сфере имевшие и дар и призвание, взирали с большим неодобрением и опасениями. Тут мы наталкиваемся на нечто вроде порицания ученого знатока и специалиста против увлекающихся дилетантов, которые, не изучив техники дела, думают, что можно все взять одними лишь порывами и широкими стремлениями.

В самом деле. Сидит в Нижнем-Новгороде переехавший из занятой Москвы помощник директора Московского почтамта Рунич, тот самый, который впоследствии искоренял

безбожие в Петербургском университете. И вдруг он получает известие из Петербурга, что оттуда циркулярно предложено губернаторам требовать от губернских почтмейстеров подозрительные письма для перлюстрации. Он в смятении. Для многоопытного Дмитрия Павловича Рунича перлюстрация — это не ремесло, которому можно наскоро и кое-как выучиться, но одно из изящных искусств, требующее любовного культивирования, и нельзя первого встречного губернатора к нему подпускать, потому что могут получиться гибельные последствия.

«…Освидетельствование корреспонденции и наблюдение за оною производилось всегда чрез один только почтамт посредством особых чиновников, при перлюстрации употребляемых, и сие делалось так тайно и с толикою осторожностью, что самые экспедиции разбора и отправления почт не ведали того, чья именно корреспонденция наблюдается и какие письма перлюстрации подвергаются», — с горечью и достоинством жалуется Рунич своему министру Козодавлеву. И до сих пор результаты были блестящие: «В доказательство того, что операция сия весьма скрытно производилась, представить можно то, что в течение многих лет самые перлюстрированные письма получавшим оные не подавали малейшего повода к сомнению или подозрению, и правительство чрез внушенную в публике доверенность к почтовому департаменту имело всегда в руках своих средства к таким открытиям, которые при самых усерднейших исследованиях оставались иногда скрытыми. По уважению сих истин и быв удостоверен, что поручение о наблюдении за корреспонденцией, сделанное почтовым конторам, совершенно подорвать может издавна утвердившуюся доверенность публики к почтовому департаменту, ибо губернские конторы ни средств для сего потребных не имеют, да и самое выполнение почтмейстерами предписаний господ губернаторов подвергнуться может огласке, и, следовательно, те лица, за коими наблюдение производиться будет, сделает осторожными, я имею справедливый повод думать, что под сим предлогом и непозволительное даже злоупотребление весьма легко вкрасться может»18.

Эта «внутренняя доверенность» публики к почтамту, которую так ценил Рунич, в самом деле, судя по позднейшим его сетованиям, стала исчезать и заменяться самой «злокачественной» осторожностью со стороны лиц, пишущих письма.

Вообще же помощник московского почт-директора Рунич прямо говорил своему начальнику министру внутренних дел Козодавлеву, что он смотрит на перлюстрацию писем как на главную свою обязанность по службе. Он только скорбит, что нет у людей уже прежней их доверчивости: всё пишут о семейных делах и разных личных расчетах, да еще повадились отправлять по нескольку писем в одном большом пакете на безопасное чье-нибудь имя. Вот тут и следи! «Без сомнения, или по недоверчивости к почтовому месту или с другим каким видом это делается». Словом, никакого чистосердечия у отправителей писем нет, и это крайне затрудняет дело. Если на ком может взгляд остановиться с надеждой, то разве на некоем «Кр.» (приведены только две первые буквы). Он, можно сказать, сам по себе ходячий почтамт. «По связям его со всеми знатными здешними домами и лицами, великому обращению в свете и, можно сказать, особой любезности он имеет (такие. — Е. Т.) средства узнавать и мнения частные и общие слухи, что никто с ним в сем случае поравняться не может». Но, конечно, на «Кр.» надейся, а сам не плошай. «Но, несмотря на то, я не оставлю усугубить всех усилий моих, чтобы открыть подобный сему канал чрез перлюстрацию и особливо счастливым почту себя, если успех в том соответствовать будет и желаниям вашего превосходительства и усердному во всех отношениях стремлению моему»19 и т. д.

Хотя настроение народа было таково, что не было ни малейшей надобности поднимать искусственными мерами вражду к неприятелю, но правительство все же старалось через посредство синода мобилизовать духовенство на дело патриотической проповеди. Наполеоновская армия забирала церковную утварь, пользовалась церковными зданиями как квартирами и нередко как конюшнями. Это давало главное содержание антифранцузской церковной проповеди.

Наполеон приказал широко распространять через лазутчиков и всех вообще, что он не преследует православной веры. Польский переводчик (переводящий с французского слово «император» словом «цесарь») выразил это так: «Что говорят попы о прибытии французов, известно ли им, что Наполеон не сделает воины вере, но только своим неприятелям? Известно ли, что цесарь строго приказал почитать церкви, монастыри, архимандритов и попов?» Эта наполеоновская контрагитация имела чрезвычайно мало успеха, и об осквернении церквей поминалось с возмущением еще долгие годы после нашествия.

Нужно сказать, что в оккупированных местностях оставшееся духовенство, чтобы получить право на богослужение, входило в деловые сношения с неприятельскими властями. Священник Мурзакевич в Смоленске даже встретил однажды Наполеона «с крестом», выйдя ему навстречу, и за это и за другие действия того же порядка подвергся преследованиям после ухода французов. Были и еще подобные случаи в других местах, но от обвинения в измене духовенство все же в конце концов избавилось. Сложнее было положение православного духовенства в Литве и Белоруссии, относительно которых в течение всей войны была общая молва о том, что эти земли навсегда уже отойдут к восстанавливаемой Наполеоном Польше.

Варлаам, архиепископ могилевский, получил 25 июля 1812 г. от маршала Даву приказ привести население Могилева к присяге на верность Наполеону. Архиепископ явился с соответствующей свитой в кафедральный собор и здесь привел народ к требуемой присяге и отслужил молебен с поминовением имени «великодержавного государя французского императора и италийского короля великого Наполеона и супруги его императрицы и королевы Марии-Луизы». То же самое произошло во всех церквах могилевской епархии. Любопытно, что секретарь консистории Демьянович, впоследствии обличавший Варлаама, не советовал Варлааму присягать и приводить к этой присяге по весьма удобопонятной причине: «…поелику французы еще не совершенно овладели Белорусской страной», а другой позднейший обличитель Варлаама, иеромонах Орест, не только тоже приводил к присяге на верность Наполеону, но даже доносил на тех духовных лиц, которые отказывались это делать.

И Варлаам, и Орест, и духовенство, за ними пошедшее, все они были, как и многие, вполне убеждены в конечной победе Наполеона, в отторжении западных губерний от России и хотели полной покорностью по отношению к грозному завоевателю спасти православную епархию от грозившего натиска со стороны католической церкви. Лучше Даву, чем ксендз-официал Маевский, грозивший православному архиепископу; лучше Наполеон, чем римский папа. Так оправдывал Варлаам свой поступок, если не этими словами, то подобной аргументацией по существу20.

Говоря о духовенстве в 1812 г., необходимо отметить еще одну любопытную подробность, прямо относящуюся к деликатной и затейливой проблеме об антихристе. Дело в том, что еще во вторую воину с Наполеоном, зимой и ранней весной 1807 г., синод счел политичным широко поставить с церковного амвона проповедь о том, что Наполеон есть предтеча антихриста. В народе для краткости Наполеона тогда стали именовать просто антихристом, так как «предтеча» — слово трудное и невразумительное. Потом, когда после битвы при Фридланде был внезапно заключен не только мир, но и теснейший дружественный союз между благоверным православным царем и этим самым антихристом, когда оба они публично обнимались и лобызались на тильзитском плоту, когда антихрист получил от царя ленту Андрея Первозванного, а царь получил от антихриста звезду Почетного легиона, то синод приказал духовенству в самом спешном порядке умолкнуть и ни о каких предтечах не сметь отныне и думать. Умолкли. Но как быть теперь, в 1812 г., когда Наполеон повел себя в таком отчетливо выраженном антихристовом стиле: оскверняет церкви, разоряет Россию, жжет Смоленск, жжет и грабит Москву? Очень уж соблазнительно было вспомнить об антихристе, тем более что Наполеон, как сказано, уже в 1807 г. вплоть до Тильзита был по этой части в сильнейшем подозрении. И вот эта проповедь снова сама собой кое-где

началась уже с конца лета 1812 г. Но положительно не везло духовенству с этой темой! Опять пришлось ее оборвать, и притом по самой простой причине: в России тогда и в крестьянстве, и в мещанстве, и в купечестве, и среди православных, и среди раскольников было немало начитанных в писании людей, которых называли начетчиками и которые превосходно знали и Евангелие и Библию и Апокалипсисом интересовались в особенности. Эти начетчики нередко в религиозных спорах сбивали с толку и ставили в тупик не только священников, но и архиереев. Они-то и заставили духовенство продумать до конца эту проповедь о появлении антихриста. Получилось нечто неладное, несуразное и даже определенно вредное.

Дело в том, что в конце концов спохватились: если в самом деле народ в России удостоверится, что Наполеон есть антихрист, то может махнуть рукой на сопротивление, так как ведь антихристу именно и предсказана полная победа и затем тысячелетнее благополучное царствование, а что потом, в 2812 г., антихристу придется круто, так ведь дожидайся этого благоприятного времени! И вот пастырям рекомендуется снять с Наполеона этот выгодный для него навет, будто он — антихрист. Пусть не хвастается: вовсе он не антихрист! «Да не смущается сердце ваше, не унывайте, не думайте, чтоб это был антихрист, особенный человек греха, предреченный в священном писании, что он явится в последние времена… Много в прошедшем времени было таких, о коих также думали, будто они — антихристы, но думали все напрасно… Итак, не думайте вопреки священному писанию и здравому рассудку, что будто Наполеона Бонапарта яко антихриста победить не можно, но он не что иное, как обманщик, воюющий не силой, а хитростью…»

Мы уже отметили, что и без этой агитации настроение народа было непримиримо враждебным по отношению к внешнему врагу, и ненависть против него бушевала ярким пламенем. Правительство все-таки не прекращало полицейских наблюдений.

Но все эти ухищрения политической и иной полиции, добровольных и казенных агентов и сыщиков, почтовых шпионов и перлюстраторов были совершенно бесполезны уже начиная с октября 1812 г., с битвы при Тарутине и с ухода Наполеона из Москвы. Если Александру простили его явную неспособность, его удаление в безопасный Петербург на все время войны, — словом, простили всё только за решимость ни за что не мириться с Наполеоном, — то едва начала выясняться грозящая вражеской армии гибель, едва, еще не веря себе, стали замечать, что Бородино и гибель Москвы оказались вовсе не поражением и концом России, а, напротив, губительными ударами, нанесенными врагу, затих на время ропот и на самого царя и на царское окружение. Об этом именно моменте и писал Пушкин в сожженной им, к несчастью, главе «Евгения Онегина»:

Гроза двенадцатого года Настала — кто тут нам помог? Остервенение народа, Барклаи, зима иль русский бог? Но бог помог — стал ропот ниже…

Царское правительство с Тарутинской битвы могло уже не беспокоиться. Грозный кризис миновал для него благополучно.

А Тарутино было еще только зарницей, предвещавшей грандиозные события, оно было лишь первым симптомом грядущего освобождения России от неприятельского нашествия и совсем пока неясным еще предвестием полного истребления великой армии.

Глава VIII

Тарутино и уход Наполеона из Москвы

1

Сейчас же после пожара Москвы у Наполеона на первый план выступают две задачи: первая и самая важная — непременно добиться здесь же, в Москве, мира; вторая — предохранить от окончательного разграбления солдатами то, что еще из съестных припасов и одежды могло уцелеть в Москве от пожара и вместе с тем (одно с другим было неразрывно связано) спасти расшатанную дисциплину в своей пестрой по составу армии. Обе задачи оказались совершенно невыполнимыми.

Пожар уже утихал в некоторых частях города (в центре), но еще свирепствовал на окраине, когда Наполеон переехал из Петровского замка обратно в Кремль. Тут ему в самый день возвращения в Кремль сообщили, что генерал-майор Тутолмин, начальник Воспитательного дома, просит поставить стражу возле этого учреждения для охраны оставшихся в Москве питомцев. К полной неожиданности, Наполеон не только удовлетворил ходатайство Тутолмина, но и велел 18 сентября пригласить его в Кремль.

Наполеон так начал разговор с Тутолминым 18 сентября:

«Я бы желал поступить с вашим городом так, как я поступал с Веной и Берлином, которые и поныне не разрушены; но россияне, оставивши сей город почти пустым, сделали беспримерное дело. Они сами хотели предать пламени свою столицу и, чтобы причинить мне временное зло, разрушили созидание многих веков… Я никогда подобным образом не воевал. Воины мои умеют сражаться, но не жгут. От самого Смоленска я более ничего не находил, как пепел»1.

В разговоре Наполеон был очень милостив. Говорил о преступности Ростопчина, которому всецело приписывал поджоги. Выяснилось, что генерал-губернатор велел увезти все пожарные трубы, и в этом Наполеон усматривал одну из главных улик. Были и другие: действительные или мнимые показания людей, судившихся в качестве поджигателей. Тутолмин на вопрос императора, не желает ли он еще о чем-нибудь просить, попросил позволения написать рапорт Марии Федоровне, высшей начальнице всех воспитательных домов в России. Наполеон не только позволил, но еще предложил Тутолмину добавить, что он, Наполеон, почитает по-старому Александра и желал бы заключить мир. Тутолмин все это написал в тот же день и отправил с чиновником своего ведомства, которого по именному повелению императора пропустили через передовые посты французской армии.

Уже эта первая попытка была совсем не похожа на обычный образ действий Наполеона, и уже она одна давала понять, что Наполеон чувствует себя не весьма уверенно.

В самом деле, Наполеон всю свою игру вел, рассчитывая на упадок духа и слабость царя и на то, что не сегодня — завтра побежденный Кутузов пришлет к нему парламентера под белым флагом, подобно тому как в июне 1807 г., после Фридланда, к нему явился парламентер от Беннигсена. Но Бородино не было Фридландом. Никакой парламентер не явился. Между тем, если бы Александр согласился теперь на мир, то престиж Наполеона, занявшего Москву и из Москвы диктующего мир России, был бы необычайно упрочен в глазах всей Европы. Какой это был бы мир? Если бы Александр откликнулся сразу, то Наполеон — мы это знаем документально — намерен был требовать отторжения Литвы, подтверждения блокады, союза с Францией. Если бы Александр откликнулся на последующие две попытки, то Наполеон ничего бы не требовал. «Лишь бы честь была спасена», «спасайте честь», — говорил он, отправляя в октябре Лористона. Но царь не ответил ни на одну из трех попыток.

Вторая попытка была произведена Наполеоном, когда еще невозможно было даже по расчету времени надеяться получить ответ от Александра: ровно через два дня после беседы с Тутолминым. Связана эта попытка с именем Ивана Алексеевича Яковлева, отца А. И. Герцена. Об этой попытке мы знаем из французских источников, из первых страниц герценовского «Былого и дум» и из полного текста письма Наполеона к Александру, отправленного через Яковлева. Застрял в Москве этот Яковлев, богатый московский барин и

оригинал, случайно: слишком долго собирался выехать. Семья очутилась в трудном положении, и Яковлев обратился за покровительством к маршалу Мортье. Маршал был знаком с Яковлевым по Парижу и доложил о нем Наполеону; тот велел Яковлеву явиться. Герцен говорит, со слов отца, об этом свидании в первой главе «Былого и дум»: «…Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его (т. е. Наполеона. — Е. Т.) не известны императору. Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победителя. „Я сделал, что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих предложений. Хотят войны, не моя вина — будет им война“».

Тут надо заметить, что Яковлев что-то, очевидно, спутал, рассказывая сыну впоследствии о свидании. Наполеон к Кутузову еще ни разу не обращался, когда говорил с Яковлевым: посылка Лористона произошла после разговора с Яковлевым.

Наполеон сначала было отказал Яковлеву в пропуске. Но когда Яковлев стал настойчиво просить, «Наполеон подумал и вдруг спросил: „Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими“. — „Я принял бы предложение в. в., но мне трудно ручаться“. — „Даете ли вы честное слово, что употребите все средства лично доставить письмо?“ — „Обязуюсь своею честью, государь“».

Наполеон написал 20 сентября письмо Александру, и Яковлев повез его. Письмо было доставлено Александру. Его полный текст напечатан в официальном издании корреспонденции Наполеона2.

Это письмо интересно и в политическом и в психологическом отношении. Наполеон хочет и остаться в позе бесспорного, но великодушного победителя и облегчить царю трудную задачу пойти на переговоры указанием на почти полную невиновность его. Наполеона, в разорении половины России и гибели Москвы. Стремление настроить царя примирительно сквозит особенно в конце письма. Но и начало очень характерно: «Прекрасный и великолепный город Москва уже не существует. Ростопчин сжег его. 400 поджигателей арестованы на месте преступления. Все они объявили, что поджигали по приказу губернатора и директора полиции; они расстреляны. Огонь, по-видимому, наконец прекратился. Три четверти домов сгорело, одна четвертая часть осталась. Это поведение ужасно и бесцельно. Имелось ли в виду лишить его (Наполеона — Е. Т.) некоторых ресурсов? Но они были в погребах, до которых огонь не достиг. Впрочем, как уничтожить один из красивейших городов целого света и создание столетий, только чтобы достигнуть такой малой цели? Это — поведение, которого держались от Смоленска, только обратило 600 тысяч семейств в нищих. Пожарные трубы города Москвы были разбиты или унесены…» Наполеон дальше указывает, что в добропорядочных столицах его не так принимали: там оставляли администрацию, полицию, стражу, и все шло прекрасно. «Так поступили дважды в Вене, в Берлине, в Мадриде». Он не подозревает самого Александра в поощрении поджогов, иначе «я не писал бы вам этого письма». Вообще «принципы, сердце, правильность идеи Александра не согласуются с такими эксцессами, недостойными великого государя и великой нации». А между тем, добавляет Наполеон, в Москве не забыли увезти пожарные трубы, но оставили 150 полевых орудий, 60 тысяч новых ружей, 1600 тысяч зарядов, оставили порох и т. д.

Любопытны последние строки, показывающие поразительное ослепление Наполеона, полное его нежелание стать на точку зрения противника. После всего, что он в России сделал, начиная от перехода через Неман и кончая Москвой, он пишет:

«Я веду войну против вашего величества без враждебного чувства». Он так «великодушен», что «одна записка от вашего величества, до или после последнего сражения, остановила бы

мой поход, и я бы даже хотел иметь возможность пожертвовать выгодою занятия Москвы. Если ваше величество сохраняет еще некоторый остаток прежних своих чувств по отношению ко мне, то вы хорошо отнесетесь к этому письму. Во всяком случае, вы можете только быть мне благодарны за отчет о том, что делается в Москве». Подписано: «Наполеон».

Это письмо, где нет прямого предложения мира, является на деле предложением мира.

Как на донесение Тутолмина, так и на это личное письмо Наполеона Александр не ответил.

Тревога среди маршалов росла. До каких пор сидеть в Москве? Близились холода. Никаких «ресурсов» в московских погребах, о чем писал Наполеон Александру, солдаты не нашли, если понимать под «ресурсами» съестные припасы, но зато нашли они там очень много спиртных напитков: спирта, водки, ликеров, вин. Пьянство шло неимоверное, а хлеба было по-прежнему очень мало, овса и сена почти вовсе не было, лошади падали в Москве тысячами, чуть ли не больше, чем на походе. Ни фальшивые привезенные с собой русские ассигнации, ни настоящие не помогали делу; русские крестьяне не вступали с французами ни в какие разговоры. И, главное, дисциплина французской армии расшатывалась неимоверно. Солдаты, уже не только немецкие, польские, итальянские, но и часть французских, превращались в простых грабителей, но все-таки если у французов дисциплина более или менее сохранялась, то в немецких и итальянских частях она развалилась окончательно.

«Жесточайшие истязатели и варвары из народов, составлявших орду Наполеонову, были поляки и баварцы», — утверждает А. Н. Оленин в «Собственноручной тетради», напечатанной в «Русском архиве» за 1868 г.

Таких показаний немало. Жаловались и на пруссаков, и на вестфальцев, которых наши крестьяне именовали «беспальцами», и на итальянцев. Жалоб на природных французов было, определенно, меньше.

Жители Москвы отличали французов от других народов наполеоновской армии: «Французы настоящие — добрые, ведь их по мундиру и по разговору узнаешь, редко кого обидят; зато уж эти новобранцы всякие у них да немчура никуда не годились»3. Старая гвардия почти вовсе не принимала участия в грабеже.

Дезертирства из стоявшей в Москве армии не было по той причине, что французских солдат, отдалявшихся от своих форпостов, русские крестьяне ловили и убивали. Но с флангов, особенно с северного, вести шли неутешительные.

Вот что сообщил в зашифрованном докладе Наполеону Марэ, герцог Бассано, из Вильны. Дело было в сентябре 1812 г., когда оставленная в Вильне армия только что прочла победоносный бюллетень о Бородинской битве. Эта армия имела еще и продовольствие, и до морозов еще было далеко, — все казалось вполне благополучно. «Маршал Сен-Сир… не надеется уже на баварцев: немногие, сколько их у него осталось, поражены болезнью или упадком духа или охвачены манией дезертирства»4.

С южного фланга приходили известия о более чем сомнительном поведении австрийских «союзников». Их двойная игра становилась вполне ясной.

Плохо было и по всей коммуникационной линии, даже в Могилеве, в Минске, в Витебске. Страшно ослабив «великую армию» оставлением гарнизонов. Наполеон не мог все-таки считать, что его колоссальная коммуникационная линия в безопасности.

В неофициальном письме от 26 октября 1812 г. витебский интендант французской армии Пасторэ писал своему коллеге, виленскому интенданту Биньону: «Французский император дал мне для управления 12 округов, но русский император нашел уместным управлять 8 из них лично или через своих генералов, и, что хуже всего, он не оставляет меня в покое и в

остальных округах. Витгенштейн, которого вы, конечно, знаете, в 6 лье от меня, и на днях казаки в третий раз явились позавтракать в предместье Витебска…»5.

Приходилось Наполеону думать и о покоренной, но ненавидящей его Европе, которая знает, что в России решается и ее участь, и которая все упования возлагает на два народа, не желающие пойти под иго завоевателя: на русский и на испанский.

Испанские дела — эта не закрывающаяся вот уже четыре года, всегда кровоточащая страшная рана на теле завоеванной великой империи — приковывали внимание Наполеона все время. 16 октября он приказывает послать два миллиона франков в Португалию, два миллиона во французскую армию, сражающуюся на севере Испании, полмиллиона — армии, сражающейся в центре Испании, полмиллиона — в Каталонию. Этот приказ не дошел по назначению: его забрали казаки, отбившие портфель с бумагами вместе с одним французским обозом6.

Власть в Москве была организована Наполеоном так: военным губернатором был назначен маршал Мортье, Дюронель — комендантом крепости и города, Лессепс — «интендантом города Москвы и Московской провинции», т. е. гражданским начальником Москвы и окрестностей. Лессепс «выбрал», а Наполеон утвердил 22 человека из русского населения, которые и получили название муниципалитета. Эти люди, против своей воли назначенные, боящиеся прослыть изменниками, решительно никакой власти, конечно, не имели. Лессепс обратился к жителям Москвы с воззванием на французском и на русском языках. Начиналось оно так (я привожу тот русский текст, который был тогда обнародован):

«Провозглашение. Жители Москвы! Несчастия ваши жестоки, но его величество император и король хочет прекратить течение оных. Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступление. Строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возвратить общую безопасность. Отеческая администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет, или градское правление. Оное будет пещись об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе…» и т. д. Лессепс обещал полную безопасность для жизни и охрану имущества всем гражданам Москвы, «ибо такая воля величайшего и справедливейшего из всех монархов». Он предлагал в конце этого любопытного документа повиноваться властям и обещал, что при соблюдении этого условия «слезы» москвичей «перестанут литься». Ровно никакого действия эта бумага, конечно, не возымела.

Нищие, запуганные, ютившиеся где попало русские, оставшиеся в Москве, подвергались на каждом шагу насилиям со стороны солдат. Не проходило ночи без нескольких убийств, остававшихся совершенно безнаказанными. Смрад от неубранных гниющих в домах и на дворах трупов заражал воздух. Но не только русские трупы валялись по домам и дворам. Из позднейших свидетельств мы знаем, что ожесточение русских, оставшихся в Москве, неоднократно выражалось в том, что они подстерегали напившихся и потому бессильных французов и убивали их, если обстановка позволяла надеяться на безнаказанность.

Все это сильно беспокоило и отвлекало мысли императора в те без малого пять недель, которые он провел в Москве.

Чем больше выяснялись результаты московских пожаров, тем серьезнее и настоятельнее перед Наполеоном вставал вопрос о необходимости где угодно искать зимние квартиры, но только не в Москве.

В подсчетах, сделанных тотчас после ухода французов, где перечислены были как сгоревшие улицы, так и уцелевшие, а также и многие дома, дается такой окончательный итог: из 30 тысяч домов, бывших в Москве перед нашествием, после выхода Наполеона из города оставалось «навряд ли 5 тысяч»7.

Наполеоновские чиновники произвели такой же подсчет еще раньше русских, и общий результат приблизительно тот же.

Но Москва была Наполеону еще нужна политически: Европа должна была знать, что Наполеон вынудил Александра подписать мир именно в Москве. Необходимо было сохранить позу победителя, а для этого нужно было дождаться ответа царя на посланное через Яковлева письмо.

Заботы о порядке в городе и в армии, прием курьеров с бумагами из Европы и из занятых местностей России — все это не могло отвлечь мысли Наполеона от главной его тревоги. Почему нет ответа? Обманул ли Яковлев? А если он доставил письмо, то почему Александр не отвечает? Уже прошло время, которое было бы нужно для ответа. Но ответа не было. Наполеон терял дни, золотые дни прекрасной, солнечной, теплой осени, стоявшей в 1812 г. во всей средней полосе России, и у нас есть доказательства, что он не хуже маршалов понимал опасность дальнейшего пребывания в Москве, если придется продолжать войну. Что-то следовало предпринять. Удобнее всего было приписать молчание Александра тому, что Яковлев, вероятно, не мог или не хотел доставить письмо. Наполеон решился на новый шаг, несравненно более важный, чем разговор с Тутолминым или письмо, данное Яковлеву. Этому предшествовало одно серьезное совещание с маршалами. Несколько дней он был в раздраженном состоянии, по пустякам набрасывался на маршалов, гневался на свиту.

3 октября, после бессонной ночи, он приказал маршалам явиться в Кремль и заявил им: «Нужно сжечь остатки Москвы, идти через Тверь на Петербург, куда явится к армии и Макдональд…» Но маршалы упорно молчали. «Какой славой мы будем превознесены и что весь свет скажет, когда узнает, что мы в три месяца завоевали две большие северные столицы!» Маршалы возражали. Они считали этот план невыполнимым. «Идти навстречу зиме, на север» с уменьшившейся армией, имея в тылу Кутузова, немыслимо. Наполеон умолк. Он не очень и отстаивал этот план. Но в тот же день он позвал Коленкура. Он сначала повторил утреннее свое предположение относительно похода на Петербург. Коленкур продолжал свои возражения. Тогда Наполеон предложил ему ехать к Александру с предложением мира. Коленкур снова стал противоречить, указывая, что это ни к чему не поведет и будет, напротив, очень вредно, потому что Александр убедится в трудном положении французов. «Хорошо, — круто оборвал его император, — в таком случае я пошлю Лористона». Лористон почтительно повторил то же самое, что говорил Коленкур. Но Наполеон прекратил спор прямым повелением немедленно ехать к Кутузову просить пропуска для дальнейшей поездки Лористона в Петербург к царю. «Мне нужен мир, он мне нужен абсолютно во что бы то ни стало, спасите только честь». Императорский приказ прекращал всякие разговоры и возражения. Лористон отправился к Кутузову. 2

5 октября утром на русских аванпостах появился под белым флагом французский офицер с извещением, что прибыл генерал маркиз Лористон, желающий иметь свидание с фельдмаршалом Кутузовым.

Это известие породило необычайное волнение в русской главной квартире. Для того чтобы хорошо понять не только причину этого волнения, но и очень многое во всех событиях конца войны 1812 г., необходимо вдуматься в то разногласие, которое делило кутузовский штаб и лиц кутузовского окружения на два безнадежно непримиримых лагеря. Быть может, в данном случае это выражение неточно. Один человек не может составлять «лагерь». Кутузов был одинок, генералы-исполнители Дохтуров, Коновницын, Маевский в счет не идут, а против него были Беннигсен и Вильсон открыто, Ермолов, Платов и Толь тайно. И за спиной этого вражеского стана Кутузов всегда угадывал невидимое присутствие самого царя.

Сдача Москвы очень искусно была использована врагами Кутузова. Беннигсен дал несколькими путями знать в Петербург, что у русской армии были еще шансы отстоять столицу, но светлейший князь по слабости и робости не захотел.

Барклай, тактику которого продолжал Кутузов, был обижен и раздражен именно тем, что Кутузов занял его место, и не думал поэтому поддерживать фельдмаршала. Талантливый, умный, но глубоко неискренний Ермолов переметнулся на сторону врагов Кутузова, но сделал это умно и осторожно.

В первые дни после Бородина перед Кутузовым еще робели и смирялись, но постепенно, по мере того как кружным путем приходили известия о возмущении Александра, о его вражде и полном недоверии к Кутузову, люди смелели и языки их развязывались.

Вместе с тем именно после Бородина стратегический талант Кутузова развернулся во всем блеске. Ни с кем не советуясь (он не доверял нисколько ни Беннигсену, ни Барклаю), Кутузов приказал армии отступать от Москвы на Рязанскую дорогу. Выйдя на Рязанскую дорогу, Кутузов вдруг круто повернул к югу, вышел на старую Калужскую дорогу и пошел к Красной Пахре, а одновременно велел князю Васильчикову отправить казачью кавалерию (два полка) по прежнему, рязанскому, направлению, стремясь сбить с толку преследовавшего русскую армию от Москвы Мюрата. Несколько дней подряд (драгоценнейших дней для Кутузова) эти казаки прекрасно выполняли свою задачу, и только 22 сентября французы убедились, что идут по ложному следу, и повернули обратно. Уже 19-го вся кутузовская армия была в Подольске, а на другой день, отдохнув, продолжала свой путь круто к югу, к Красной Пахре, на старой Калужской дороге. Тут и закончился искусный, глубоко продуманный фланговый марш Кутузова с этим крутым поворотом почти на глазах обманутого противника с Рязанской на Калужскую дорогу, «бессмертный фланговый марш… решивший участь кампании»8, как называет его один из участников дела.

Этим смелым передвижением Кутузов прикрыл Калугу и южные губернии от возможного движения туда Наполеона.

Однако эти распоряжения Кутузова подверглись очень злобной критике со стороны его (навязанного ему) начальника штаба Беннигсена. Дальше пошло еще хуже. Дело в том, что хотя и с сильным запозданием, но Мюрат открыл, конечно, военную хитрость Кутузова, заставившего французскую кавалерию даром терять время на Рязанской дороге, и, устремившись по Калужской дороге, стал теснить кутузовский арьергард. Принять сражение ни у Красной Пахры, ни в окрестностях Красной Пахры Кутузов не желал. Беннигсен со всеми своими приверженцами резко высказался против дальнейшего отступления к югу. В эту пору в штабе, кроме двух-трех человек, никто не понимал всего огромного и благого значения кутузовских передвижений, и фельдмаршал был совсем одинок. Беннигсен, Буксгевден, Платов и за ними их сторонники, ничего вначале не понимая в этом фланговом марше с Рязанской дороги на Калужскую, громко говорили о «бессмысленных мотаниях» старого фельдмаршала. Это не помешало им потом убеждать общество, что, собственно, и они тоже были за этот план.

Кутузов убеждал, что нужно отступить сильно южнее, например, к селу Тарутино, потому что чем ближе стать к Калуге, тем легче будет контролировать три дороги, ведущие из Москвы в Калугу, по каждой из которых в любой момент может двинуться Наполеон. Несмотря на всю ясность и целесообразность этого плана, Беннигсен с таким азартом принялся настаивать, что нужно оставаться и принять бой с Мюратом на Красной Пахре, что Кутузов вдруг раздраженно заявил, что на сей раз слагает с себя власть и предоставляет Беннигсену распоряжаться и отдает ему сейчас весь свой штаб, всех адъютантов, всю армию. «Вы командуете армией, а я только доброволец»9, - заявил он Беннигсену и предложил ему немедленно искать позицию для боя с Мюратом тут, у Красной Пахры

Беннигсен с 9 часов утра до полудня в сопровождении всего кутузовского штаба обыскивал окрестности, ничего не нашел и, вернувшись, признался, что сражаться тут невозможно. «В таком случае я беру снова на себя командование. Господа, по-прежнему ко мне, — заявил Кутузов, обращаясь к генералам. — Петр Петрович, пишите диспозицию к отступлению», —

приказал он своему дежурному генералу Коновницыну.

Русская армия двинулась тут же к югу, к селу Тарутино, и расположилась в селе и в окрестностях. Кутузов со всем штабом поместился в деревне Леташевке, в 5 верстах южнее Тарутина. Это было 4 октября.

Весь этот эпизод ясно показал, что Беннигсен и вся его (очень большая) враждебная Кутузову партия в штабе по существу вовсе не знают, как исправлять «ошибки» Кутузова, но кричат об этих «ошибках» исключительно с целью поскорее добиться смещения главнокомандующего. С другой стороны, этот прием Кутузова — уступка своей власти хотя бы на один день врагу Беннигсену — показывает, что в этот момент фельдмаршал еще не чувствовал себя в силах применить резкие меры, распорядиться своей беспредельной по закону властью так, как хотелось бы. Есть и еще признак, что в эти дни Кутузов решил терпеть то, чего дальше он не потерпел бы.

Мы видели, что Кутузов при встрече с Ростопчиным у моста в день ухода из Москвы не обратил на него и его слова никакого внимания. Теперь Ростопчин тоже осмелел и хоть и уехал, но решился учинить на прощанье фельдмаршалу дерзость. Ростопчин после сдачи Москвы больше двух недель слонялся по главной квартире Кутузова, и тот ни разу не пожелал его принять. Тогда генерал-губернатор написал фельдмаршалу небольшое по размерам письмецо, в которое постарался вложить как можно больше ядовитых оскорблений. Он упрекает, что столица «скоропостижно отдана вами злодею», что Кутузов велел у всех жителей Московской губернии забрать хлеба по два пуда с души и все сено и весь скот без остатка, «о чем я только что вчерашнего числа узнал, посторонним образом, хотя более полумесяца нахожусь при главной квартире, где наравне с армией лишен чести видеть лицо вашей светлости». С полной готовностью он подчеркивает, что проживает он около Кутузова нисколько не по доброй воле, а исключительно по возложенным на него от государя поручениям: «И коль скоро исполню оные, то поеду в местопребывание государя, удалясь от тех несчастных мест, где счастье войск и отечества зависит от подписи вашей». Написав все это, Ростопчин, очевидно, пожалел, что вышло мало. И он прибавил «постскриптум»: «Ваша светлость, рассудя за благо оставить и Московскую губернию так, как вы оставили Москву, должность моя командующего с выступлением войск окончилась, и я, не желая ни быть без дела, ни смотреть на разорение и Калужской губернии, ни слышать целый день, что вы занимаетесь сном, отъезжаю в Ярославль и в Петербург. Желаю как верноподданный и истинный сын отечества, чтобы вы занялись более Россией, войсками, вам вверенными, и неприятелем; я же, с моей стороны, благодарю вас за то, что не имею нужды никому сдавать ни столицы, ни губернии, и что я не был удостоен доверенности вашей». Кутузов ничего не ответил и все-таки не принял Ростопчина.

Ростопчин исчез, но неприязнь к старому фельдмаршалу не исчезла из его главной квартиры.

Наиболее враждебную позицию из штабных генералов занял Беннигсен, начальник штаба, навязанный Кутузову. Вот типичная сцена.

Дальнейший план Кутузова состоял в том (он не скрывал этого даже от своего юного ординарца князя Голицына), чтобы «выиграть время и усыпить елико можно долее Наполеона, не тревожа его из Москвы… Все, что содействовало к цели сей, было им предпочитаемо пустой славе» иметь успех в нападении на выдвинувшийся из Москвы наполеоновский авангард. Сообразно с этим Кутузов и распорядился занять позицию южнее, чем хотел Беннигсен. Он сидел на скамейке и диктовал соответствующие распоряжения, как вдруг приехал с левого фланга отступающей русской армии Беннигсен. Тут начался спор, который ничем положительно кончиться не мог не только потому, что оба собеседника ненавидели друг друга, но и потому, что Беннигсен ждал обещанного раньше Кутузовым нападения на французский авангард, и с этой точки зрения Беннигсен был прав, заявляя, что

выбранная Кутузовым позиция невыгодна. А Кутузов, вовсе не думая на самом деле о нападении, со своей точки зрения, с точки зрения спокойного выжидания, тоже был прав. «Разговор продолжался долго, — вспоминает очевидец Голицын, — сперва рассуждали хладнокровно, потом Кутузов, разгорячившись и не имея что возразить на представление Беннигсена, сказал ему: „Ваша позиция под Фридландом была для вас хороша, ну, а что касается меня, я довольствуюсь вот этой позицией, и мы тут останемся, потому что командир тут я, и я за все отвечаю“». Жестокое напоминание, как страшно Наполеон разгромил Беннигсена в 1807 г. под Фридландом, было принято Беннигсеном как убийственное оскорбление.

В своей небольшой статье о Беннигсене, писанной в 1858 г. для американского энциклопедического словаря, Маркс посвящает поведению этого генерала в 1812 г. три строки, очень хорошо характеризующие его: «Во время кампании 1812 г. он развернул свою деятельность по преимуществу в главной квартире императора Александра, где интриговал против Барклая-де-Толли с целью занять его место»10. К этому можно было бы лишь прибавить еще одну строку: а с сентября 1812 г. интриговал в главной квартире Кутузова с целью занять место Кутузова. 3

Но не в Ростопчине и не в Платове, и не в Буксгевдене, и даже не в Беннигсене были главные затруднения для Кутузова; они, конечно, не могли надеяться, что им самостоятельно удастся заставить царя сместить Кутузова, которому, несмотря ни на что, продолжали верить в стране и в армии.

Наиболее влиятельный враг Кутузова, к которому и царь прислушивался с очень большим вниманием, сидел тоже в его штабе. Это был уже помянутый не раз английский комиссар при русской армии генерал сэр Роберт Вильсон. Для Вильсона, для стоящего за Вильсоном английского посла в Петербурге лорда Каткэрта, для стоящего за Каткэртом британского кабинета разногласия между Беннигсеном и Кутузовым вовсе не были только «генеральской ссорой», и они раньше всех уразумели, что кутузовская стратегия противоречит интересам великобританской политики. Прежде всего следует заметить, что Вильсон, тайно следивший за Кутузовым и доносивший на него царю, пользовался тем большим доверием Александра, что царь не терпел фельдмаршала и по существу был вполне солидарен с этим английским соглядатаем.

Да и трудно было бы Александру очень ссориться с Вильсоном. «Привезенные в город Кронштадт 50 тысяч английских ружей прикажите принять немедленно в артиллерийское ведомство», — пишет царь Горчакову 3 октября 1812 г. А ведь из Англии шли не только ружья, но и золотые стерлинги, как всегда в таких случаях, когда англичанам нужно было при помощи чужих армии одолеть грозного врага. Роберт Вильсон знал, что можно многое себе позволить, и широко этим пользовался.

Устроившись в главной квартире, Роберт Вильсон немедленно начал деятельно вмешиваться в кипевшие вокруг Кутузова интриги. «Вашему величеству, конечно, известно, что с летами и здоровьем князя Кутузова нельзя ожидать деятельного начальства и что генерал Беннигсен ищет главного начальства», — пишет он царю 27 сентября 1812 г. С Александром он усвоил себе какой-то особый тон. «Генерал Платов на одних квартирах со мной. Я надеялся, что ему дан будет отряд из 4 тысяч казаков и четыре эскадрона гусар с шестью легкими пушками и, может быть, несколько егерей». Вильсон недоволен положением Платова: «Но я нахожу его после 42-летней и отличной службы… ныне без всякой команды… Он сильно чувствует свое уничижение, и я должен признаться, что я разделяю с ним его и очень надеюсь, что будет дано повеление о поручении ему, по крайней мере, тех казаков, кои следуют на подкрепление здешней армии, с присовокуплением Атаманского полка», — в таком вот тоне Вильсон и дает Александру свои точные распоряжения по русской армии.

Вообще он держал себя хозяином и разговаривал с Кутузовым таким тоном, как если бы тот

был не главнокомандующим действующей армии Российской империи, а каким-то выжившим из ума стариком, с которым следует говорить построже, чтобы он не дурил. Его наглость поддерживалась сознанием, что царь ненавидит Кутузова.

Останется ли в силе континентальная блокада, порождающая в Англии нищету и безработицу, — это было гнетущей, близкой заботой для англичан.

Аристократические английские друзья Семена Романовича Воронцова не скрывали от него, что рабочие раздражены и неспокойны. «Бирмингэмские рабочие горько жалуются, что у них нет работы»11, - читаем мы в одном из таких писем, писанных в сентябре 1812 г. Это одна неприятность у английских друзей Воронцова, а другая, ими выражаемая, это — тревога, не удастся ли коварному корсиканцу помириться как-нибудь с Александром. И одно очень связано с другим.

Теперь, после всего сказанного о борьбе против Кутузова окружающих его людей, после всего упомянутого о Роберте Вильсоне читателю будет вполне понятна история поездки Лористона в русский лагерь. 4

Когда генерал Лористон появился наконец уже собственной персоной вечером 5 октября на русских аванпостах, это возбудило страшное волнение в кутузовском штабе. Прежде всех и больше всех взволновался еще утром этого дня английский комиссар Роберт Вильсон. С той полнейшей бесцеремонностью, которая была ему свойственна, он заявил Кутузову решительный протест против приема Лористона, о чем не преминул довести до сведения Александра. Сделал он это в такой форме, которая обличает уверенность, что ему всякая дерзость сойдет с рук: «Имею честь донести вашему величеству, что фельдмаршал Кутузов сообщил мне сегодня поутру о намерении своем иметь свидание с генерал-адъютантом Бонапарта на передовых постах. Я почел долгом своим сделать самые твердые и решительные представления против такого намерения, исполнение коего не соответствовало бы достоинству вашего величества и не преминуло бы иметь вредное влияние, противное выгодам вашего величества, потому что послужило бы к ободрению неприятеля, к неудовольствию армии и к распространению недоверчивости в иностранных государствах». Другими словами, Роберт Вильсон не скрывал своего недоверия к самому Александру и грозил царю гневом Англии, если царь согласится на перемирие или, еще хуже, на мир с Наполеоном. В тот же день Вильсон донес обо всем и лорду Каткэрту, причем на письме есть такая странная пометка рукой Аракчеева: «Получено от государя 4 октября»12. Писано письмо 23 сентября (5 октября н. ст.), а 4 октября (16 октября н. ст.), значит, через 11 дней, оно уже было доставлено царю, прочитано им и передано для хранения Аракчееву. Было ли оно перехвачено? Сам ли Каткэрт передал его царю? Во всяком случае царь узнал, что прием Лористона есть «мера, преисполненная неблагопристойности и общественного вреда», и что Вильсон «в качестве генерала союзной державы» настоял на том, чтобы не сам фельдмаршал поехал на аванпосты к Лористону, а чтобы послал туда князя Волконского. Узнал Александр из этого письма и о том, что Кутузов-де в душе не питает таких враждебных чувств к Бонапарту, какие были бы Вильсону желательны, и что вообще его (Кутузова) «дряхлость всегда будет более или менее склонять его к желанию мира». Помогали Вильсону в его усилиях принц Ольденбургский и герцог Вюртембергский. Кутузов мог сколько угодно раздражаться наглым вмешательством всех этих иностранцев в дело, касавшееся мира или войны между Россией и Наполеоном, но поделать он тут ничего не мог.

Кутузов должен был принять Лористона если не в присутствии навязавшихся на это свидание Роберта Вильсона и герцога Вюртембергского, то все-таки так, чтобы Лористон, проходя в кабинет фельдмаршала, видел их обоих и с ними герцога Ольденбургского. Беседа Лористона с Кутузовым наедине продолжалась полчаса, после чего в кабинет позван был князь Волконский (отправившийся немедленно затем к Александру в Петербург). Когда Лористон уехал, фельдмаршал сообщил Вильсону содержание беседы. Лористон начал с жалоб на «варварские поступки крестьян с французами, попадающими в их руки».

Фельдмаршал ответил: «Нельзя в три месяца сделать образованной целую нацию, которая, впрочем, если говорить правду, отплачивает французам той монетой, какой должно платить вторгнувшейся орде татар под командой Чингисхана». Лористон предлагал перемирие на основе какого-нибудь соглашения. Фельдмаршал ответил, что у него нет на это никаких полномочий. Лористон заявил затем, что Москву сожгли не французы. Кутузов ответил, что он это знает, что это было сделано самими русскими, которые ценят Москву не менее всякого иного города в империи. Лористон сказал: «Вы не должны думать, что дела наши в отчаянном положении; армии наши почти равны. Вы ближе к своим подкреплениям и продовольствию, но и мы получаем подкрепления. Вы, может быть, получили неблагоприятные для нас известия из Испании?» На это фельдмаршал ответил, что он в самом деле слышал об этом от сэра Роберта Вильсона, который только что вышел из комнаты. Лористон сказал, что Вильсон имеет свои основания преувеличивать. Кутузов не согласился с этим. «В самом деле, мы имели неудачу, которой обязаны глупостям Мармона, и Мадрид временно занят англичанами, но дела наши скоро там поправятся, потому что туда идут уже большие корпуса войск». Когда Кутузов сказал Лористону, что русский народ смотрит на французов, как на татар, вторгшихся под начальством Чингисхана, а Лористон ответил: «Однако есть же некоторая разница», то фельдмаршал возразил, что русский народ никакой разницы не усматривает. С этим впечатлением и с сознанием полной бесплодности своей поездки Лористон и вернулся в Кремль к Наполеону.

Дезертирство из разноплеменной наполеоновской армии все усиливалось; особенно повальный характер оно имело в испанских полках, которые, ненавидя Наполеона лютой ненавистью, были принуждены идти с ним в Россию. Это были насильно завербованные испанцы из запятых французами частей Испании. На свое дезертирство они не могли не смотреть в подавляющем большинстве случаев как на свой долг перед далекой их родиной, истерзанной Наполеоном. Фуражировки не удавались французам. В одних местах фуражиров брали в плен казаки, мелькавшие и днем и ночью около Тарутина и на московских дорогах; в других местах их избивали крестьяне, грабить которых они приходили, в третьих местах им удавалось запастись сеном, но лишь перебив или разогнав по лесам крестьян. Генерал барон Корф встретился на аванпостах с французским генералом Армандом. И встреча и разговор были «случайными». «Мы, право, очень устали от этой войны, дайте нам паспорт, — мы уйдем», — сказал Арманд. — «…О, нет, генерал, — возразил Корф, — вы к нам пожаловали незваные, так и уходить вам нужно по французской манере, не откланиваясь». — «Но в самом деле, — продолжал Арманд, — не жалко ли, что две нации, уважающие одна другую, ведут истребительную войну? Мы принесем извинение в том, что были зачинщиками, и охотно согласимся помириться на прежних границах». — «Да, — сказал Корф, — мы верим, что вы научились в последнее время иметь к нам уважение, но могли бы вы и впредь, генерал, уважать нас, если бы мы вас допустили до того, чтобы уйти с оружием в руках?» Предложение Арманда соответствовало, конечно, мысли Наполеона «помириться на прежних границах», но теперь, после полного разорения колоссальных пространств России, после гибели городов и бесчисленных деревень, после уничтожения Москвы, — такое предложение звучало как новое оскорбление.

Как мы видели, Кутузов в самых первых своих словах, в самой первой передаче своей беседы с глазу на глаз с Лористоном решительно ничего не говорит о проклятиях потомства и пр., которые обрушатся на него, Кутузова, если он заключит перемирие. Все эти риторические украшения появились уже потом, на досуге. Но это ведь и не важно. Существенным было одно: Наполеон увидел, что и третья его попытка войти в переговоры с Александром явно осуждена на неудачу. Такие «случайные» встречи, как генерала Арманда с Корфом или Мюрата с Беннигсеном, а потом с Милорадовичем (6 октября), еще больше его в этом убеждали. «У нас народ страшен, он в ту же минуту убьет всякого, кто вздумает говорить о мирных предложениях», — сказал Милорадович Мюрату.

И все-таки, предвидя, что скоро придется оставить Москву, Наполеону так хотелось

подписать мир именно в Москве, сохраняя позу победителя, что он решил поторопить Александра с ответом: он знал, что Волконский сейчас же после свидания Лористона с Кутузовым повез рапорт об этом свидании от фельдмаршала к царю, а ответ все не приходил. 20 октября, т. е. через 15 дней после беседы Лористона с Кутузовым, к фельдмаршалу явился из французского лагеря полковник Бертэми с письмом от начальника императорского штаба маршала Бертье, князя Невшательского. Бертье спрашивал, получен ли ответ, и снова говорил о «восстановлении лучшего порядка», т. е. о мире. Кутузов ответил Бертье собственноручным письмом, в котором указывал на расстояния и трудности осеннего пути, задерживающие ответ Александра. Кутузов прибавил: «Трудно остановить народ, раздраженный всем, что он видел, народ, который уже триста лет не знал войны внутри государства, который готов пожертвовать собой за отечество и не делает различий между тем, что принято и что не принято в обыкновенных войнах»13.

Вильсон с большим озлоблением и нескрываемой тревогой отнесся к тому, что Кутузов опять вошел в сношения с французами и принял Бертэми. «Я знаю, что фельдмаршал не смеет, опасаясь жизнь свою подвергнуть опасности, начать какие-либо переговоры, и уверен, что император почел бы изменником всякого человека, который предложил бы ему о том; но впечатления от этих сношений вредны во внутренних, внешних, в политических и военных отношениях до такой степени, что от того могут произойти весьма важные бедствия, все сословия раздражены и самые рассудительные больше всех встревожены», — так писал Роберт Вильсон лорду Каткэрту вечером 20 октября из Тарусы. Вильсон ничуть не доверяет Кутузову, и он пишет с явной целью, чтобы Каткэрт довел об этом до сведения царя: что грозит революция и, кроме того, сепаратистское движение в земле Войска Донского. Вильсон, очевидно, проведал, что Наполеон в самом деле подумывал о сношениях с казаками. А главное — Кутузов непрочь от мира: «Нет сомнения, что фельдмаршал весьма расположен к ухаживанию за неприятелем, французские комплименты очень ему нравятся, и он уважает этих хищников, пришедших с тем, чтобы отторгнуть от России Польшу, произвести в самой России революцию и взбунтовать донцов как народ, к которому они имеют особое уважение и благорасположение которого желают снискать лаской». Вильсон заявляет, что хочет уехать из главной квартиры, «если фельдмаршал сохранит начальство над армией и если государь не запретит (Кутузову. — Е. Т.) иметь такие личные сношения», настолько он, Вильсон, «раздражен таким поведением».

Все попытки Наполеона начать мирные переговоры на этом кончились. Александр ничего не ответил и на донесение Кутузова. 5

Выслушав отчет Лористона, Наполеон едва ли обманывался далее насчет возможности благоприятного результата переговоров. Уже то, что Кутузов не пустил Лористона в Петербург, не говоря уже о категорических заявлениях самого фельдмаршала, достаточно показывало, что с русской стороны нет и тени желания вступить в мирные переговоры, и все-таки Наполеон ждал и медлил. Собственно, в эти дни, от 6 октября, когда вернулся в Москву Лористон, до 14 октября, когда Наполеон уже начал делать распоряжения, ясно говорящие о близкой эвакуации, он уже вовсе не ждал ответа из Петербурга, да и не мог ответ прибыть раньше 18–19 — 20-го числа в самом лучшем случае. Состояние его было раздраженное. Целыми ночами он шагал по Кремлю, говорил о всевозможных новых планах и признавался графу Дарю в истинной причине своих колебаний. Как уйти? Как начать отступление ему, привыкшему только наступать и завоевывать? «Это покажется бегством! Это отзовется в Европе!» Стоит начать отступать, и подымутся со всех сторон опаснейшие войны. «Москва — это не военная позиция, это — политическая позиция». И, очевидно, вспомнив, как этот самый граф Дарю предупреждал его еще в Витебске, считая всю эту войну ненужной. Наполеон прибавил: «В политике никогда не нужно отступать, не нужно признаваться в ошибках, это лишает уважения».

Что вся эта война — сплошная ошибка, он теперь уже видел ясно. Он только не знал еще, до какой степени губительной оказалась эта ошибка для него и для его армии.

Дарю был того мнения, что нужно превратить Москву в укрепленный лагерь, зимовать здесь, подождать весной подхода подкреплений из Франции и Европы и возобновить тогда военные действия. Но маршалы были против этого плана. И Наполеон тоже. Он лучше Дарю учитывал, как опасно ему на шесть-семь месяцев «зарываться в русские снега», как шатко его держащееся исключительно насилием владычество над Европой. Итак, отступать, потому что ни мира в Москве не дождаться, ни зимовать в Москве нельзя. Еще ничего не говоря категорически, Наполеон начинает готовиться к выходу из Москвы.

14 октября Наполеон приказывает Бертье, чтобы тот повторил приказ императора: не пропускать дальше Смоленска ни одного французского артиллерийского парка, который откуда бы то ни было направлялся в распоряжение великой армии, и чтобы начиная с 17 октября ни один артиллерийский или кавалерийский отряд не направлялся в Москву, а оставался в Можайске, в Гжатске, в Вязьме (где застанет приказ).

«Армия займет другое положение»14. С тех пор уже не прекращаются приказы, не менее многозначительные. Император приказывает эвакуировать раненых, кого возможно, из Московской области в Смоленск. Об этом он сообщает герцогу Бассано в Вильну 16 октября и ему же дает знать, что «возможно», что он расположится на зимние квартиры между Днепром и Двиной15.

16 октября 1812 г. Наполеон писал Марии-Луизе из Москвы: «Если в эту зиму я не смогу вернуться в Париж, я приглашу тебя приехать повидаться со мной в Польшу».

Наполеон пытается испугать Александра перспективой новых больших подкреплений, которые должны со всех сторон спешить на усиление великой армии. 16 октября 1812 г. он пишет герцогу Бассано приказ: потребовать у прусского короля, у австрийского императора, у баварского короля, у вюртембергского короля присылки новых подкреплений, а также рекомендовать всем этим «союзным» монархам сообщать в их газетах удвоенные (против действительности) цифры этих новых подкреплений. Все это с целью показать, «какие большие возможности рекрутирования имеет император не только в своих владениях, но и у своих союзников»16. И в тот же день он приказывает, чтобы в Смоленск были отправлены быки, а главное — теплая одежда, так как наступают холода. «Прикажите, чтобы все другие дела были прерваны и чтобы все было направлено на доставление в Смоленск одежды»17.

Но того же 16 октября Наполеон написал также и в Париж министру полиции герцогу Ровиго: «Вероятно, война затянется на всю зиму, и только взятие Петербурга откроет глаза императору (Александру. — Е. Т.). Москва уже не существует. Это в самом деле важная потеря для всей империи. Она по справедливости была центром и гордостью империи. Все офицеры русской армии, кажется, в отчаянии из-за московской катастрофы. Они приписывают ее сумасбродным и яростным страстям своего рода Марата, который был ее губернатором, Ростопчина. Я эвакуировал все мои госпитали, которые были тут в домах, посреди развалин. Я только укрепил Кремль, который теперь вне опасности неожиданных нападений. От двух до трех тысяч человек могут в нем продержаться некоторое время. Я тут поместил все мои боевые припасы и продовольствие». И тут Наполеон в первый раз говорит о выступлении из Москвы: «Я скоро двинусь, чтобы приготовить зимние квартиры и мои операции на будущий год… Все сообщения говорят, что пехота у неприятеля ничтожна. Меня уверяют, что нет и 15 тысяч старослуживых солдат. Второй и третий ряды состоят только из ратников милиции. Но неприятель усилил свою кавалерию. Он учетверил число своих казаков, страна наводнена ими, и это порождает для нас много мелких столкновении, очень тягостных». На этой фразе, много говорящей при всей ее нарочитой туманности, и кончается замечательное письмо Наполеона18. Тут уже, помимо намека на близкий уход из Москвы, есть признание о быстро возрастающей смелости казачьих нападений на эстафеты и транспорты, идущие в Москву.

У нас есть косвенное доказательство, что в эти дни, еще, например, 15 октября, т. е. перед

Тарутинским боем, Наполеон не думал о таком уж скором уходе. В этот день он писал Марэ (герцогу Бассано): «До сих пор эстафеты счастливо доходили до меня, никакие инциденты не преграждали им путь. Однако трудно надеяться на продолжение этого счастья». А потому он требует, чтобы наиболее важные известия герцог Бассано посылал ему дважды и трижды. Ясно, что растянутая цепь наполеоновских сообщении все более и более оказывалась под угрозами русских казаков и партизан, но и распоряжение Наполеона о повторных отправлениях курьеров, а также содержащаяся в том же письме инструкция, как именно пересылать императору вырезки из газет, показывают, что он 15-го вовсе не помышлял еще, что уже 19 октября, через четыре дня, покинет навсегда русскую столицу19.

Раненых, правда, уже несколько дней подряд эвакуировали из Москвы в Можайск, но нужен был какой-то окончательный толчок, чтобы покончить с последними колебаниями. Толчок воспоследовал. 18 октября 1812 г. Наполеон производил во дворе Кремля смотр дивизиям корпуса маршала Нея. Вдруг отдаленный грохот артиллерии поразил императора. Спустя короткое время примчавшийся адъютант сообщил, что внезапно Кутузов вышел из Тарутина, напал на Мюрата и нанес ему поражение. 6

Гром пушек, донесшийся до Наполеона, в самом деле шел из расположения авангарда французской армии, стоявшего у речки Чернишны и находившегося под общим командованием короля; неаполитанского Мюрата. Стоял этот авангард тут долго, с 24 сентября, в полном бездействии. Состоял он, в общем, из 20–22 тысяч человек. Кутузов его не трогал, со своей стороны Мюрат также не предпринимал никакого движения против Тарутина. Приезд Лористона был учтен как явный признак плохого положения французской армии. С этого момента Беннигсен, Ермолов, Багговут, Платов не переставали просить Кутузова дозволить им произвести нападение на Мюрата. Особенную энергию начали проявлять эти генералы после того, как генерал-квартирмейстер Толь произвел очень глубокую разведку и принес известие, что отряд Мюрата стоит очень беспечно, караульная служба никуда не годится, разведочная служба плоха, потому что лошади слабосильны — фуража не хватает. Кутузов не хотел сражения, даже второстепенного, но уступил, явно решив уже наперед не дать этой стычке развиться в большую битву. 16 октября Кутузов рассмотрел диспозицию, составленную Толем, и утвердил ее. Нападение на Мюрата было назначено на 17 октября, но Ермолова не могли разыскать, диспозицию ему не успели вовремя вручить, и на другой день, 17 октября, утром Кутузов никого на назначенных местах не нашел. Раздраженный вообще тем, что его заставляют делать ненужное, по его мнению, дело, Кутузов пришел в полное бешенство. Он разругал попавшихся ему двух офицеров последними словами. Один из них, подполковник Эйхен, оставил после этого кутузовскую армию, а другой, капитан Бродин, которого Кутузов назвал «только» канальей, остался. Ермолова Кутузов распорядился исключить со службы, но, когда гнев отошел, он отменил свое решение. Это было, так сказать, прелюдией. На другой день, 18 октября, генерал Багговут атаковал левый фланг Мюрата, а Орлов-Денисов — правый. Общее руководство битвой взял на себя Беннигсен. Кутузов не показывался. Первый кавалерийский налет Орлова-Денисова был удачен: французы были опрокинуты, захвачены были орудия, но французы успели оправиться и встретили убийственным огнем два полка пеших егерей. При этом был убит и генерал Багговут, командовавший ими. Французы стали отступать, но в порядке. Беннигсен, полагая, что у него под руками недостаточно войск, чтобы с надеждой на успех ударить на французов, попросил Кутузова дать ему помощь, но фельдмаршал отказал, и никакие просьбы Ермолова, Коновницына, Милорадовича не помогли. Мюрат отступал медленно и в порядке за речку Чернишну, к Спас-Купле, отстреливаясь от преследовавшего его Орлова-Денисова. Дело окончилось без какого-либо очень решительного результата, и все свелось к первоначальному успеху русских. Мюрат потерял 2,5 тысячи (по другим данным — около 3 тысяч), русские — около тысячи или 1200 человек. Конечно, победителями были русские: Мюрата все-таки вынудили отступить, и русские забрали 36 пушек, 50 зарядных ящиков и знамя. Клапаред и Латур-Мобур отогнали Платова, стремившегося отрезать отступление Мюрата на Спас-Куплю. Беннигсен потом ручался, что отряд Мюрата весь мог

бы погибнуть, если бы по злостному капризу Кутузов не отказал дать подкрепление в нужный момент. Кутузов не только не дал, а даже приказал войскам отступить от Чернишны и вернуться на свои тарутинские позиции.

Беннигсен был вне себя от ярости. Почему Кутузов не помог, а позволил Мюрату отделаться очень легко и отойти в полном порядке? «Я не могу опомниться! Какие могли бы быть последствия этого прекрасного, блестящего дня, если бы я получил поддержку… Тут, на глазах всей армии, Кутузов запрещает отправить даже одного человека мне на помощь, это его слова. Генерал Милорадович, командовавший левым крылом, горел желанием приблизиться, чтобы помочь мне, — Кутузов ему запрещает… Можешь себе представить, на каком расстоянии от поля битвы находился наш старик! Его трусость уже превосходит позволительные для трусов размеры, он уже при Бородине дал наибольшее тому доказательство, поэтому он и покрыл себя презрением и стал смешным в глазах всей армии», — так писал Беннигсен своей жене сейчас после Тарутина, 22 октября. Беннигсена возмутило не только нежелание Кутузова помочь в решительный момент, но и приказ фельдмаршала, чтобы Беннигсен немедленно после битвы отошел с войском на 12 верст назад, в исходную позицию. «Представляешь ли ты себе мое положение, что мне нужно с ним ссориться всякий раз, когда дело идет о том, чтобы сделать один шаг против неприятеля, и нужно выслушивать грубости от этого человека!»20.

Кутузову, которого перед фронтом целовал Суворов, не приходилось оправдываться в «трусости». Он и вообще вовсе не думал оправдываться в своем поведении в день Тарутина. У него была своя твердая мысль, и ни с чем, кроме нее, он уже не считался. Беннигсен был в негодовании, которое не слабело, а усиливалось с каждым днем: он ясно видел, что Кутузов умышленно не помог ему и не позволил сделать Тарутинское сражение победой с серьезными результатами. Отношения между Беннигсеном и Кутузовым обострились до крайней степени. Беннигсен написал Кутузову после Тарутинской битвы: «Войска его императорского величества совершили сию победу с такой правильностью и порядком, какую можно видеть на одних только маневрах. Жаль, очень жаль, что ваша светлость слишком были далеко от места действия и не могли видеть вполне прелестной картины поражения»21. Кутузов учитывал эти выходки и не оставался в долгу. «Где этот дурак? Рыжий? Трус?» — кричал Кутузов, прикидываясь, будто забыл как нарочно нужную фамилию и силится вспомнить. Когда ему решились сказать, не Беннигсена ли он имеет в виду, фельдмаршал ответил: «Да, да, да!» Так было как раз в день Тарутинской битвы. Повторялась на глазах всей армии история Багратиона с Барклаем. Но Беннигсен по своей репутации, силе, способностям был гораздо слабее Багратиона, а Кутузов по всем своим ресурсам, по своему военному и моральному авторитету и популярности в широких массах русского народа был несравненно сильнее Барклая. Барклаю не под силу было бороться с оппозицией Багратиона, а Кутузов без особого труда покончил с Беннигсеном. Беннигсен известен был как бессовестнейший взяточник. В 1807 г. он в качестве главнокомандующего брал позорнейшим образом взятки с поставщиков, корыстно покровительствовал интендантским ворам и погубил русскую армию страшным поражением под Фридландом 14 июня 1807 г. Были слухи, что при нем солдаты в полном смысле слова умирали голодной смертью, а он, не имея раньше никакого состояния, стал богатейшим человеком, именно обворовав свою армию. При такой репутации не ему было тягаться с Кутузовым.

Беннигсен никак не мог справиться со своей яростной ненавистью к Кутузову. Он послал царю донос, превосходивший все, какие он до сих пор пересылал царю22. В армии говорили, будто Александр переслал этот донос фельдмаршалу. Так или иначе, результатом было то, что Кутузов приказал Беннигсену немедленно уехать из армии.

Сражение 18 октября, почему-то получившее название Тарутинского, — хотя село Тарутино оставалось далеко к югу от места боя, — кончившееся таким незначительным чисто военным результатом, имело большие политические и моральные последствия. В моральном отношении оно подняло дух русской армии: оно было первым чисто наступательным

сражением за всю войну, притом успешным для русской стороны. В политическом отношении оно явилось последним, решающим толчком, заставившим Наполеона наконец выйти из Москвы. 7

Тарутинское дело было истолковано Наполеоном так: Кутузов чувствует себя достаточно сильным, и поэтому следует идти на юг раньше, чем русский главнокомандующий заградит туда дорогу.

Когда Наполеон тронулся из Москвы, у него было немного менее 110 тысяч человек. У Кутузова в Тарутине и возле Тарутина было в тот момент 97 112 человек. Артиллерия Наполеона значительно уменьшилась сравнительно с тем, что у него было еще под Бородином; много орудий пришлось побросать по дороге из-за невозможности тащить их: ведь даже у кавалерии лошадей не хватало, и целые кавалерийские части давно уже спешились. У Кутузова же в это время было 622 орудия. Наполеон не знал в точности сил своего противника, когда выступал из Москвы, но он был полон уверенности, что в случае столкновения в открытом поле перевес еще будет на его стороне.

Чтобы спасти престиж, Наполеон сначала задумал было оставить в Москве гарнизон в 8 тысяч человек и даже назначил генерала Мортье начальником этого гарнизона. В отместку Александру за то, что тот не ответил на три мирных предложения, Наполеон решил, уходя, взорвать Кремль. Мортье рассуждать не привык. Немедленно он приказал хватать оставшихся в Москве русских и в спешном порядке с помощью этой рабочей силы минировать Кремль с дворцами, с Иваном Великим, храмами и пр. Подкопы эти деятельно производились трое суток. Русских, отказавшихся рыть подкопы под Кремль, жестоко били. В ночь на 19-е началось выступление французской армии из Москвы. Тянулись не только 100 тысяч войска (гарнизон Мортье в 8 тысяч человек остался 19-го в городе), но бесконечные фуры, телеги, переполненные доверху возы награбленного и увозимого из Москвы добра, шли пешком и ехали в экипажах тысячи всякого люда — иностранцы с женами и детьми, оставшиеся при вступлении французов и теперь уходившие, опасаясь мести со стороны русских.

Обоз был так огромен, армия растянулась в такую бесконечную линию, что Наполеон, пропуская мимо себя свою армию, тут же высказал мнение, что такое движение опаснее всего, но он еще не решился приказать бросить награбленную добычу, это он приказал сделать впоследствии.

Император шел на Калугу и вел армию прямо на Красную Пахру, подбирая по пути остатки отряда Мюрата. С дороги он послал приказ Мортье тотчас после взрыва Кремля выйти из Москвы и присоединиться к армии. Это оставление Мортье в Москве на два дня явно имело целью замаскировать, хотя бы на первый момент, в глазах своей армии истинный смысл ухода из Москвы и сохранить, несмотря ни на что, позу победителя. Так нужно было сделать и для Европы.

Давно уже Наполеон перестал писать жене о Москве. Он больше всего интересуется в письмах своим маленьким сыном, хвалит прекрасную солнечную погоду, делает распоряжения о награждении автора понравившейся императрице новой оперы, пишет о панораме, которую показывали в Париже, и т. д. «Мой добрый друг Луиза… Я очень рад, что ты довольна панорамой Антверпена. Было бы хорошо сделать панораму пожара Москвы… Пиши часто своему отцу, рекомендуй ему усилить корпус Шварценберга…» Император не очень уже доверял военному усердию своего подневольного австрийского союзника.

Еще раз он возвращается к пожару Москвы в тот самый день, когда решает окончательно выйти из города: 18 октября 1812 г. он говорит о безумии русских, которые «на столетия» разорили свою столицу: «Москва была городом тем более прекрасным и тем более удивительным, что она была почти единственным городом такой величины во всей этой

огромной стране». В 7 часов утра 19 октября Наполеон покинул Москву вслед за армией. «Мой друг, я в дороге, чтобы занять зимние квартиры. Погода великолепна, но она не может длиться. Москва вся сожжена, и так как она не есть военная позиция, нужная для моих конечных целей, то я ее покидаю и уведу гарнизон, который я тут оставил. Мое здоровье хорошо, мои дела идут хорошо». Тут же он небрежно поминает о Тарутине: «Была стычка с казаками»23.

Как только император и армия вышли из Москвы, последовали подготовленные взрывы. 19 октября был взорван винный двор и сгорел уцелевший до тех пор Симонов монастырь. Во французской армии заметно было какое-то непонятное сначала посторонним людям движение. Всю ночь двигались обозы, груженые фуры, непрерывно проходили все в одном направлении войска. Движение продолжалось и усиливалось 20 и 21 октября.

21 октября начались кремлевские взрывы, от которых в Москве затряслась земля. Взлетели на воздух здание Арсенала, часть кремлевской стены, начались пожары в Грановитой палате, в соборах, разрушены были частично Никольская башня и башни, выходящие в сторону реки, загорелись было соборы. Взрывы были такой страшной силы, что рушились стены построек не только в ограде Кремля, но и за Кремлем. К счастью, дождь подмочил фитили, и взрывы не принесли всего того вреда, на какой рассчитывал Наполеон. Иван Великий уцелел случайно: подмокли фитили в заложенной мине.

Кремль и площадь возле Кремля после каждого взрыва долго оглашались воплями и стонами израненных, полузадавленных, насмерть перепуганных людей.

Наполеоновская армия покидала московское пожарище. Ночью с 22 на 23-е раздались внезапно один за другим новые оглушительные взрывы. Население было в полной панике. Эти взрывы были так сильны, что в Китай-городе обвалились не которые здания и даже на далеком расстоянии не только выбило в окнах стекла, но рушились и рамы24.

Последний (пятый) взрыв кремлевских стен, взорванных в пяти местах, произошел на рассвете 23-го, и спустя несколько часов последние отряды маршала Мортье оставили город. Безначалие и усиленные грабежи происходили в Москве после ухода армии еще несколько часов25.

«Я покинул Москву, приказав взорвать Кремль. Мне нужно было 20 тысяч человек, чтобы сохранить этот город. Будучи разрушенным, он только стеснял мои операции», — писал Наполеон жене из села Фоминского, куда пришел 22 октября.

Взрывы не были слышны в далеком русском лагере, но их слышали казачьи разъезды, давно уже украдкой рыскавшие вокруг Москвы. 22 октября прапорщик Языков с казачьим отрядом пробирался близ Москвы с целями разведки. Вдруг они услышали страшный грохот и треск, донесшийся из города. Языков решился на очень рискованный поступок: проникнуть в город насколько будет возможно, чтобы узнать о причине.

Маленький отряд въехал в Москву. Мертвое молчание поразило их. Не видя французов и ни души на улицах, они постепенно продвинулись к самому Кремлю, и тут они первые в России узнали потрясающую новость: Наполеон ушел.

Глава IX

Отступление великой армии. Малоярославец и начало партизанской войны

1

Бесконечной пестрой рекой текла из Москвы стотысячная наполеоновская армия с артиллерией и зарядными ящиками. Колоссальные обозы отдельных частей этой армии, кареты, возы, телеги с награбленным добром, принадлежавшие маршалам, генералам, офицерам, рядовым солдатам, и снова армейские казенные обозы и снова артиллерийские парки длинной лентой растянулись по дороге.

Когда после взрыва Кремля и поджога еще нескольких уцелевших зданий французские войска выходили из Москвы, — на шесть миль вокруг города «все горело, земля и небо казались в огне», — говорит участник похода французский провиантмейстер Пюибюск. Яркий, непрерывный, необъятный пожар несколько ночей подряд освещал дорогу наполеоновской армии. Зарево было и позади, и впереди, и по обеим сторонам большой Калужской дороги. Солдатам все время казалось, что горящее красное небо начинает опускаться на пламенеющие поля, леса, деревни, далекие церковные колокольни.

Знали, что Наполеон недоволен тем, что армия увозит с собой такое огромное количество дорогих, но ненужных для похода ценностей, и поэтому старались прикрыть ковры, драгоценные ткани, золотые и серебряные вещи корзинами, тюками с хлебом, мукой, отрубями и т. д. Но как раз этого рода предметы были крайней редкостью. Наполеон угадывал, конечно, эту маскировку, но он не решился тогда приказать бросить награбленные ценности тут же, в Москве, и лишить полуголодных солдат утешительного сознания, что они хоть со временем чем-либо вознаградят себя за все свои страдания. Они тогда еще не знали, что большинству из них придется оставить в России не только московскую добычу, но и свою жизнь. Наполеон шел на Калугу с тем, чтобы оттуда повернуть на Смоленск. Почему Смоленск был для него таким обязательным этапом? Почему он решил не идти в южные, богатые губернии России?

Клаузевиц первый из военных писателей указал на полную неосновательность широко распространенного мнения, будто Наполеон сделал ошибку, отступая от Москвы на Смоленск, вместо того чтобы идти южными губерниями, обильными и уцелевшими. Клаузевиц просто отказывается понимать тех, кто это говорит. «Откуда мог он (Наполеон. — Е. Т.) довольствовать армию помимо заготовленных складов? Что могла дать „неистощенная местность“ армии, которая не могла терять времени и была вынуждена постоянно располагаться бивуаками в крупных массах? Какой продовольственный комиссар согласился бы ехать впереди этой армии, чтобы реквизировать продовольствие, и какое русское учреждение стало бы исполнять его распоряжения? Ведь уже через неделю вся армия умирала бы с голоду».

У Наполеона по смоленско-минско-виленской дороге были гарнизоны, были продовольственные склады и запасы, эта дорога была подготовленной, а на всем юге России у него ровно ничего приготовлено не было. Как бы ни были эти места «богаты», «хлебородны» и пр., все равно невозможно было организовать немедленно продовольствие для 100 тысяч человек, быстро двигающихся компактной массой в течение нескольких недель подряд. «Отступающий в неприятельской стране, как общее правило, нуждается в заранее подготовленной дороге… Под „подготовленной дорогой“ мы разумеем дорогу, которая обеспечена соответствующими гарнизонами и на которой устроены необходимые армии магазины». Клаузевиц тут лишний раз обнаруживает строгий реализм своего мышления. Никто не умел так вскрывать пустоту общепринятых шаблонов, как этот крупнейший из военных мыслителей начала XIX в. Южные губернии могли быть в десять раз богаче Смоленска, но в Смоленске у Наполеона были готовые запасы, а на юге у него ровно ничего не было. И это решило дело.

Но, выходя из Москвы, Наполеон твердо решил идти на Смоленск не старой дорогой, а новой, через Калугу, потому что до Смоленска у него никаких складов все равно не было и этот старый тракт Москва — Смоленск был разорен дотла. При выборе же между двумя дорогами, где у него одинаково не было складов, но из которых на одной (Москва — Калуга —

Смоленск) еще были «нетронутые деревни» (выражение маршала Даву), а другая была сплошной выжженной пустыней. Наполеон, конечно, остановился на Калужской дороге. «Идем в Калугу! И горе тем, кто станет на моем пути!» — таковы были его слова, когда 19 октября он выводил свою армию из Москвы.

Это обстоятельство подчеркивает значение проведенного Кутузовым знаменитого марш-маневра на Тарутино: без этого маневра Кутузову было бы потом немыслимо поставить перед Наполеоном непреодолимый заслон южнее Малоярославца, заградивший французам путь в Калугу.

С момента получения известия, что Наполеон вышел из Москвы, Кутузов считал (и говорил), что Россия спасена. Его армия увеличивалась рекрутскими наборами, подходом подкреплений — и уже в середине октября была равна 85 тысячам человек, не считая казаков. Армия Наполеона пополнений имела гораздо меньше (хотя тоже имела их).

Фуража у русской конницы было довольно, французская конница же страшно сокращалась, лошади падали тысячами, французские фуражиры не только не могли достать сена или овса, но их самих ловили и избивали крестьяне. Кутузов с момента выхода Наполеона из Москвы не сомневался, что французы уйдут из России и что это произойдет даже и в том случае, если больше не будет ни одной стычки с французами, а потому и не нужно никаких стычек.

И вся остальная история войны — это безуспешная борьба Александра против кутузовской стратегии и тактики, борьба, в которой притом почти весь штаб Кутузова был на стороне царя. Забегая несколько вперед, остановимся на этом разногласии, как оно выявлялось вплоть до конца войны.

Против Кутузова были царь и Вильсон, т. е. царь и Англия, а за царем был почти весь кутузовский штаб: за Вильсоном и Англией была вся покоренная Наполеоном и жаждущая освобождения Европа.

Нам нужно в точности знать позицию обеих этих спорящих сторон, раньше чем мы обратимся к событиям, окончившим трагедию 1812 г. Именно события под Малоярославцем и выявили окончательно всю непримиримость Кутузова с точкой зрения царя и Вильсона. Александр очень отрицательно отнесся к оставлению Москвы русской армией и корил этим Кутузова, писал ему холодные письма.

14 октября царь опять укорял фельдмаршала в бездействии, в том, что армия Наполеона еще в Москве, а Кутузов не делает никаких попыток ее тревожить, между тем Наполеон может грозить теперь и Петербургу: «На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожения сей столице, в которой не могло остаться много войска, ибо с вверенной вам армией, действуя с решимостью и деятельностью, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастье. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечесгву в потере Москвы». Через неделю, 21 октября, курьер вновь мчится к Кутузову с укоризнами. Царь очень недоволен свиданием Кутузова с Лористоном и напоминает, что никакие предложения неприятеля не побудят его, Александра, «прервать брань и тем ослабить священную обязанность отомстить за оскорбленное отечество». Всегдашнее нерасположение царя к Кутузову быстро возрастает и начинает переходить в нечто, очень похожее на ненависть. Он резко обвиняет старого фельдмаршала в бездействии, упущениях, грубых ошибках. «С крайним сетованием, — пишет он (11 ноября), — вижу я, что надежда изгладить общую скорбь о потере Москвы пресечением врагу возвратного пути совершенно исчезла. Непонятное бездействие ваше после счастливого сражения перед Тарутином, чем упущены те выгоды, кои оно предвещало, и ненужное и пагубное отступление ваше после сражения под Малым Ярославцем до Гончарова уничтожили все преимущества положения вашего, ибо вы имели всю удобность ускорить неприятеля в его отступлении под Вязьмой и тем отрезать, по крайней мере, путь

трем корпусам: Даву, Нея и вице-короля, сражавшихся под сим городом». Царь негодует дальше на то, что Кутузов, имея превосходную легкую кавалерию, плохо осведомлен о движениях Наполеона. Александр чует умысел в этой медлительности и апатии Кутузова. Кутузов не хочет догнать Наполеона и сразиться с ним, оттого он и толкует о «золотом мосте», который построил бы для неприятеля. Реально же случится то, что уходящий свободно и не преследуемый сколько-нибудь энергично Кутузовым Наполеон ударит на ждущих его впереди Чичагова и Витгенштейна, разобьет их и уйдет: «Ныне сими опущениями вы подвергли корпус графа Витгенштейна очевидной опасности, ибо Наполеон, оставя пред вами вышеупомянутые три корпуса, которые единственно вы преследуете, будет в возможности с гвардией своей усилить бывший корпус Сен-Сира и напасть превосходными силами на графа Витгенштейна». Для Кутузова уход Наполеона из России есть счастье, сравнительно с которым он, вероятно, считал неважным, поколотит ли попутно Наполеон Витгенштейна, или не поколотит, а для Александра 1812 год только тогда мог стать концом, а не началом дела, если бы сам Наполеон попал в плен. И поэтому он кончает письмо так: «Обращая все ваше внимание на сие столь справедливое опасение, я поминаю вам, что все несчастья, от сего проистечь могущие, останутся на личной вашей ответственности». Этим с точки зрения Александра несчастием, происшедшим оттого, что Наполеон ушел из России; оказались впоследствии и весь 1813 г, более кровавый, чем 1812, и 1814. и 1815 гг., а Кутузову, и не помышлявшему об «освобождении Европы», потому что он считал это делом самой Европы, было вовсе не нужно окружать и ловить Наполеона Кутузов не хотел даже близкого соприкосновения с арьергардом отступавшего французского императора. Не хотел, конечно, не из «трусости», а вследствие ненужности новых боев с его глубоко продуманной точки зрения. И Александр, хитрый, недоверчивый, ненавидящий Кутузова человек, издали, из Зимнего дворца, подозревал, что Кутузов лукавит, что он не хочет ловить Наполеона, что он хочет «портить» и «испортит» все, на что царь так надеялся, что он хочет подвести Чичагова и Витгенштейна под удар, под сражение с Наполеоном и не подаст им помощи в этом будущем роковом столкновении. Он писал резкие письма, угрожал главнокомандующему личной его ответственностью… Не помогло ничего. Когда ударил решительный час, когда очередной акт великой всемирно-исторической драмы начал разыгрываться на берегах Березины, Кутузов поступил именно так, как того боялся Александр, но как он сам считал нужным и целесообразным.

Одной из иллюстраций стратегической мысли Кутузова и явилось его поведение под Малоярославцем. 2

22 октября в Тарутине, в главной квартире Кутузова, было получено в 11 часов вечера известие с примчавшимся верховым от Дохтурова, что Наполеон идет на Малоярославец, но Кутузов медлил явиться на помощь Дохтурову, за что его резко упрекали впоследствии некоторые военные критики, бывшие вместе с тем участниками битвы под Малоярославцем. «Каким же образом армия из Тарутина, где было получено положительное известие 10-го (22-го) числа в 11 часов вечера о том, что Наполеон со всей армией идет на Малоярославец, явилась к угрожаемому пункту, долженствовавшему дать совершенно иной оборот войне, только через 38 часов, когда нужно было перейти только 28 верст?» — спрашивает один из очевидцев и участников боя1. Но Кутузов не хотел сражений, не хотел нового Бородина, считая его ненужным и при всех условиях вредным. Он уже в Тарутине хотел строить «золотой мост» Наполеону, не тратя напрасно людей. Кутузов знал, что своим фланговым «параллельным маршем» он вернее истребит живую силу противника. И ни Беннигсен при Тарутине, ни Дохтуров у Малоярославца, ни Вильсон в его собственной ставке, ни Александр из Петербурга — никто не мог сдвинуть его с этой позиции.

Под Малоярославцем Кутузов вел ту же тактику, как за шесть дней до того под Тарутином. Конечно, он знал, что пустить Наполеона в Калугу нельзя — и не потому даже, что он пойдет «южными губерниями»: более чем вероятно, что Кутузов не хуже Клаузевица и самого Наполеона понимал, что в конечном счете едва ли французская армия могла вовсе

отказаться от «подготовленной» дороги и. от смоленских продовольственных запасов. Но, овладев Калугой и забрав все, что там было заготовлено для русской армии, Наполеон, как уже было нами сказано, в гораздо лучших условиях мог бы достигнуть Смоленска, и дорога Калуга — Смоленск несравненно лучше сохранила бы французское войско, чем дорога Москва — Смоленск.

Дохтуров по приказу Кутузова от 22 октября должен был идти к селу Фоминскому и напасть на французский отряд, который, по показаниям лазутчиков, был численностью в 10 тысяч человек. Но уже по пути туда Дохтуров, как сказано выше, узнал новые поразительные вести: во-первых, в Фоминском и около Фоминского не 10 тысяч, а громадное войско, едва ли не вся французская армия с Наполеоном во главе; во-вторых, французы уже заняли Боровск, т. е. город гораздо южнее Фоминского и уже по прямой дороге на Калугу. Значит, нужно было как можно поспешней, бросив направление на Фоминское, круто повернуть к югу и даже не на Боровск уже, а южнее Боровска и спешить к г. Малоярославцу, который находится между Боровском и Калугой; если провести прямую линию между Боровском и Калугой, то Малоярославец окажется приблизительно на одной трети этой линии к югу от Боровска и в двух с лишком третях этой линии к северу от Калуги. Ясно было, что нужно спешить к Малоярославцу наперерез Наполеону, пока он еще туда идет из Боровска. Но Дохтуров боялся Кутузова и послал к фельдмаршалу нарочного с этими новыми известиями и с просьбой о дозволении идти к Малоярославцу. Пока нарочный мчался к главнокомандующему и обратно, было упущено много времени. Шли всю ночь с малым роздыхом, но когда в четыре часа утра 23 октября русские егеря подошли к городу, к нему уже приближалась и сейчас же выбила егерей из предместья вся армия Наполеона. Восемь раз в этот день Малоярославец при неумолкавшей канонаде с двух сторон переходил из рук в руки. То русские французов, то французы русских штыковым боем выбивали из позиций и гнали из города. Дохтуров уже еле держался, когда в два часа к нему на помощь подошел Раевский со своим корпусом, а в четыре часа дня сам Кутузов со всей русской армией. Кутузов обошел город и занял позицию на дороге из Малоярославца в Калугу. Наступал вечер, французы, овладев при восьмом штурме городом, ждали генеральной битвы. Канонада умолкла. Город горел, оттуда неслись крики раненых, не успевших уползти от горевших зданий и с улиц, куда валились обломки пылавших домов и церквей. Французы не могли им помочь: город пылал так, что приблизиться к его центру и к некоторым окраинам нельзя было никоим образом.

Всю эту страшную ночь, глядя на зарево горевшего города, слушая вопли, оттуда несущиеся, крики французской армии и кое-где внезапно начинавшуюся и обрывавшуюся ружейную пальбу, русская армия ждала на другой день нового Бородина, потому что присутствие здесь, в Малоярославце и около него, всей великой армии и самого Наполеона уже стало несомненным фактом. И вдруг рано утром последовал приказ фельдмаршала отступить от Малоярославца.

Чтобы дать этот приказ, Кутузову нужно было быть готовым выдержать ту молчаливую оппозицию, то плохо скрываемое раздражение и злобу в штабе и откровенные дерзости со стороны Роберта Вильсона и Беннигсена, наконец, те очередные презрительно сдержанные распекания из Петербурга от царя, с которыми ему приходилось сталкиваться все время. И он на это пошел. «Офицеры и войска вашего величества сражаются со всевозможной неустрашимостью, но я считаю своим долгом с прискорбием объявить, что они достойны иметь и имеют нужду в более искусном предводителе», — вот в каких выражениях известил Роберт Вильсон царя о битве под Малоярославцем. Кутузов же, отступая, все-таки загородил Наполеону дорогу на Калугу. Собирался ли он дать битву, если бы Наполеон все-таки решил прорваться в Калугу, мы не знаем. Наполеон не решился, но с точки зрения людей кутузовского штаба, во главе которых стояли Вильсон, Беннигсен, Евгений Вюртембергский, Кутузов совершил новое преступление, отказавшись от мысли выбить Наполеона из Малоярославца и дать ему генеральную битву.

Уже совершенно точно в этот момент обозначилось, куда ведет свою линию Кутузов и в чем эта линия решительно отклоняется от линии Вильсона. Тут, в 3 верстах от Малоярославца, 25 октября, сидя в штабе отступившей русской армии, Вильсон в письме к Александру совершенно ясно и четко сформулировал две несогласные и непримиримые точки зрения: точку зрения исключительно русских интересов, представляемую фельдмаршалом, и точку зрения всего конгломерата боявшихся и ненавидящих Наполеона европейских стран во главе с Англией: «Лета фельдмаршала и физическая дряхлость могут несколько послужить ему в извинение, и потому можно сожалеть о той слабости, которая заставляет его говорить, что „он не имеет иного желания, как только того, чтобы неприятель оставил Россию“, когда от него зависит избавление целого света. Но такая физическая и моральная слабость делают его неспособным к занимаемому им месту, отнимая должное уважение к начальству, и предвещают несчастье в то время, когда вся надежда и пламенная уверенность в успехе должны брать верх».

Кутузов вовсе не был полководцем без перспектив. Нет, но его перспективы были пошире, чем у его критиков. Для Вильсона, т. е. для Англии, личная гибель Наполеона или его плен, после чего можно было надеяться на падение его империи, — только это и было единственно важным моментом. Для Кутузова же единственно важным было освободить Россию, принеся наименьший ущерб русской армии. Он, конечно, был и умнее, и хитрее, и тоньше, и глубже злобствующего против него, поносившего его, доносившего на него Роберта Вильсона. И Кутузов отлично знал это и понимал, что такое в устах Вильсона «избавление целого света». Под Малоярославцем должна была, с точки зрения Вильсона, состояться новая попытка «избавления» лондонского купечества, ливерпульских судовладельцев, манчестерских ситценабивников от континентальной блокады, а Кутузов этим не интересовался, и одноглазый фельдмаршал опять обманул все вильсоновские ожидания.

Была непроходимая пропасть между тем, как смотрел на войну 1812 г. Кутузов и как смотрели на нее иностранцы, прежде всего англичане. «Несчастное отступление от нашей позиции выше Малоярославца… избавило неприятеля от неизбежной погибели и лишило Россию славы, а Европу выгоды кончить революционную войну, — пишет 31 октября Роберт Вильсон из села Спасского (т. е. из армии Кутузова) в Петербург британскому послу лорду Каткэрту, — …вся кровь, там пролитая, все затруднения, которые Россия впредь может испытать, падут на голову фельдмаршала Кутузова»2. Между тем, по словам того же Вильсона, советы Беннигсена, которым фельдмаршал не следует, «могли бы спасти вселенную»!

Кутузов думал о спасении России и вместе с тем отлично знал (и высказал это однажды в глаза Вильсону), что англичане заботятся вовсе не о «вселенной», а только и исключительно об Англии и об избавлении ее от континентальной блокады. И больше всего раздражало Вильсона, вероятно, именно то, что он знал, как верно «хитрая старая русская лиса» его понимает. Для Каткэрта было понятно, почему под Малоярославцем ведется «революционная война», и его корреспондент Вильсон не считает поэтому нужным даже и пояснить эти странные слова в своем письме. Наполеон, этот душитель революции, для них обоих был олицетворением выступившей на гребне революции французской крупной буржуазии, которая вот уже 20 лет почти, с 1793 г., воюет против Англии сначала в западной Германии, потом в Бельгии, потом в Голландии, потом в Италии, потом в Египте, потом в Сирии, потом в Австрии, потом снова в Германии, в Польше, в Испании, в Португалии, снова в Австрии и вот наконец в России. Это — революционная и послереволюционная французская промышленность и торговля, которая 20 лет подряд борется огнем и мечом против Лондона, Манчестера, Бирмингэма, Ливерпуля. Если бы спросить в марте, апреле, мае 1799 г. осажденного в жгучих песках Сирии, в турецкой крепости Акре, сэра Сиднея Смита, кто этот издали видный иногда с гласисов крепости человек в треуголке, кто это осаждает турок, — Сидней Смит, военный советник турецкого паши и душа обороны Акры, ответил бы не колеблясь: «Французская революция», которая если победит, собирается нагрянуть на Индию. Точно так же и сэр Роберт Вильсон на вопрос, кого это дряхлый Кутузов

выпустил из рук под Малоярославцем, без колебаний пишет Каткэрту: «Французскую революцию», предводимую все тем же человеком в треуголке, который снова собирался, как 13 лет назад в Сирии, в случае победы идти на ту же Индию. В Англии ведь раньше чем где-либо узнали, о чем говорил Наполеон с графом Нарбонном перед переходом через Неман!

Вот почему Вильсон с Каткэртом горевали так о «вселенной», к спасению которой фельдмаршал оказался так равнодушен под Малоярославцем. «Поведение фельдмаршала приводит меня в бешенство», — не перестает утверждать Вильсон3. Отчего бы не устроить под Малоярославцем нового Бородина? Отчего бы не уложить еще 60 тысяч человек? Кутузову не в первый раз приходилось в 1812 г. наблюдать, с какой широкой щедростью иностранные союзники относятся к крови русских солдат. Он мог припомнить, например, любопытное письмо, которым удостоил его в ноябре 1805 г. австрийский император Франц. Дело было уже после того, как Наполеон разгромил одну австрийскую армию и готовился разгромить другую. Кутузов, выставляя обреченные на гибель заслоны, поспешно уходил к Ольмюцу, и плен, позор, разгром гнались за ним по пятам; у Наполеона было в три раза больше сил. И вот император Франц писал Кутузову: «Если бы непреодолимые силы заставили вас все-таки отступить, то вы должны отступать лишь шаг за шагом и именно на Креме… где вы должны защищать, чего бы это вам ни стоило (Е. Т.), постройку нового моста, что потребует нескольких недель». Чего бы это ни стоило! Это стоило бы всего-навсего жизни 35 тысячам русских солдат, которые притом погибли бы даже не через «несколько недель», как полагали Франц и его придворный военный совет, а через несколько дней4. Но император Франц уже наперед мужественно махнул рукой на эту жертву: людей в России достаточно! Кутузов и тогда, в 1805 г., не обратил ни малейшего внимания на письмо Франца I, хотя ничем не обнаружил непочтительности к австрийскому союзнику, и теперь, в 1812 г., и не думал следовать настойчивым советам Роберта Вильсона. От слова не станется. Кутузов редко противоречил на словах, но еще реже повиновался на деле чужим советам и горячим убеждениям. 25 октября на рассвете Кутузов приказал русской армии отступить от Малоярославца к югу на 2,5 версты. Авангард Милорадовича отошел от города на самое ничтожное расстояние. Наполеон видел, что ему предстоит, если он по-прежнему намерен прорваться к Калуге, принять генеральный бой, не меньший по размерам, чем Бородино. И он не решился.

В первый раз в своей жизни Наполеон отступил от ждавшей его генеральной битвы. В первый раз за эту кровавую русскую кампанию он повернулся спиной к русской армии, решился перейти из позиции преследующего в позицию преследуемого. Истинное отступление великой армии началось не 19 октября, когда Наполеон вывел ее из Москвы и повел на Калугу, а вечером 24 октября, когда он решил отказаться от Калуги и отступить назад, к Боровску.

Одну подробность мы должны при этом отметить. В другом месте этой работы я приводил свидетельство о тамбовских крестьянах, плясавших от радости, что их забирают в солдаты и посылают сражаться с ненавистным вторгнувшимся врагом, а вот нелицеприятное показание маршала Бессьера о том, как эти взятые вчера от сохи новобранцы сражались против наполеоновской армии; это мнение он высказал именно тут, на военном совете, вечером в избе, откуда виден был горевший еще Малоярославец и где Наполеон молча выслушивал мнения собранных им маршалов. Бессьер настаивал на невозможности атаковать Кутузова в занятой им позиции: «И какая позиция? Только что мы узнали ее силу. И против каких врагов? Разве мы не видели вчерашнего поля битвы, разве не заметили, с какой яростью русские рекруты, еле вооруженные, едва одетые, шли там на смерть!» Бессьер решительно советовал отступить, не принимать боя со всей армией Кутузова, загородившей путь от Малоярославца к Калуге.

Наполеон последовал его совету. 25 октября на рассвете император поехал верхом к Малоярославцу. С ним была небольшая свита: маршал Бертье, генерал Рапп, несколько

офицеров. Вдруг показался, летя в карьер прямо на Наполеона и его свиту, отряд казаков с копьями наперевес. С криком «ура!» они налетели на эту кучку всадников. Эти их крики и спасли Наполеона от неминуемой смерти или плена: его свита сначала издали не разглядела, кто это мчится на них, и приняли казаков за эскадрон французской кавалерии, и только крик казаков вывел ее из заблуждения. Человек 25 офицеров свиты сгрудились вокруг императора. Один казак налетел уже на Раппа и с размаху пронзил копьем лошадь генерала, но тут подоспели два французских эскадрона, и казаки повернули обратно, бросились на часть французского лагеря, а затем, увлекая за собой нескольких лошадей французской артиллерии, скрылись в лесу.

Наполеон казался вполне спокойным перед случайно избегнутой страшной опасностью. Он проехал в Малоярославец. Город был в развалинах, на улицах валялись обуглившиеся трупы нескольких тысяч людей. Это были жители Малоярославца, русские и французские раненые, живьем сгоревшие накануне при общем пожаре города. Малоярославец все еще горел в разных местах. Наполеон повернул из города в лагерь. Французской армии было велено сворачивать обратно на старую Калужскую дорогу, откуда она только что пришла. Вечером Наполеон призвал доктора Ювана и приказал ему изготовить и вручить немедленно ему, императору, флакон с ядом. Налет казаков был учтен Наполеоном. С этого момента император не расставался с флаконом: попасть в плен живым отныне уже более не грозило ему. 3

Наполеон отступал от Малоярославца на Боровск, Верею, Можайск. На этот раз он приказывал забирать у населения решительно все, что может пригодиться в походе, и беспощадно сжигать города, села и деревни, через которые будет отступать его армия. Правда, после первого прохождения по этим местам русской и следовавшей за ней наполеоновской армии сжигать там осталось очень мало, хотя, например, Боровск оказался уцелевшим. После того как Наполеон вышел из этого города в Верею, Боровск был сожжен до основания. Та же участь постигла Верею, где Наполеон имел лишь краткую стоянку. Тут, в Верее, он соединился с вышедшим из Москвы маршалом Мортье. Мортье привел с собой 8 тысяч солдат, из которых всего 2 тысячи сидели на лошадях, хотя почти весь этот отряд состоял из кавалеристов.

Тут, в Верее, Мортье доложил Наполеону, что перед уходом французов из Москвы его отряд захватил в плен генерала Винценгероде и состоявшего при нем ротмистра Нарышкина, которые отважились проникнуть в Москву будто бы в качестве парламентеров. Узнав о пленении Винценгероде, немца, перешедшего на русскую службу, Наполеон пришел в ярость. Именно иностранцам, англичанам и немцам, окружавшим Александра и Кутузова, он и приписывал злостное влияние, препятствующее заключению мира между ним и царем.

Наполеон приказал привести к себе обоих пленников, Винценгероде и Нарышкина. «Тогда-то, — пишет Нарышкин, — началась ужаснейшая сцена, какую самые старые французские офицеры не помнили, чтобы Наполеон когда-либо кому делал…» «Вы служите русскому императору?» — «Да, государь», — отвечал Винценгероде. — «А кто вам позволил это? Вы негодяй! Итак, всюду я вас встречаю! Зачем вы явились в Москву? Вы явились шпионить!» — «Нет, государь, я доверился чести ваших войск». — «А какое вам было дело до моих войск? Вы негодяй! Взгляните, в каком состоянии Москва! Пятьдесят таких негодяев, как вы, довели ее до этого состояния! Вы склонили императора Александра к войне против меня! Коленкур мне это сказал! Вы организовали избиение моих солдат на дороге! О, ваша судьба свершилась! Жандармы, возьмите его, пусть его расстреляют, пусть меня от него избавят. Борьба со мной — неравная борьба! Через шесть недель я буду в Петербурге! А что до вас касается, — то это покончено. Расстрелять его на месте! Или нет, пусть его судят! Если вы саксонец или баварец, то вы мой подданный, а я ваш государь. Тогда расстрелять его! Если это не так, тогда дело другое». Затем Наполеон обратился к Нарышкину: «Вы — Нарышкин, сын обер-камергера? О, с вами дело другое, вы храбрый человек, вы исполняете свой долг. Но почему же вы служите таким негодяям, как вот этот? Служите вашим русским людям!» К

счастью для Винценгероде, он мог доказать, что, он — пруссак, и это спасло его от немедленной смерти.

От самого Малоярославца до Смоленска отступающая французская армия, проходя разоренными, погорелыми городами и деревнями, сжигала все, что еще пока уцелело. «2 ноября мы опять пошли форсированным маршем, — пишет из Вязьмы Роберт Вильсон, бывший со штабом Кутузова. — Неприятельское движение видно было по непрерывной линии огня, пламени и дыма, которые продолжались на несколько верст». Ожесточение усиливалось с обеих сторон. Крестьяне ловили отстающих французов и беспощадно их избивали, французы в свою очередь проявляли крайнюю жестокость. Когда Наполеон уже прошел с гвардией через Вязьму и пошел к Смоленску, Даву, Мюрату и Нею нужно было отбиваться от Милорадовича, Платова и Орлова, и лишь после прохода главных сил французских корпусов по окраинам горевшей Вязьмы русские вступили в город. И тут генерал Чичагов, несколько опередив главные русские силы, лишь случайно успел подскакать со своим отрядом к уже загоревшейся церкви и, разбив двери, освободить оттуда 300 русских раненых и пленных, которых неприятельские солдаты, уходя, заперли, прежде чем поджечь церковь. Картины полнейшего разорения, уничтожения дотла целых городов и деревень стояли перед глазами крестьян.

После Вязьмы мороза еще не было, но стало много холоднее. Милорадович и Платов шли за французским арьергардом, постоянно его тревожа, казачьи отряды и партизаны рыскали по флангам отступающей французской армии, захватывали обозы, рубили в нечаянных налетах отдалившиеся от главных сил отряды. «Сегодня я видел сцену ужаса, которую редко можно встретить в новейших войнах, — записывает Вильсон 5 ноября в 40 верстах от Вязьмы, по дороге к Смоленску: — 2 тысячи человек, нагих, мертвых или умирающих, и несколько тысяч мертвых лошадей, которые по большей части пали от голода. Сотни несчастных раненых, ползущих из лесов, прибегают к милосердию даже раздраженных крестьян, мстительные выстрелы которых слышны со всех сторон. 200 фур, взорванных на воздух, каждое жилище по дороге — в пламени, остатки всякого рода военной амуниции, валяющиеся на дороге, и суровая зимняя атмосфера — все это представляет по этой дороге зрелище, которое невозможно точно изобразить». Уже между Москвой и Смоленском отступающая армия жила впроголодь. Вот картина с натуры. Пишет французский офицер уже из Смоленска 7 ноября 1812 г.: «…по три-четыре раза в день я переходил от крайних неприятностей к крайнему удовольствию. Нужно сознаться, что эти удовольствия не были очень деликатными: например, одним из живейших удовольствий было найти вечером несколько картофелин, которые нужно было есть без соли со сгнившим хлебом. Вы понимаете наше глубоко жалкое положение? Это длилось 18 дней. Выехав 16 октября из Москвы, я прибыл (в Смоленск. — Е. Т.) 2 ноября». Ему велено было сопровождать 1500 человек раненых, которых эвакуировали из Москвы перед выступлением великой армии. Охранять этот обоз должны были около 300 солдат. По пути на них напали русские партизаны и часть регулярных русских войск. Их обстреливали издали, но им удалось спастись, каким-то образом отразив атаку. «Мы решили стать в маленькое карре и скорее дать себя перебить до последнего человека, чем попасть в плен к крестьянам, которые убили бы нас медленно ударами ножа или каким-нибудь другим любезным способом».

Французы шли в Смоленск по дороге, «уже за три месяца перед тем опустошенной», как пишет один из участников похода, Балари, своей жене во Францию. Целый ряд таких писем, написанных в пути, был перехвачен казаками и находится теперь в наших архивах. В письмах, конечно, французские офицеры и солдаты не смели и сотой доли писать о всем том, что они переживали. Но и того, что они писали, более чем достаточно. «Мы прошли по самой дурной и опустошенной дороге, лошади, павшие в пути, тотчас же пожирались», — пишет другой офицер своей матери, уже придя в Смоленск. «В нашей армии кавалерии уже нет, немного осталось лошадей, и те падают от голода и холода, — и еще до того как падут, их уже распределяют по кускам». Лейб-медик Наполеона доктор Ларрэй пишет жене: «Я еще

никогда так не страдал. Египетский и испанский походы — ничто сравнительно с этим. И мы далеко еще не у конца наших бедствий… Часто мы считали себя счастливыми, когда получали несколько обрывков конской падали, которую находили по дороге». Если такова была жизнь сановника и любимого доктора самого императора, то можно легко себе представить, каково приходилось нижним чинам отступающей армии.

«Вся почти кавалерия идет пешком, не наберется на пятый полк и одной сотни конных», — доносит французский инженер Монфор своему начальнику генералу Шаслу.

Голод приобретал катастрофические размеры для французской армии.

Уже в начале отступления французов, на переходе от Вязьмы до Смоленска, русский генерал Крейц, идя походом со своим полком, услышал какой-то шум в лесу, правее дороги. Въехав в лес, он с ужасом увидел, что французы ели мясо одного из своих умерших товарищей5. Дело было еще до морозов, до полного расстройства французской армии, до неслыханных бедствий, ждавших ее впереди. Это показание Крейца подтверждается рядом других аналогичных.«…Кроме лошадиного мяса, им есть нечего. По оставлении Москвы и Смоленска они едят человеческие тела…»6.

«…Голод вынудил их не только есть палых лошадей, но многие видели, как они жарили себе в пищу мертвое человеческое мясо своего одноземца… Смоленская дорога покрыта на каждом шагу человеческими и лошадиными трупами»7, — пишет Воейков престарелому поэту Державину 11 ноября из Ельни. Как видим, везде тут речь идет о начале отступления, о перегоне Москва — Смоленск. Что поедание трупов сделалось обыденным явлением в конце бедственного отступления, об этом свидетельств сколько угодно.

Но нам важно зафиксировать факт страшного голода именно в тот период, когда еще и морозов не было, а стояла прекрасная солнечная осень.

Именно голод, а не мороз быстро разрушил наполеоновскую армию в этот период отступления. В интересных записках русского генерала Крейца, проделавшего всю кампанию, я нашел следующее свидетельство: «Несправедливо французские писатели обвиняют холод причиною гибели армии Наполеона. От Малого Ярославца до Вязьмы время было очень теплое; от Вязьмы до Смоленска были приморозки. Около г. Ельни выпал первый снег, но очень малый. Днепр однако же покрылся прозрачною льдиною, по которой еще никто не смел ходить, кроме первого Нея. От Смоленска до Борисова холод был сильнее, но сносный, мы ночевали на поле без крыш». В Борисове генерал Крейц в первый раз ночевал под крышей. Это между прочим иллюстрирует, в каких условиях находилась и русская армия в этом походе. «От Борисова до Вильно морозы были весьма суровы, и здесь по большей части французы перемерзли. Они погибли больше от голода, изнурения, беспорядка, грабительств и потери всякой дисциплины, а кавалерия — от тех же причин и от весьма дурной и безрассудной ковки лошадей»8.

Дисциплина в чисто французских частях пока еще держалась. Вот что писал пленный французский кирасирский генерал Опиа императору Александру спустя какой-нибудь месяц после конца отступления великой армии, беспристрастно описав ужасы отступления, — речь идет о суровом, для многих и многих крайне тягостном приказе Наполеона (между Вязьмой и Смоленском) сжечь все кареты, весь колоссальный обоз награбленных в Москве ценностей ввиду военной опасности тащить за собой все эти богатства: «Многие корпуса, многие генералы исполнили приказ в тот же день. Люди испытывали какое-то наслаждение в том, чтобы как можно строже исполнить свои обязанности по отношению к императору. Чем больше обстоятельства казались трудными и критическими, тем больше его любили и тем больше привязывались к нему, как единственному лоцману, который может спасти корабль»9.

Но в немецких и итальянских, а отчасти польских отрядах упадок дисциплины проявлялся уже в самых грозных симптомах. Отступающие французы влекли за собой несколько тысяч русских пленных, взятых с начала войны. Их почти вовсе перестали кормить. Велено было слабосильных пристреливать.

В одной только партии русских пленных, которых французы гнали от Москвы до Смоленска, было пристрелено 611 человек (из них 4 офицера). Пристреливали их как слабосильных10. Пленных убивали даже при малейшем признаке отставания. Их погибло, конечно, много тысяч человек. Трупы расстрелянных русских пленных постоянно встречались между трупами французов по дороге, на всем пути отступления наполеоновской армии.

Народная война, до сих пор олицетворяемая действиями регулярной армии и неорганизованными выступлениями крестьян, отныне приняла еще новую форму. Мы говорим о партизанском движении. 4

Нужно сказать, что мысль о партизанской войне подсказывалась прежде всего примером Испании. Это признавали и вожди русского партизанского движения. Полковник Чуйкевич, писавший свои «Рассуждения о войне 1812 года» во время самой этой войны (хотя книга вышла в свет уже в марте 1813 г.), вспоминает и ставит в образец испанцев: «Быстрые успехи французского оружия в Испании происходили оттого, что жители сей страны, кипя мщением против французов, полагались излишне на личную свою храбрость и правость своего дела. Собранные наскоро ополчения противопоставлялись французским армиям и были разбиваемы врагами, превосходившими их числом и опытностью. Сии несчастные уроки убедили мужественных испанцев переменить образ войны. Они великодушно решились предпочесть хотя долговременную, но верную в пользу их борьбу. Уклоняясь от генеральных сражений с французскими силами, они разделили свои собственные на части… часто прерывали сообщения с Францией, истребляли продовольствие неприятеля и томили его беспрерывными маршами… Тщетно французские полководцы переходили с мечом в руках из одного края Испании в другой, покоряли города и целые области. Великодушный народ не выпускал из рук оружия, правительство не теряло бодрости и осталось твердым в принятом единожды намерении: освободить Испанию от французов или погребсти себя под развалинами. Нет, вы не падете, мужественные испанцы!» Русская народная война, как я уже имел случай заметить, была совсем не похожа на испанскую. Она велась больше всего русскими крестьянами уже в армейских и ополченских мундирах, но от этого она не становилась менее народной.

Одним из проявлений народной войны было партизанское движение. Вот как началась организация этого дела. Еще за пять дней до Бородина к князю Багратиону явился подполковник Денис Давыдов, прослуживший у князя пять лет адъютантом. Он изложил ему свой план, заключавшийся в том, чтобы, пользуясь колоссально растянутой коммуникационной линией Наполеона — от Немана до Гжатска и далее Гжатска, в случае дальнейшего движения французов, — начать постоянные нападения и внезапные налеты на эту линию, на склады, на курьеров с бумагами, на обозы с продовольствием. По мысли Давыдова, небольшие конные отряды совершают внезапные налеты, причем, сделав свое дело, партизаны скрываются от преследования впредь до нового случая; они могли бы, кроме того, стать опорными пунктами и ячейками для сосредоточения и вооружения крестьян. Дело было перед Бородином, и, по словам Давыдова, «общее мнение того времени» было то, что, одержав победу, Наполеон заключит мир и вместе с русской армией пойдет в Индию. «Если должно непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь; в Индии я пропаду со 100 тысячами моих соотечественников без имени и за пользу, чуждую моего отечества, а здесь я умру под знаменем независимости…» — так говорил Давыдов князю Багратиону. Об этом плане Багратион доложил Кутузову, но Кутузов был очень осторожен и к полетам героической фантазии не был склонен, однако разрешил дать Денису Давыдову 50 гусар и 80 казаков. Багратион был недоволен этой скупостью. «Я не понимаю опасений светлейшего, — говорил он, передавая Давыдову о слишком скромных результатах своего ходатайства, — стоит ли

торговаться из-за нескольких сотен человек, когда дело идет о том, что в случае удачи он может лишить неприятеля подвозов, столь ему необходимых, в случае неудачи он лишится только горсти людей. Как же быть, война ведь не для того, чтобы целоваться… Я бы тебе дал с первого же разу 3 тысячи, ибо не люблю ощупью дела делать, но об этом нечего и говорить; князь (Кутузов. — Е. Т.) сам назначил силу партии; надо повиноваться»11. Багратион говорил это за пять дней до смертельной раны в бою, а после его смерти Давыдову и подавно нельзя было надеяться получить больше людей. Но, все равно, он пустился в путь и со своими 130 гусарами и казаками, обходя великую армию в тылу Наполеона.

Таково было очень скромное и пока совсем неприметное начало партизанской войны, бесспорно сыгравшей свою роль в истории 1812 г., и именно во вторую половину войны. Не только кадровые офицеры становились организаторами партизанских отрядов. Были и такие случаи: 31 августа 1812 г. русский арьергард стал отходить с боем из Царева-Займища, куда уже входили французы. Под солдатом драгунского полка Ермолаем Четвертаковым была ранена лошадь, и всадник попал в плен. В Гжатске Четвертакову удалось бежать от конвоя, и он явился в деревню Басманы, лежавшую далеко к югу от столбовой Смоленской дороги, по которой шла французская армия. Здесь у Четвертакова возникает план той самой партизанской войны, который в те дни возник и у Давыдова: Четвертаков пожелал собрать из крестьян партизанский отряд.

Отмечу интересную черту: когда еще в 1804 г. крестьянину Четвертакову «забрили лоб», он бежал из полка, был пойман и наказан розгами. Но теперь он не только решил сам изо всех сил бороться с неприятелем, но и побудить к этому других. Крестьяне деревни Басманы отнеслись к нему недоверчиво, и он нашел лишь одного приверженца. Вдвоем они пошли в другую деревню. По пути они встретили двух французов, убили их и переоделись в их платье. Встретив затем (уже в деревне Задково) двух французских кавалеристов, они и тех убили и взяли их лошадей. Деревня Задково выделила в помощь Четвертакову 47 крестьян. Затем маленький отряд под предводительством Четвертакова перебил сначала партию французских кирасир численностью в 12 человек, потом отчасти перебил, отчасти обратил в бегство французскую полуроту численностью в 59 человек, отобрал экипажи. Эти удачи произвели громадное впечатление, и уж теперь деревня Басманы дала Четвертакову 253 человека добровольцев. Четвертаков, неграмотный человек, оказался прекрасным администратором, тактиком и стратегом партизанской войны. Тревожа неприятеля внезапными нападениями, умно и осторожно выслеживая небольшие французские партии и молниеносными нападениями истребляя их. Четвертакову удалось отстоять от мародерских грабежей громадную территорию вокруг Гжатска. Четвертаков действовал беспощадно, да и ожесточение крестьян было таково, что едва ли можно было бы их удержать. Пленных не брали, но ведь и французы расстреливали без суда, на месте, тех партизан, которые попадали в их руки. В деревне Семионовке крестьяне отряда Четвертакова сожгли 60 французских мародеров. Как мы видели, французы проделывали при случае подобное же.

О Четвертакове заговорили. По первому его требованию к его маленькому (300 человек) постоянному отряду присоединилось однажды около 4 тысяч крестьян, и Четвертаков предпринял не более и не менее как открытое нападение на французский батальон с орудиями, и батальон отступил. 4 тысячи крестьян после этого разошлись по домам, а Четвертаков со своим постоянным отрядом продолжал свое дело. Только когда опасность миновала и французы ушли, Четвертаков явился в ноябре 1812 г. в Могилев в свой полк. Генерал Кологривов и генерал Эммануэль, произведя расследование, убедились в замечательных достижениях Четвертакова, в огромной пользе, им принесенной. Витгенштейн просил Барклая наградить Четвертакова. Наградой был… «знак военного ордена» (не Георгия)12. Тем дело и кончилось. Для крепостного крестьянина путь к действительным отличиям был загражден, каковы бы ни были его подвиги.

Нужно сказать, что истинное историческое место партизан не раз подвергалось спорам. Сначала, по горячим следам, по свежей памяти, о делах Дениса Давыдова, Фигнера,

Сеславина, Вадбольского, Кудашева и других говорилось с восторгом. Лихость и удаль молодецких набегов маленьких партий на большие отряды пленяли воображение. Потом наступила некоторая реакция. Генералы и офицеры регулярных войск, герои Бородина и Малоярославца, не очень охотно соглашались ставить на одну доску со своими товарищами этих удалых наездников, никому не подчинявшихся, неизвестно откуда налетавших, неизвестно куда скрывавшихся, отнимавших обозы, деливших добычу, но неспособных выдержать настоящий открытый бой с регулярными частями отступавшей французской армии. С другой стороны, атаман Платов и казачьи круги настаивали, что именно казаки составляли главную силу партизанских отрядов и что слава партизан есть в сущности слава одного только казачьего войска. Французы очень помогли укреплению этой точки зрения: они много говорили о страшном вреде, который принесли им казаки, и почти ничего не говорили (или говорили с некоторым пренебрежением) о партизанах. Справедливость требует признать, что партизаны принесли очень большую и несомненную пользу начиная с середины сентября и кончая Березиной, т. е. концом ноября.

Партизаны были великолепными и часто безумно смелыми разведчиками. Фигнер, прототип толстовского Долохова, в самом деле езживал во французский лагерь во французском мундире и проделывал это несколько раз. Сеславин в самом деле подкрался к французскому унтер-офицеру, взвалил его к себе на седло и привез в русскую ставку. Давыдов с партией в 200–300 человек действительно наводил панику и, обращая в бегство отряды в пять раз большие, забирал обоз, отбивал русских пленных, иногда захватывал орудия. Крестьяне гораздо легче и проще сходились и сносились с партизанами и их начальниками, чем с регулярными частями армии.

Преувеличения, допущенные некоторыми партизанами при описании своих действии, вызвали между прочим и слишком уж суровую оценку со стороны будущего декабриста князя Сергея Волконского, который и сам некоторое время командовал в 1812 г. партизанским отрядом: «Описывая партизанские действия своего отряда, я не буду морочить читателя, как это многие партизаны делают, рассказами о многих небывалых стычках и опасностях; и по крайней мере, добросовестностью моей, в сравнении с преувеличенными рассказами других партизанов, приобрету доверие к моим запискам»13. Совершенно верно, были преувеличения; но были за партизанами и бесспорные, подвиги находчивости, бесстрашия, самоотвержения, и свое почетное место в истории Отечественной войны, в героической эпопее защиты родины от иноземного завоевателя партизаны заняли прочно. Умел при случае прихвастнуть, но гораздо умереннее, и «поэт-партизан» Денис Давыдов. Но чувство правды все-таки брало у Дениса Давыдова верх, и его записки являются, что бы о них в свое время ни говорили враги лихого наездника, драгоценным источником для истории 1812 г., к которому, конечно, нужно относиться с серьезной критикой, но отбрасывать который нельзя ни в каком случае. Описывая ряд ратных подвигов и удалых предприятий партизанских отрядов, нападавших на тыл, на обозы, на отбившиеся небольшие отряды французской армии, он в то же время определенно говорит, что нападение партизан на большие части, например на гвардию Наполеона, им было решительно не под силу. «Меня нельзя упрекнуть, чтобы я уступил кому-либо во вражде к посягателю на независимость и честь моей родины… Товарищи мои помнят, если не слабые успехи мои, то по крайней мере, мои усилия, клонившиеся ко вреду неприятеля в течение Отечественной и заграничной войн; они также помнят мое удивление, мои восторги, возбужденные подвигами Наполеона, и уважение к его войскам, которое я питал в душе моей в пылу борьбы. Солдат, я и с оружием в руках, не переставал отдавать справедливость первому солдату веков и мира, я был обворожен храбростью, в какую бы она одежду ни облекалась, в каких бы краях она ни проявлялась. Хотя Багратионово „браво“, вырвавшееся в похвалу неприятеля среди самого пыла Бородинской битвы, отозвалось в душе моей, но оно ее не удивило»14. Таково было умонастроение Давыдова. Он вел себя по-рыцарски относительно пленных врагов. Этого нельзя сказать о многих других начальниках партизанских отрядов. Особой неумолимостью отличался Фигнер (погибший уже в войну 1813 г.).

Особенно важна была для партизан помощь крестьянства в самом начале партизанщины. Крестьяне Бронницкого уезда Московской губернии, крестьяне села Николы-Погорелого близ г. Вязьмы, бежецкие, дорогобужские, серпуховские крестьяне принесли весьма существенную пользу партизанским отрядам. Они выслеживали отдельные неприятельские партии и отряды, истребляли французских фуражиров и мародеров, с полной готовностью доставляли в партизанские отряды продовольствие людям и корм лошадям. Без этой помощи партизаны не могли бы и вполовину добиться тех результатов, которых они на самом деле добились.

Потом началось отступление великой армии, и началось оно с бессмысленного взрыва Кремля, что довело до бешенства гнев возвращающегося в Москву народа, нашедшего весь город в развалинах. На этот заключительный акт — взрыв Кремля — посмотрели как на злобное издевательство. Отступление сопровождалось планомерным, по приказу Наполеона, сожжением и городов и сел, через которые двигалась французская армия. Крестьяне, находя убитых русских пленных по обе стороны дороги, тут же приносили клятву не щадить врагов.

Но действия крестьян не ограничивались только помощью партизанским отрядам, поимкой и истреблением мародеров и отставших, не ограничивались борьбой с фуражирами и уничтожением их, хотя, заметим, это-то и было наиболее страшным, уничтожающим ударом, который нанесли русские крестьяне великой армии, заморив ее голодом. Герасим Курин, крестьянин села Павлова (близ г. Богородска), составил отряд крестьян, организовал их, вооружил отнятым у убитых французов оружием и вместе со своим помощником, крестьянином Стуловым, повел свой отряд на французов и в бою с французскими кавалеристами обратил их в бегство. Крестьянки, озлобленные насилиями французов над женщинами, попадающими в их руки, действовали энергично и проявляли особенную жестокость по отношению к неприятелю. Слухи (вполне достоверные и подтвержденные) говорили о насилиях французов над женщинами, попадающимися в их руки. Старостиха Василиса (Сычевского уезда Смоленской губернии), бравшая в плен французов, лично перебившая вилами и косой немало французских солдат, нападавшая, как о ней рассказывали, на отставшие части обозов, не была исключением. Участие женщин в народной войне отмечается всеми источниками. О той же Василисе или о кружевнице Прасковье, действовавшей около Духовщины, ходили целые легенды, но трудно выделить в них истину, отделить историю от фантазии. Официальная историография долго пренебрегала собиранием и уточнением фактов в области народной войны, останавливаясь почти исключительно на действиях регулярной армии и вождей партизан (хотя и о партизанах говорилось очень мало и бегло), а когда вымерли современники, стало подавно очень трудно собирать вполне достоверный фактический материал. Конечно, наступательные действия (вроде выступления Курина и Стулова или Четвертакова) были не слишком часты; чаще всего действия крестьян ограничивались организацией слежки за неприятелем, обороной своих деревень и целых волостей от нападения французов и мародеров и истреблением нападающих. И это было бесконечно губительнее для французской армии, чем любые, даже самые удачные для крестьян налеты, и не пожар Москвы, не морозы, которых почти и не было до самого Смоленска, а русские крестьяне, ожесточенно боровшиеся с врагом, нанесли страшный удар отступающей великой армии, окружили ее плотной стеной непримиримой ненависти и подготовили ее конечную гибель.

Выше я отметил опасения правительства и беспокойное его отношение к крестьянству в 1812 г. До чего эта лишенная в тот момент оснований нелепая трусость доводила высшее российское правительство, явствует из следующего приказа. Стоит близ г. Клина ротмистр Нарышкин с кавалерийским отрядом. Он, пользуясь горячим желанием крестьян помочь армии против неприятеля, раздает имеющееся у него в отряде лишнее оружие крестьянам, да крестьяне и сами вооружаются французским оружием, которое они снимают с убитых ими французов — фуражиров и мародеров. Вооруженные таким образом крестьянские маленькие партии, шаря возле Москвы, беспощадно убивали французов, пытавшихся из Москвы съездить поискать по окрестностям сена и овса для лошадей. Пользу эти крестьянские

партизаны приносили, таким образом, огромную. И вдруг Нарышкин получает неожиданную бумагу свыше. Предоставим слово ему самому: «На основании ложных донесений и низкой клеветы, я получил приказание обезоружить крестьян и расстреливать тех, кто будет уличен в возмущении. Удивленный приказанием, столь не отвечавшим великодушному… поведению крестьян, я отвечал, что не могу обезоружить руки, которые я сам вооружил, и которые служили к уничтожению врагов отечества, и называть мятежниками тех, которые жертвовали своею жизнью для защиты… независимости, жен и жилищ, и имя изменника принадлежит тем, кто, в такую священную для России минуту, осмеливается клеветать на самых ее усердных и верных защитников»15. Таких случаев можно отметить множество. Есть ряд документальных доказательств того бесспорного факта, что правительство всячески мешало крестьянскому партизанскому движению и старалось по мере сил его дезорганизовать. Оно боялось давать крестьянам оружие против французов, боялось, чтобы это оружие не повернулось потом против помещиков. Боялся Александр, боялся «новгородский помещик» Аракчеев, боялся Балашов, боялся и сверхпатриот Ростопчин, больше всех запугивавший царя призраком Пугачева. К счастью для России, крестьяне в 1812 г. не повиновались этим приказам об их разоружении и продолжали борьбу с врагом до тех пор, пока захватчики окончательно не были изгнаны из России.

Партизанская война, крестьянская активная борьба, казачьи налеты — все это при усиливающемся недоедании, при ежедневном падеже лошадей заставляло французов бросать по дороге пушки, бросать часть клади с возов, а главное — бросать больных и раненых товарищей на лютую смерть, ожидавшую их, если только им не посчастливилось бы попасть в руки регулярной армии. Изнуренные небывалыми страданиями, полуголодные, ослабевшие войска шли по разоренной вконец дороге, обозначая свой путь трупами людей и лошадей. Около Можайска отступающая армия проходила мимо громадной равнины, пересеченной оврагом и речкой, с небольшими холмами, с развалинами и почернелыми бревнами двух деревень. Вся равнина была покрыта гниющими, разложившимися многими тысячами трупов и людей и лошадей, исковерканными пушками, ржавым оружием, валявшимся в беспорядке и негодным к употреблению, потому что годное было унесено. Солдаты французской армии не сразу узнали страшное место. Это было Бородино с его все еще не похороненными мертвецами. Ужасающее впечатление производило теперь это поле великой битвы. Шедшие на мучительные страдания и смерть в последний раз взглянули на товарищей, уже погибших.

Император с гвардией шел в авангарде. Выйдя из Вереи 28 октября, Наполеон 30-го был в Гжатске, 1 ноября — в Вязьме, 2 ноября — в Семлеве, 3-го — в Славкове, 5-го — в Дорогобуже, 7-го — в селе Михайлове и 8-го вступил в Смоленск. Армия входила вслед за ним частями с 8 по 15 ноября. В течение всего этого бедственного пути от Малоярославца до Смоленска все упования — и самого Наполеона и его армии — связывались со Смоленском, где предполагались продовольственные запасы и возможность сколько-нибудь спокойной стоянки и отдыха для замученных, голодных людей и лошадей. Фельдмаршал двигался южнее, по параллельной линии, с поражавшей французов медленностью. Это «параллельное преследование», задуманное и осуществленное Кутузовым, и губило вернее всего наполеоновскую армию. Французский штаб этого, конечно, тогда не знал. Казалось, в Смоленске будет хороший отдых, солдаты смогут прийти в себя, опомниться от перенесенных ими страшных страданий, но оказалось другое. В мертвом, полуразрушенном, полусгоревшем городе отступающую армию ждал удар, сломивший окончательно дух многих ее частей: в Смоленске почти никаких припасов не оказалось.

С этого момента отступление окончательно стало превращаться в бегство, а все, что было перенесено от Малоярославца до Смоленска, должно было побледнеть перед той бездной, которая разверзлась под ногами великой армии уже после Смоленска и которая ее поглотила почти целиком.

Глава X

Березина и гибель великой армии

1

Наступали последние дни кровавой борьбы. От 17 ноября, когда французская армия тронулась из Смоленска, до вечера 14 декабря 1812 г., когда маршал Ней, во главе нескольких сот боеспособных солдат и нескольких тысяч безоружных, раненых, больных, с боем, преследуемый Платовым, перешел последним из французов через Неман и вышел на прусский берег, длилась агония наполеоновской армии, и перед ее верховным вождем вырастали все яснее и непреложнее неслыханные, устрашающие размеры понесенного им поражения. Французские солдаты и офицеры, которым удалось пережить эту войну и тяжелый путь отступления на первом этапе (Малоярославец — Верея — Вязьма — Смоленск), даже и представить себе не могли тех ужасов, которые пришлось им испытать на втором и последнем этапе (Смоленск — Красное — Березина — Вильно — Ковно).

К истории этих последних 27 дней великой войны мы теперь и обратимся.

Но начинать рассказ нужно с тех нескольких суток, которые Наполеон и его армия провели в Смоленске. Смоленск не дал армии ни пищи, ни отдыха в тех размерах которые можно было бы назвать сколько-нибудь удовлетворительными. В письмах на родину лица наполеоновской свиты пытаются отшутиться от этого смоленского тяжкого разочарования; но им это плохо удается: «Вы видите, что все наши приготовления к тому, чтобы провести зиму в Москве, оказались ненужными и что все наши надежды на удовольствия и на спектакли исчезли, но, однако, еще не совсем, потому что мы тащим за собой комическую труппу, и если она не останется на дороге, мы доставим себе удовольствие смотреть комедии там, где мы расположимся на зимние квартиры. Мы ничего совсем не знаем о том, где это будет возможно, это зависит от событий и от движений неприятеля. Смоленск сохранился не лучше, чем Москва, он выгорел, конечно, до такой же степени, как и столица», — так писал Дюрок в Париж камергеру Монтескиу из Смоленска 10 ноября 1812 г.1

В Смоленске не оказалось почти ничего из тех обильных запасов, на которые рассчитывали. Лошади пали почти все, потому что в Смоленске и вокруг Смоленска никакого фуража достать было невозможно. Скот, который был в свое время доставлен, съели те маршевые батальоны, которые с августа до начала октября проходили через Смоленск на подкрепление великой армии, стоявшей в Москве, и все-таки, если бы армия, придя в Смоленск, была хотя бы отдаленно похожа на одну из тех армий, с которыми Наполеон совершал свои прежние походы, смоленских запасов хватило бы, — правда, на очень и очень скудные рационы, но хватило бы на 15–20 дней по крайней мере. Однако пестрая, разноязычная масса голодных, озлобленных, совсем чужих друг другу людей, уже чующая над собой смертельную опасность, вступив в Смоленск, повела себя так, что и речи не могло быть о сколько-нибудь правильной, организованно проведенной выдаче рационов. Гвардия получала все, в чем нуждалась, и в таком изобилии, о котором остальные части не смели и думать. Озлобление против гвардии, вызванное завистью, охватывало все другие части армии, но так как гвардейцы сохранили полностью дисциплину, исправное оружие и товарищескую прочную связь, то вступать с ней в борьбу не приходилось, но зато другие части, потеряв всякое чувство дисциплины, бросились, как голодные дикие звери, на склады, разбили и растащили все, что там нашли, и никакие угрозы и окрики начальства не могли ничего с ними поделать.

Смоленские магазины перестали существовать чуть ли уже не на третий день. Дисциплина падала с ужасающей быстротой, озверение голодных германских, польских, итальянских солдат, а также уже и некоторых частей чисто французских (чего еще в Москве не замечалось) дошло до неслыханной степени. Французские офицеры в своих частных письмах утверждали, что в сумерках и в ночное время человеку, несущему хлеб, было опасно

проходить по улицам Смоленска: нападут и убьют. Расстрелы уже не могли восстановить дисциплину. Испугать смертной казнью было трудно тех, кто ежедневно ждал смерти от голода, от истощения и от усталости. Беспощадная суровость Даву еще кое-как поддерживала дисциплину в его корпусе. Другим маршалам это удавалось очень плохо. Смоленск обманул ожидания армии еще и в другом крайне существенном отношении. Отдых совсем не удался: в первые дни — ожесточенная борьба вокруг растаскиваемых магазинов, вокруг распределения найденных запасов по армейским частям, а потом — тревога, слухи о надвигающихся русских (разъезды казаков), сборы к выступлению из города.

Наполеон входил в Смоленск, обуреваемый самыми сложными и грозными заботами. Он учитывал не только убийственные условия, в которых совершалось до сих пор отступление голодной армии, почти лишенной уже конных частей и бросавшей по дороге орудия за невозможностью их тащить. Он учитывал и то, что русские близко следовали за арьергардом, что у Колоцкого монастыря и дальше Даву должен был выдерживать бой и потерял в пути убитыми и ранеными до 10 тысяч человек.

Он знал, что 3 ноября вице-король Евгений и маршал Ней подверглись под Вязьмой нападению со стороны русского авангарда под начальством Милорадовича и что бой длился до ночи с 3 на 4 ноября и стоил много жертв французским корпусам и Евгения, и Нея, и Даву.

Уже на последних переходах перед Смоленском начался обильный снегопад, страшно затруднявший движение солдат, непривычных к снежной дороге. Холод давал себя чувствовать все больше и больше. В Смоленске отогреться в разрушенных жилищах было очень мудрено. Солдаты на площадях жгли кареты, телеги, ящики и жарили на огне мясо павших лошадей. В Смоленске уже стали учащаться случаи замерзания людей, отмораживания рук и ног.

Тревожные вести пришли к императору из далекой «мировой столицы». Курьер из Парижа привез в Дорогобуж известие о фантастическом «заговоре генерала Малэ». Этот Малэ, республиканский генерал, бежал из тюрьмы, где он сидел, объявил одной воинской части в Париже, будто император убит в России, арестовал министра полиции, ранил военного министра… Смятение, правда, продолжалось всего три часа, Малэ был арестован и расстрелян, все это казалось больше выходкой сумасшедшего, чем серьезным делом, но Наполеон был встревожен и раздражен. Ничего подобного он не предполагал возможным при том прочном, как ему казалось, порядке, который он установил еще с 1799 г. во Франции. Ясно было, что пора ему лично быть в Париже… Не хотел бы он задерживаться при этих условиях в Смоленске, даже если бы это от него зависело, а это от него не зависело. Всякая задержка грозила голодной смертью остаткам армии.

14 ноября, после пятидневного пребывания в Смоленске, Наполеон с гвардией вышел из города по направлению к Красному. За ним шли остатки корпусов вице-короля Евгения, Даву, Мюрата. За всей этой армией шел арьергард под начальством маршала Нея, а за Неем шли русские. Приблизились дни, когда Нею суждено было спасти отчаянной борьбой и искусным маневрированием как самого Наполеона, так и те 30–35 тысяч бойцов и 30 тысяч больных, почти безоружных, усталых, уже не годных к серьезному бою солдат, которые плелись за вышедшей из Смоленска армией, направляясь вместе с ней через Красное и Дубровну в Оршу.

Волнение в русском штабе все возрастало, в Петербурге также: неужели Наполеон уйдет, неужели фельдмаршал в самом деле хочет лишить Россию славы окончательного сокрушения врага и не желает избавить Европу от железного ига, которое останется в полной силе, если завоеватель уцелеет, потому что он, вернувшись в свою империю, создаст новые легионы? Фельдмаршал молчал. Ни Александр, ни Ермолов, ни Толь, ни Коновницын не узнали в эти дни его истинных намерений. 2

Положение Кутузова в тот момент, когда русская армия, задерживаемая арьергардом маршала Нея, с боем приближалась к Красному, с одной стороны, было, конечно, гораздо лучше, гораздо тверже, чем после сдачи Москвы и даже после Тарутина и Малоярославца. Победа над Наполеоном обозначилась уже вполне. Вторгшаяся армия, страшно уменьшенная, спешила поскорее выбраться из России, и все ее желания были устремлены лишь на то, как бы добраться до границы, не погибнуть от голода и холода. Но, с другой стороны, Кутузову становилось все затруднительнее вести свою стратегическо-политическую линию, выпроваживая Наполеона из России без ненужных кровопролитных сражений. Кутузов явно не верил в возможность для Наполеона полностью сохранить свою мировую империю после поражения в России и тратить русскую кровь для достижения и без того неизбежного и очевидного краха Наполеона не желал. Очень уж ясно выявлялась предумышленность в действиях старого фельдмаршала. Царь, который вообще никогда не верил ни одному слову Кутузова, подавно не верил ему теперь, когда со всех сторон говорили о непонятной нерешительности и «трусости» фельдмаршала.

Недоброжелательство и недоверие Александра к Кутузову, антипатия и неуважение Кутузова к Александру были, по-видимому, так велики, что и тот и другой совсем перестали сдерживаться и соблюдать меру.

Начинается отступление великой армии, уже произошли битвы под Тарутином, под Малоярославцем, наступает критический поворот в страшной войне, а Кутузов и царь все-таки находят время делать друг другу неприятности. Главнокомандующий пишет царю «рапорт»: «Генерал от кавалерии барон Беннигсен представляет за отличие в продолжение кампании настоящей и за сражения 24 и 26 августа флигель-адъютанта вашего императорского величества полковника князя Голицына к возвышению в генерал-адъютанты. Оное представление подношу вашему величеству без присовокупления моего мнения. Фельдмаршал князь Кутузов, 26 октября 1812 г.». Кутузов знал, конечно, что этого назначения Голицына хочет сам Александр, и Александр знал, что Кутузов это знает и не может не знать и что Кутузов именно потому и пишет свою оскорбительную бумагу. И царь отвечает ему: «Я предоставляю себе выбирать своих генерал-адъютантов». Но царь его боится и просит сообщить это Беннигсену, чтобы вышло, будто это выговор Беннигсену. Такими вот колкостями Александр и Кутузов обменивались в течение всей войны.

Кутузов не мог отделаться от Александра Павловича, но от некоторых врагов помельче он освободился без особых церемоний. Я уже вскользь упомянул, как он выслал вон из армии графа Беннигсена, врага и клеветника, всячески за глаза поносившего и позорившего фельдмаршала. Если принять во внимание непрерывные доносы Беннигсена на Кутузова, посылаемые Александру, который вполне Беннигсену сочувствовал, то звучит довольно ехидной иронией коротенькое извещение, которым фельдмаршал уведомил царя о том, что выслал вон из армии (и именно за доносы царю) этого царского корреспондента: «По случаю болезненных припадков генерала Беннигсена и по разным другим обстоятельствам предписал я ему отправиться в Калугу и ожидать там дальнейшего назначения от вашего величества, о чем счастие имею донести»2. Какой курьезный смысл приобретает здесь эта шаблонная формула о «счастье»! Александр проглотил и эту обиду и даже не спросил, почему Кутузов счел Калугу подходящим курортом для «больного» Беннигсена.

Еще раньше уехал из армии Барклай, получивший от Кутузова уже 4 октября (22 сентября) позволение «за болезнью отлучиться». Он отъехал в Калугу и оттуда просил Александра «за милость» об увольнении ввиду «беспорядков, изнурения и безначалия, существующих в армии». Барклай был глубоко уязвлен и не мог служить с Кутузовым, не мог простить ему, что тот похитил у него его пост «и власть, и замысел, задуманный глубоко», как впоследствии говорили о Барклае и о Кутузове многие из пушкинского поколения.

«Великое дело сделано. Теперь остается только пожать жатву, — сказал Барклай, прощаясь со своим адъютантом Левенштерном. — Я передал фельдмаршалу армию сохраненную,

хорошо одетую, вооруженную и не деморализованную… Фельдмаршал ни с кем не хочет разделить славы изгнания неприятеля и империи». Барклай, уезжая из армии, сказал еще: «Народ, который бросит теперь, может быть, в меня камень, позже отдаст мне справедливость»3. Оба предсказания исполнились. В Калуге, куда он отправился из армии, «народ собрался толпою, и град камней посыпался в карету. Раздавались крики: „Смотрите, вот изменник!“ Только строжайшее инкогнито спасло его от дальнейших оскорблений»4. Исполнилось и другое его предсказание. Величайший поэт русского народа признал заслугу Барклая и поклонился его тени, но до стихотворения Пушкина «Полководец» Барклай уже не дожил. Во всяком случае в тот момент отъезд Барклая принес облегчение Кутузову, почти так же, как и вынужденное удаление Беннигсена.

Но самый сильный враг остался. Роберт Вильсон, наблюдая действия Кутузова, уже прямо стал подозревать его в измене и мечтать о следствии над ним: «Я имел прискорбие опять видеть, что Бонапарт вырвался: несмотря на то, что мы отдыхали два дня и шли очень, очень медленно, мы обошли его. Много сделано, но все могло бы быть кончено. Я один из тех, которые думают, что морской устав должен бы иметь действие и над людьми военными. Почему от них не требуют доказательства, что они действовали самым лучшим образом? Мне кажется, что рано или поздно откроется, отчего и почему все это случается», — так пишет Вильсон великобританскому послу Каткэрту.

Это было уже после разговора Кутузова с Вильсоном, когда Кутузов напрямик сказал, что стремится изгнать Наполеона из России, но что вовсе не видит особой необходимости для России тратить свои силы на конечное уничтожение Наполеона, потому что плоды такой победы пожнет Англия, а не Россия. Намекая на этот разговор, Вильсон пишет Каткэрту, что зато адмиралу Чичагову (который должен был загородить Наполеону выход из России) можно доверять вполне: «Я надеюсь, что адмирал не будет избегать неприятеля, но порядочно с ним сцепится. Я не имею ни малейшего опасения насчет политических спекуляций его»5. Последние слова — это прямой и очень злобный намек на Кутузова. Сместить Кутузова! Это была мечта Вильсона, вслух высказываемая, и, конечно, мечта лорда Каткэрта, мечта царя.

«Удобные случаи кончить сию войну были пропущены, хотя представлялись неоднократно, — жалуется Вильсон в письме к Александру 12 ноября 1812 г. из села Лапково за пять дней до начала сражений под Красным. — В теперешней позиции теряем мы день, сделав роздых без нужды; если мы останемся на месте другие 24 часа, Бонапарт восстановит свои коммуникации и, дойдя до Польши, будет страшным, имея до 100 тысяч войска. Он много потерпел от отрядов наших и от самой природы, но не был еще разбит. Напротив того, он мог увидеть, что и ослабевшее могущество его казалось страшным тому генералу, который предводительствует армиями вашего величества. В армии нет ни одного офицера, который не был бы в том уверен, хотя не все одинакового мнения касательно побудительных причин таковой бесполезной, безрассудной и дорого стоящей осторожности»6.

Тут опять намек на «политические спекуляции» Кутузова. Но как ни мешал Кутузову Вильсон, как ни пытался его дискредитировать, фельдмаршал не мог Вильсона выслать вон из армии, как Беннигсена. Он должен был терпеть его. Хуже было то, что в собственном штабе, среди преданных ему людей, Кутузов не встречал уже поддержки. «Марш от Малоярославца до Днепра представлял беспрерывное противодействие Кутузова Коновницыну и Толю. Оба последние хотели преградить путь Наполеону быстрым движением на Вязьму. Кутузов хотел, так сказать, строить золотой мост расстроенному неприятелю и, не пущаясь с утомленным войском на отвагу против неприятеля, искусно маневрирующего, хотел предоставить свежим войскам Чичагова довершить поражение его, тогда как длинный марш ослабил бы неприятельское войско еще более», — пишет очевидец, офицер квартирмейстерской части А. А. Щербинин, не отлучавшийся от главной квартиры Кутузова. Толь и Коновницын были в отчаянии. Кутузов не хотел нагнать Наполеона в Вязьме и медлил в селе Полотняные Заводы. «Петр Петрович, если мы фельдмаршала не подвинем, то мы здесь зазимуем!»7 — вскричал, забыв всякую дисциплину. Толь, вбежав в канцелярию, где работал Коновницын со

своими офицерами. Но в том-то и дело, что Кутузов вовсе не был «утомленным старичком, начавшим увлекаться комфортом», как называл его Щербинин и каким, несомненно, в минуту досады считали его Толь и Коновницын. Кутузов не хотел догонять Наполеона, и ничего с ним нельзя было поделать. Толь и Коновницын не интриговали, как Беннигсен и сэр Роберт Вильсон, они уважали Кутузова, но так же отказывались понять его тактику, как ненавидевшие фельдмаршала Беннигсен и царь.

Когда под Вязьмой произошло удачное для русских нападение на французский арьергард, Кутузов был всего в 6 верстах от Вязьмы с главными силами. «Он слышал канонаду так ясно, как будто она происходила у него в передней, но несмотря на настояния всех значительных лиц главной квартиры, он остался безучастным зрителем этого боя, который мог бы иметь последствием уничтожение большей части армии Наполеона и взятие нами в плен маршала и вице-короля… В главной квартире все горели нетерпением сразиться с неприятелем; генералы и офицеры роптали и жгли бивуаки, чтобы доказать, что они более не нужны; все только и ожидали сигнала к битве. Но сигнала этого не последовало, Ничто не могло понудить Кутузова действовать, он рассердился даже на тех, кто доказывал ему, до какой степени неприятельская армия была деморализована, он прогнал меня из кабинета за то, что, возвратясь с поля битвы, я сказал ему, что половина французской армии сгнила… Кутузов упорно держался своей системы действия и шел параллельно с неприятелем. Он не хотел рисковать и предпочел подвергнуться порицанию всей армии»8, - говорит в общем хорошо относящийся к Кутузову генерал Левенштерн.

Он тоже не понимал основной мысли Кутузова, которая вела и привела к гибели великую армию Наполеона без излишних жертв с русской стороны. Вильсон — тот уже понял Кутузова, но тем более его возненавидел, а с каждым этапом, приближавшим Наполеона к границе, с каждым освобождаемым от него участком русской земли авторитет Кутузова вырастал и в армии и в населении, и слишком короткими оказывались руки у царя, чтобы избавиться от фельдмаршала.

Двум очень большим испытаниям подверглась вера в Кутузова именно у тех, кто его искренне любил и почитал: у Дохтурова, Дениса Давыдова, Коновницына, Раевского, не говоря уже о не очень его любившем Толе. И случилось это именно, когда Наполеон вышел из Смоленска и начался заключительный акт отступления остатков великой армии. Первым испытанием были бои под Красным, вторым — Березина. В обоих случаях, по мнению ближайшего окружения Кутузова, старый фельдмаршал упустил Наполеона.

Весь кутузовский штаб после боев под Красным окончательно убедился, что Кутузов не хочет путем усиленных кровопролитных битв вызвать решительную развязку. «Я не имею претензии критиковать действия наших генералов во время трехдневного сражения под Красным, но не подлежит сомнению, что если бы они выказали более энергии, то ни Даву, ни вице-король и в особенности Ней не могли бы ускользнуть от них. Корф, Ермолов, Бороздин и Розен ничуть не воспользовались своим благоприятным положением», — пишет Левенштерн и тут же приводит очень важное показание: «Генерал Корф, человек весьма прямой, громко высказал, что он исполнил буквально приказание фельдмаршала облегчить неприятелю отступление»9.

В своих позднейших воспоминаниях Вильсон окончательно отрешается от явно несостоятельного укора Кутузову в трусости и прямо говорит о «тайной причине», влиявшей на поведение фельдмаршала под Красным. «Может показаться позднейшим временам невероятным, что было допущено, чтобы Наполеон при этих обстоятельствах ускользнул. Естественно предположить, что была тут какая-то скрытая причина, которая влияла на поведение Кутузова, и что один только страх пред неудачей не мог бы довести до таких размеров малодушия».

«Сражение под Красным, носящее у некоторых военных писателей пышное наименование

трехдневного боя, может быть по всей справедливости названо лишь трехдневным поиском голодных, полунагих французов; подобными трофеями могли гордиться ничтожные отряды вроде моего, но не главная армия. Целые толпы французов при одном появлении небольших наших отрядов на большой дороге поспешно бросали оружие»10, - говорит партизан Денис Давыдов 15, 16, 17, 18 ноября, в особенности же 17-го и 18-го, шли эти бои, в которых французы кое-где отступали в порядке, а кое-где поддавались панике и ударялись в бегство, бросая оружие. Наполеон с гвардией и с более или менее сохранившимися частями вовсе и не стремился под Красным удержать позиции: он хотел только вывести из боя то, что можно было. Он спешил к Березине. Уход из России, уход как можно более поспешный, один только мог сохранить хоть часть тех 30–40 тысяч бойцов, которые у него остались. Под Красным произошел своего рода отбор: погибли в бою или сдались в плен наименее боеспособные люди, которые просто не могли уже поспеть за уходящими частями. Но все-таки характеристика, которую дает боям под Красным Денис Давыдов, не совсем справедлива. Кстати, это сражение, неизвестно почему, он называет, как и Левенштерн, «трехдневным», тогда как бои под Красным длились не три, а четыре дня и сражение стоило не только французам, но и русским немалых жертв.

Вот как начались эти четырехдневные бои.

Русская армия, двигаясь по-прежнему южнее и параллельно линии отступления Наполеона, на Смоленск за ним не пошла, а направилась от Ельни прямо к г. Красному, юго-западнее Смоленска, наперерез отступлению Наполеона от Смоленска к Березине. Тут 15, 16, 17 и 18 ноября и произошел ряд боев с французами. Еще 15 ноября схватка русского генерала Ожаровского с молодой гвардией была не совсем удачна для русских. 16-го, 17-го и 18-го Наполеон, маневрируя порой (именно 16-го) как бы в наступательном духе, на самом деле только и думал о выходе из боя. Он долго ждал Нея, но, не получая от него известий, приказал всей своей армии отступить от Красного. Около Доброго, западнее Красного, уже стоял Тормасов Штаб Кутузова хотел, чтобы быстро двинулись главные силы на помощь Тормасову, рассчитывая взять армию Наполеона в мешок. Кутузов не сделал этого, учитывая действительное состояние русской армии в этот момент.

Наполеон ушел к Орше и, уже войдя в Оршу, диктуя приказы, подсчитывая войска, не переставал говорить о Нее, о своем «храбрейшем из храбрых», как он его называл. Гибель маршала Нея с его 7–8 тысячами арьергарда казалась несомненной. Ведь оттого и затягивались так бои под Красным, что Наполеон все ждал, пока подойдет арьергард, но когда стало ясно, что Нею не выбраться уже из кольца русских войск. Наполеон махнул рукой на все, связанное с арьергардом, и отступил на Оршу.

Ней, командир арьергарда, покинул Смоленск последним 17 ноября. У него было около 7 тысяч (по другим данным, около 8500) бойцов, кроме того, небольшой отряд кавалерии (400–500 человек), и за ним тянулась безоружная масса больных и раненых (еще около 8 тысяч человек). Орудий у маршала было 12.

18 ноября Ней, еще не зная, что Наполеон ушел из Красного, пытался с боем прорваться сквозь соединенные русские силы — Милорадовича, Паскевича и князя Долгорукого. Нея отбросили обратно к лесу, откуда он вышел. Русские были в тылу, русская пехота стояла по обе стороны, русские открыли артиллерийский огонь с флангов. Впереди был лес, запорошенный снегом, без дорог, за лесом — Днепр. Французские орудия были подбиты. Ней был сдавлен со всех сторон. Вдруг русский офицер явился перед Неем с предложением сдаться: «Фельдмаршал Кутузов не посмел бы сделать такое жестокое предложение столь знаменитому воину, если бы у того оставался хоть один шанс спасения. Но 80 тысяч русских перед ним, и если он в этом сомневается, Кутузов предлагает ему послать кого-нибудь пройтись по русским рядам и сосчитать их силы». Что Наполеон и маршалы уже ушли и находятся очень далеко, это Ней знал. Слова русского офицера звучали убедительно.

Есть несколько вполне схожих показании об ответе, который дал Ней: «Императорский маршал в плен не сдается! Под огнем люди в переговоры не вступают!» По другой версии, он прервал речь офицера словами: «Вы, сударь, когда-нибудь слыхали, чтобы императорские маршалы сдавались в плен? Нет? Так извольте замолчать!» Ней сказал своим генералам: «Продвигаться сквозь лес! Нет дорог? Продвигаться без дорог! Идти к Днепру и перейти через Днепр! Река еще не совсем замерзла? Замерзнет! Марш!» — приказал Ней. Около 3 тысяч человек пошло за ним без дорог сквозь покрытый снегом лес к реке. Русские сначала потеряли их из вида и стали брать в плен те тысячи безоружных и раненых, которые плелись за арьергардом. Ней дошел до реки. Тонкий, еще хрупкий лед покрывал поверхность Днепра. «Вперед!» — крикнул маршал и первый вступил на ненадежный лед.

По этому льду еще никто из местных жителей не отваживался пройти. Ней прошел первый со своим корпусом. Ней перешел Днепр, потеряв из 3 тысяч солдат и офицеров 2200 человек. Те солдаты его арьергарда, которые спаслись при этой переправе, рассказывали о том, как много их товарищей провалилось в полыньи и исчезло подо льдом на их глазах. Самое болезненное впечатление на перешедших через Днепр произвело оставление на берегу нескольких фур с ранеными, больными, с иностранцами и их женами и детьми, которые влачились от Москвы за отступавшей армией. Во время переправы Днепр оглашался воплями тонувших, провалившихся сквозь некрепкий лед, и нельзя было и думать переправлять тяжелые фуры. А вокруг и на том и на другом берегу рыскали казаки, то исчезая, то появляясь вновь. Вопли и мольбы, наконец, заставили офицеров попытаться переправить несколько фур, наполненных ранеными, женщинами и детьми. Но едва эти фуры спустились на замерзшую реку, как лед под ними подломился и их всех поглотила холодная вода. С того берега Ней и успевшие переправиться солдаты слышали страшные вопли тонувших и рассказывали, что еще страшней была внезапная тишина, сменившая раздирающие душу крики погибающих в ледяной воде сотен людей. «Думали ли мы тогда, что еще позавидуем много раз тем, кто уже успокоился на дне Днепра?» — говорит один из солдат наполеоновской армии, переходивший Днепр с маршалом Неем.

Второй этап отступления ведь еще только начинался…

Ней и оставшиеся 800 бойцов пришли к Наполеону в Оршу. Наполеон молча сжал маршала в своих объятиях. Ней и дальше вызвался командовать в самом опасном месте: в арьергарде, а на этот арьергард наседали Платов с казаками и Милорадович с регулярной конницей. Один из активнейших участников преследования отступающих французов, русский генерал В. И. Левенштерн, дает такую оценку этому последнему фазису боев под Красным: «Ней сражался, как лев, но время побед для французов миновало… С наступлением ночи маршал Ней направился с слабыми остатками своего корпуса к Сырокоренью, и ему удалось, пройдя сквозь победоносную (русскую. — Е. Т.) армию, перейти Днепр, который был покрыт тонким льдом. Этот подвиг будет навеки достопамятен в летописях военной истории. Ней должен бы был погибнуть, у него не было иных шансов к спасению, кроме силы воли и твердого желания сохранить Наполеону его армию».

18 ноября французский авангард на рассвете вошел в Оршу, а старая и молодая гвардия с Наполеоном вошла в Дубровну. Около часу дня 18 ноября Наполеон с гвардией уже выступил из Дубровны и 19-го вошел в Оршу. Отсюда он 20-го выступил к Борисову, городу на левом берегу реки Березины, откуда он и думал начать по уцелевшему там мосту переправу на правый (западный) берег реки. Сколько было у Наполеона войск в этот наиболее критический момент отступления? Точного подсчета не сделали ни в Смоленске, ни в Орше. Даются очень отклоняющиеся одна от другой цифры: 90 тысяч человек, из них 35–40 тысяч боеспособных (во главе с почти нетронутой гвардией) и 50–55 тысяч безоружных, слабосильных, негодных к бою людей, только затруднявших движения Наполеона; дается и другая — минимальная — цифра: 55–60 тысяч человек, из которых 23–25 тысяч бойцов и 30–35 тысяч безоружных, больных, полузамерзших. Все показания сходятся на одном: у Наполеона было около 30–35 тысяч годных к бою людей, может быть, немного меньше или немного больше. Эти люди

принадлежали больше всего к чисто французским частям. За ними тащились десятки тысяч итальянцев, немцев, поляков, голландцев, иллирийских славян, разноплеменных и разноязычных, не понимавших друг друга, ненавидевших друг друга и особенно свое начальство, рвущих друг у друга хлеб и те жалкие суррогаты пищи, которыми люди пытались утолить свой голод. Их засыпал снег, они мерзли, спотыкались и падали, голод и холод довели их до какого-то потемнения сознания. Они двигались, как автоматы, падали, замерзали, умирали молча, и товарищи шли мимо, даже не пытаясь им помочь. Вокруг носились казаки, налетали порой с криком «ура!» партизаны, били, кололи, рубили отстающих и обозников и скрывались, а иногда отрезывали целые отставшие части и принуждали к сдаче. Наполеон шел пешком в рядах старой гвардии, шел по глубокому снегу молча по нескольку километров.

Денис Давыдов оставил нам описание картины, всю жизнь стоявшей у него перед глазами: «…Подошла старая гвардия, посреди коей находился сам Наполеон… мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы; я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих, всеми родами смерти испытанных, воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди снежного поля… Командуя одними казаками, мы жужжали вокруг сменявшихся колонн неприятельских, у коих отбивали отстававшие обозы и орудия, иногда отрывали рассыпанные или растянутые по дороге взводы, но колонны оставались невредимыми… Полковники, офицеры, урядники, многие простые казаки устремлялись на неприятеля, но все было тщетно. Колонны двигались одна за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством… Гвардия с Наполеоном прошла посреди… казаков наших как 100-пушечный корабль между рыбачьими лодками»11.

Наполеон со своей гвардией приближался к смертельно опасному барьеру, который нужно было непременно взять или погибнуть. Уже на третий День после выхода из Орши передовые разъезды его авангарда увидели перед собой мутную пологу воды. Перед ними простиралась довольно широкая река с очень илистыми берегами, еще не замерзшая, однако уже катившая первые небольшие льдины, — река, переправа через которую была бы нелегка даже и в обычное время, а при начавшемся замерзании переправа делалась еще труднее. Это была Березина. 3

«Березина! Роковое имя, роковое место, где могли окончиться, но не окончились, а продлились еще на три года бедствия человечества! Место, где совершена была ужаснейшая ошибка, за которую Европа заплатила новыми сотнями тысяч жизней на полях Лютцена, Бауцена, Дрездена, Кульма, Лейпцига, Труа, Арси-сюр-Об, Линьи, Ватерлоо, новыми долгими годами разорения и военной грозы!» — так писали о Березинской переправе германские мемуаристы первой половины XIX в., когда еще не вымерло поколение, пережившее и перестрадавшее наполеоновскую эпопею. Наполеону удалось уйти — и всемирное побоище поэтому окончилось не в ноябре 1812 г., а только в июне 1815 г., когда Наполеон был окончательно побежден в кровавой последней своей битве при Ватерлоо. Под Березиной стратегический талант Наполеона развернулся во всю ширь и спас его от, казалось бы, неминуемой капитуляции. По мнению военных историков, вполне согласных в этом с Клаузевицем, Наполеон под Березиной не только «в полной мере спас свою честь, но даже приобрел новую славу». И все-таки, быть может, и наполеоновского гения не хватило бы в этих совсем отчаянных, совсем безвыходных обстоятельствах, если бы в русском лагере царила единая воля, или, точнее, если бы воля, от которой в русском лагере все зависело, в самом деле была направлена к тому, чтобы окружить и взять в плен французского императора.

Обратимся к тому, что можно было бы назвать «предысторией» огромной важности событий, разыгравшихся на берегах Березины. Еще когда Кутузов, оставив Москву и перейдя на старую Калужскую дорогу, находился в Красной Пахре, туда явился Александр Иванович Чернышев, флигель-адъютант и любимец царя, и привез Кутузову план, выработанный военным окружением царя. И царь и его советники, начиная с этого же Чернышева, составляли свой план в том уютном царском кабинете Зимнего дворца, где Александр Павлович, собственно, и проделал всю кампанию двенадцатого года, т. с. царь сам никаких планов не составлял, а лишь «одобрял» планы царедворцев в эполетах. План был большой, разработанный и «неопровержимо» вел к тому, что Наполеон при отступлении будет окружен и взят в плен. Предполагалось, что он пойдет либо из Смоленска через Витебск, Бочейково и село Глубокое, и тогда его необходимо подстеречь на реке Уле, у местечка Чашников, или в другом месте берега этой реки, где Наполеон попытался бы перейти через Улу, либо, что было гораздо вероятнее, Наполеон предпочтет идти на Смоленск, Оршу, Борисов и Минск, где у него были заготовлены большие запасы продовольствия, и тогда подстеречь его должно у реки Березины, где он попытается через Борисово или иное место перейти реку. Река Ула, текущая на север и впадающая в Двину, и река Березина, текущая на юг и впадающая в Днепр, так близко протекают на известном протяжении одна от другой, что со стратегической точки зрения прохода между ними никак предполагать нельзя было.

Итак, на Уле или на Березине Наполеона должны встретить все военные силы России, какие там имеются (на северном фланге — Витгенштейн, на южном — Чичагов), и преградить ему возможность речной переправы; а так как с востока на запад, к Уле или к Березине, все равно, французов будет гнать главная русская армия Кутузова, то, следовательно, Наполеону останется только капитулировать. Таков был этот план в главных его чертах. Были разработаны и все подробности, и все выходило гладко и безошибочно. По крайней мере в Зимнем дворце план оказывался великолепным.

И вот тут-то, с момента, когда Чернышев привез этот план Кутузову, и начинает зарождаться березинская драма. Кутузов поступил в своем всегдашнем духе: он ничего не возразил по существу и направил соответственные распоряжения Витгенштейну и Чичагову, но он не одобрял этот план, не желал его осуществления и не верил в его осуществление. Он слегка, деликатно намекнул Александру насчет «трудностей» и сделал вид, будто принял план.

Однако царь очень хорошо понял натуру и отношение фельдмаршала к его царской особе. Царь не верил ни одному слову Кутузова и пустился на опаснейшее дело: за спиной и без ведома фельдмаршала он стал давать указания и советы (которые, исходя от царя, получали, конечно, значение повелений) как Витгенштейну, так и Чичагову. Получалась путаница, выходил разнобой и двоевластие, а кроме того, если у царя были люди, шпионившие за Кутузовым, то и у Кутузова были люди, державшие его более или менее в курсе того, что происходит в Зимнем дворце, в ставке Витгенштейна и в ставке Чичагова. Старый фельдмаршал все знал и учитывал, и если еще в Красной Пахре он не желал осуществления плана Александра, то теперь, когда наступила критическая минута, он его окончательно отвергал. И, конечно, вовсе не личные чувства руководили Кутузовым в его поступках в березинском деле. Это значило бы совсем не понимать Кутузова и подходить к очень большому человеку со слишком маленьким мерилом. Нет, Вильсон был более прав в своей оценке, чем Ермолов или Денис Давыдов, или ряд других наблюдателей и критиков: у Кутузова была определенная политическая цель, в которой он видел благо России, и эта цель заключалась, как уже сказано, в том, чтобы выгнать Наполеона из России, и ни шагу далее. Уничтожение вторгнувшейся армии было достигнуто Кутузовым, а больше ничего фельдмаршалу и не требовалось.

После всего, что было уже сказано, незачем останавливаться на радикально противоположной точке зрения царя. С этой царской точки зрения захватить в плен Наполеона и низвергнуть этим его с престола было важнее всего на свете. До царя уже доходило, как в Европе ждут именно этого решения.

В своем лондонском окружении русский посол в Англии, старый князь Воронцов, был решительно убежден, что Наполеон лично погибнет или, по крайней мере, попадет в плен, но ни в каком случае не окажется в Париже. «Кончилось тем, что стали бить этого тирана до тех пор, пока не будет разрушено все его колоссальное могущество, потому что я не вижу, как это чудовище избегнет смерти или плена»12, - так писал старый Воронцов сыну 4 декабря 1812 г. Пометка на письме показывает, что письмо это дошло по назначению только 6 февраля 1813 г., т. е. когда не только Наполеон уже давно был в Париже, но когда уже полным ходом шли грандиозные приготовления французского императора к новой войне.

Воронцов, как и царь, не одобрял действий Кутузова. Но Кутузов лучше всех знал, что ловить Наполеона, сидя в Зимнем дворце или в кресле перед камином в доме русского посольства в Лондоне, гораздо легче, чем сделать это на реке Березине. Он знал о страшных потерях русской армии, потерях и от боев, и от холода и голода. Правда, дух русской армии был выше всяких похвал, дисциплине подчинялись охотно, с готовностью, не из-за шпицрутенов. Все это было так, но численность русской армии (именно после Красного, при наступлении морозов и исчезновении фуража) стала резко уменьшаться.

О присылке зимней одежды для солдат и ополченцев слышно было очень мало, и мерзли они люто в этом тяжелом пути. О бедственном состоянии русской армии свидетельствует и Барклай. Еще до перехода Наполеона через Березину и, следовательно, до перспективы его появления в Париже и организации новой армии Барклай уже не скрывал перед Александром, что русская армия не будет в состоянии в настоящем споем виде продолжать войну: «Ваша армия, государь, в дурном состоянии, потому что армия, в которой управление дезорганизовано, есть тело без души. Пока она еще действует в защиту отечества под влиянием патриотического народного духа, но после перехода через границу эта армия не будет соответствовать своему назначению, если она останется в нынешнем положении».

Кутузовский штаб говорил, что русская армия, которая шла по следам отступающего Наполеона, была так слаба, что истинное положение дел надо было утаивать «не только от неприятеля, но и от самих чиновников, в армии служащих». Вот численная сила русских войск ко времени занятия Вильны (к 10 декабря 1812 г.), по данным самого Кутузова.

В русской «главной армии» (т. е. той, которая шла от Тарутина до Вильны вслед за Наполеоном) оказалось к 10 декабря всего 27 464 человека и 200 орудий, а когда она выходила из Тарутина, в ней было 97112 человек при 622 орудиях. Итак, за два месяца пути выбыло из строя 70 тысяч человек. Из них более или менее точному учету поддается только цифра в 60 тысяч: 48 тысяч больных лежали в госпиталях, 12 тысяч убиты в боях или умерли от ран и болезней. Правда, можно было надеяться к этой ничтожной цифре (27464 человека) прибавить войска Витгенштейна (34 483 человека) и Чичагова (24438 человек). Но эти армии Чичагова и Витгенштейна были для Кутузова не очень ясно учитываемой величиной, а уж в таланты обоих предводителей он и совсем мало верил.

При таких условиях «поймать» Наполеона не представлялось Кутузову делом весьма верным, и тактика фельдмаршала больше всего и вытекала из убеждения, что без определенного смысла проливать солдатскую кровь непозволительно. Царь имел, конечно, в виду, что австрийские «союзники» Наполеона (т. е. Шварценберг со своим корпусом) не весьма стесняют Чичагова и что вообще эта «война» на южном фланге является скорее притворством и пародией на войну. Уже после открытия военных действий были известны очень успокоительные симптомы и сведения. Меттерних имел возможность дать знать Александру, что «настоящей» войны австрийцы против русских вести не будут. Вот что писал генерал Тормасов генералу Сакену секретно еще 7 июля 1812 г. из Луцка: «В заключение поставляю обязанностью открыть вашему превосходительству, что по высочайшему удостоверению со стороны австрийской границы можем мы быть покойны, каковую важную тайну относительно безопасности нашей от австрийцев никому вверять не должно»13. Да и Наполеон уже с середины войны перестал верить в реальную помощь со стороны Австрии.

Значит, Чичагов освобождался для своевременного активного участия в окружении и пленении Наполеона.

Витгенштейн на северном фланге был более связан. Весь конец лета и раннюю осень Витгенштейн простоял за Дриссой. Только когда к нему подошло петербургское ополчение, он начал действовать. 19 октября Витгенштейну удалось заставить Сен-Сира отступить от Полоцка, после чего русские заняли этот город, казаки же показались уже около Витебска. 30 октября Витгенштейн при Чашниках снова отбросил Сен-Сира к западу, причем были отброшены и подоспевшие на помощь Сен-Сиру войска маршала Виктора, герцога Беллюнского. Затем, идя за отступающим Виктором, Витгенштейн 6 ноября занял Витебск, а 14-го, когда Виктор остановился у Смоленска (точнее — у Смольянцев), Витгенштейн снова отбросил его, взял пленных и несколько орудий. И вот тут-то пресеклись сравнительно легкие подвиги Витгенштейна. Он знал, что именно нужно делать ему по диспозиции, заблаговременно ему сообщенной: идти дальше немедленно за Виктором и принять участие в предстоявшем генеральном бою под Березиной, но непреодолимый страх перед встречей с Наполеоном сковал Витгенштейна. Полководец он был третьестепенный, и именно его-то и разгромил впоследствии, уже весной 1813 г., Наполеон в двух битвах — под Лютценом и Бауценом, когда, к несчастью русских войск, скончался Кутузов и Александр назначил Витгенштейна главнокомандующим. Милорадович тогда, после Бауцена, явился к Витгенштейну и сказал ему: «Благо отечества требует, чтобы вы были сменены», но теперь, под Березиной, и не думали сменять Витгенштейна. Он был предоставлен самому себе, и он «опоздал».

Но главная роль предназначалась не Витгенштейну, а Чичагову. Павел Васильевич Чичагов был адмиралом, побывал морским министром и пост командующего армией получил совершенно случайно. Еще в 1811 г. царь, который очень его любил, назначил его на несколько странный пост: «главнокомандующим Молдавией, Валахией и Черноморским флотом». Тут и застала его война 1812 г. В тот момент, когда ему пришлось выполнять дело колоссальной трудности («поймать» Наполеона), у Чичагова было под командой около 24,5 тысяч человек. Горячий человек, несколько фантазер, лишенный способности командовать большими массами, Чичагов навеки опозорил свою репутацию и свое историческое имя как раз на этой злосчастной для него Березинской переправе. Поколения русских детей знакомились по басне Крылова «Щука и кот», написанной специально по поводу Березины, с тем, как у щуки крысы хвост отъели, т. е. как адмирал потерпел на сухом пути неудачу. Поколения взрослых, учась истории, узнавали, как Чичагов испортил конец Отечественной войны, упустив Наполеона. Позднейшая военная историография, и русская и западноевропейская, смотрит на дело не так и «вину» раскладывает на трех лиц: Чичагова, Витгенштейна и Кутузова, но после всего сказанного выше незачем тут распространяться, что «вина» Кутузова не в том, что он не взял в плен Наполеона, которого он вовсе не хотел и не считал возможным взять в плен, но разве только в том, что он не высказался в этом смысле прямо и открыто.

Вот вкратце главные факты, которые нужно знать, чтобы отдать себе отчет в общем характере этого события. 16 ноября г. Минск, где огромные продовольственные и боевые запасы ждали Наполеона, был занят русскими войсками — авангардом армии Чичагова под начальством графа Ламберта. Наполеон узнал об этом уже через два дня, 18 ноября, еще до вступления в Оршу. Вскоре затем Наполеона поразила весть, что Чичагов занял уже и Борисов. С этого момента Наполеон срочно рассылает приказы и Домбровскому, и Удино, и Виктору, чтобы они как можно больше сил сосредоточили около Борисова14, торопясь этим обеспечить себе переход по борисовскому мосту на правый берег Березины. Дееспособнее и удачнее всех оказался маршал Удино, которому Наполеон приказал двинуться на Борисов. Чичагов поручил графу Палену загородить путь Удино, но французский маршал наголову разбил отряд графа Палена, французская кавалерия бросилась на русскую пехоту и отбросила ее в лес около Борисова. Чичагов увел свою армию снова на правый берег, а

французы вошли в Борисов. Остатки разбитого отряда графа Палена с трудом переправились несколько выше Борисова и уже на правом берегу соединились с Чичаговым.

25 ноября рядом искусных маневров и демонстраций Наполеону удалось отвлечь внимание Чичагова к Борисову и к югу от Борисова, и пока Чичагов стягивал туда свои силы, король неаполитанский Мюрат, маршал Удино и два видных инженерных генерала Эблэ и Шасслу поспешно строили два моста у Студянки.

В ночь с 25 на 26 ноября в Студянку вступила императорская гвардия, а на рассвете появился и Наполеон. Он приказал немедленно начать переправу. Под руками у него было в ту минуту всего 19 тысяч бойцов. Переправа шла уже при перестрелке с отрядом генерала Чаплица, который первый заметил, что Наполеон уводит куда-то из Борисова свои войска. Наполеон велел занять прочно оба берега у наведенных мостов через Студянку. Весь день 26 ноября к нему подходили войска. В ночь с 26-го на 27-е Наполеон велел переправиться на правый берег маршалу Нею с остатками его корпуса и со всей молодой гвардией. Всю ночь и все утро 27 ноября продолжалась переправа, и французские батальоны один за другим переходили на правый берег. Во втором часу дня 27 ноября двинулась старая гвардия с Наполеоном. За старой гвардией пошли дивизии корпуса Виктора. Переправившаяся французская армия выстраивалась на правом берегу.

Вечером и ночью с 27 на 28 ноября на левый берег, еще не вполне оставленный всеми регулярными французскими войсками, стали прибывать огромные толпы безоружных и полубезоружных людей, отставших, больных, с отмороженными пальцами, а иногда и руками или ногами. За ними и вместе с ними стали переправляться обозы, а с обозами те несчастные иностранцы, вышедшие с французами из Москвы, которые еще уцелели во время отступления. Там было много женщин и детей. Они рвались к переправе, умоляли пропустить их поскорее, говорили о казаках, которые идут следом за ними, но их не пропустили. Наполеон приказал прежде всего переправить бойцов, а уж потом, если хватит времени, безоружных, раненых, женщин и детей, если же не хватит времени, — сжечь мосты. Времени не хватило.

Бои 28 ноября были упорны, но они не сопровождались успехом для русских. Ни Чичагов, ни Витгенштейн не действовали так, как могли бы, принимая во внимание, что на правом берегу у Чичагова было 25 тысяч человек, а у Наполеона 19 тысяч, на левом же берегу у русских около 25–26 тысяч, а у маршала Виктора около 7–8 тысяч бойцов. В 9 часов утра 29 ноября при воплях и молениях тысяч раненых, безоружных и всех тянувшихся с обозами генерал Эблэ приказал сжечь оба построенные им и Шасслу моста. После этого казаки налетели на оставшуюся многотысячную, беспорядочную толпу оставленных, пошла рубка и стрельба.

Что же делали русские военачальники в эти решающие дни?

Чичагов уже утром 27 ноября узнал о необычайном движении около Студянки, но думал, что это лишь демонстрация с целью обмануть его, и весь этот день провел в деревне Забашевичи. Между тем после ухода французских войск (прежде стоявших в Борисове) к Студянке — для переправы — в Борисов прибыл «опоздавший» Витгенштейн. Но явился он только со штабом, без армии…

Все было кончено: Наполеон с армией перешел по наведенным мостам через Березину раньше, чем трое русских генералов, которые должны были «завязать его в мешок», явились на место действия. Кутузов не только простоял два дня в Копысе, но и от Копыса до Березины делал такие частые дневки и привалы, каких даже он никогда не делал до сих пор. Он-то сам знал, зачем он это делает. А не отвечать на вопросы, на которые он не хотел ответить, старый фельдмаршал умел так, как никто. 4

Рассказав о Березинской переправе, я хочу теперь познакомить читателя хоть в нескольких

словах с полемикой, возгоревшейся вокруг этого события. Эта полемика внесла некоторые важные уточнения.

В анонимной английской книге, переведенной в 1833 г. на русский язык с «посвящением» Чичагову, была предпринята решительная попытка оправдать адмирала15. Автор, называющий себя очевидцем и участником дела, утверждает, что Чичагов прибыл на правый берег Березины один, только с 15 тысячами пехоты и 9 тысячами кавалерии, а Витгенштейн появился на левом берегу, когда переправа уже совершилась. Что касается Кутузова, то его авангард был в это время только еще в Толочине, т. е. почти в 115 километрах к востоку от переправы, не говоря уже о главных силах Кутузова, бывших приблизительно в 150–160 километрах, в местечке Копысе. Около Минска в руки французов попал отряд из 50 казаков, охранявший курьера, который вез Чичагову из Петербурга важные бумаги. Из перехваченных бумаг Наполеон узнал, что Александр требует соединения Чичагова с Витгенштейном у Березины. Но ни Витгенштейн, ни Чичагов, уже знавшие этот приказ, все равно не спешили его выполнить, и аноним, автор указанной книги (за которым явно стоит сам Чичагов), силится всеми способами доказать, что у Чичагова были разумные основания так терять время, как он его терял, например остановка на несколько дней в Минске объясняется «ковкой лошадей» и раздачей провианта и т. п. Но ведь подобных же оправданий и у Витгенштейна и у Кутузова было в запасе сколько угодно. Они просто все трое не желали встречи с Наполеоном и не встретились с ним.

С 21 ноября г. Борисов был занят русскими под начальством генерала Ламберта. Но маршал Удино бросился, как уже сказано, на Борисов, разбил наголову высланную против него дивизию Палена, отбросил русских от Борисова и занял город. Вот как дальше аноним (т. е. Чичагов) излагает события. Еще 23 ноября Чичагов не имел никакого понятия о том, где находится Витгенштейн, а между тем Наполеон с главными силами подходил к Березине и 24 ноября прибыл к высотам между Неманцом и Борисовом. К нему шел маршал Виктор, отбиваясь от Витгенштейна. В битве у Смольянцев 15 ноября, удачной для русских, Витгенштейн отбросил Виктора и взял пленных… После Смольянцев Витгенштейн почему-то потерял пять дней в бездействии. И тут, вдруг, Витгенштейн, вместо того, чтобы дальше идти за Виктором на Радуличи, пошел по совсем другому направлению — на местечко Баран — и в решающий момент не оказался на месте. Целых четыре дня Чичагов после этого не получал никаких известий ни от Витгенштейна, ни от Кутузова, который продолжал оставаться в неподвижности, не трогаясь от Копыся.

«Кутузов с своей стороны, избегая встречи с Наполеоном и его гвардией, не только не преследовал настойчиво неприятеля, но, оставаясь почти на месте, находился все время значительно позади», — говорит в своих «Записках» Денис Давыдов. Это не помешало Кутузову, сообщает далее Давыдов, писать Чичагову, будто он, Кутузов, уже «на хвосте неприятельских войск», и поощрять Чичагова к решительным действиям. Кутузов при этом пускался, по уверению Давыдова, на очень затейливые хитрости: он помечал свои приказы Чичагову задним числом, так что адмирал ничего понять не мог и «делал не раз весьма строгие выговоры курьерам, отвечавшим ему, что они, будучи посланы из главной квартиры гораздо позднее чисел, выставленных в предписаниях, прибывали к нему в свое время»16. А на самом деле Кутузов все оставался на месте в Копысе.

Эти неправильно датированные приказы Кутузова и полное его молчание одинаково выбивали из-под ног Чичагова всякую почву. 25 ноября Наполеон, как уже упоминалось, приказал частям своей армии, стоявшим в Борисове, делать большие демонстративные движения, выдвигать большую артиллерию, чтобы обмануть Чичагова (стоявшего на правом берегу) и чтобы заставить его думать, будто Наполеон перейдет реку у Борисова. Когда все уже совершилось, Наполеон сказал и за ним повторили это очень многие военные историки, что он обманул Чичагова, отвлекши его внимание от того места (Студянки), где Наполеон на самом деле решил переправиться через Березину.

«Этот глупый адмирал!» — так называл Чичагова Наполеон. Автор примечаний к анонимной английской книге, о которой я сказал выше, решительно протестует. «В чем состоит обман?» — с горечью спрашивает он. Все места возможной переправы были учтены Чичаговым, но что же он мог поделать против наполеоновских сил, когда его так страшно подвели? Да, был обман, но не Наполеон обманул его, а Витгенштейн и Кутузов: «Поистине был обман. Первое — в надежде прибытия генерала Эртеля (присылки которого просил, но не добился Чичагов), второе — соединение генерала Витгенштейна (которое не состоялось), третье — преследование генерала Кутузова (который и не думал догонять и преследовать Наполеона)». Истребление части не переправившейся через Березину дивизии генерала Партуно и взятие в плен оставшейся части было плохим утешением.

На другой день после Березинской переправы Роберт Вильсон писал в Петербург лорду Каткэрту, конечно, для сообщения Александру, что в неудаче виноват не Чичагов, а Кутузов, нарочно потерявший четыре дня, прекративший преследование и не тревоживший тыл Наполеона в самый критический момент: «Я ни от кого не слышал, чтобы адмирал Чичагов заслужил неодобрение. Местное положение было таково, что не позволяло ему идти на неприятеля. Мы (т. е. Кутузов, в штабе которого пребывал Вильсон. — Е. Т.) виноваты потому, что два дня были в Красном, два дня в Копысе, почему неприятель оставался свободным сзади, что есть немаловажная выгода, когда предстоит переходить через реку, имея перед собою неприятное ожидание найти две противные армии»17 (Чичагова и Витгенштейна).

Но кто бы ни был виноват, вернуть упущенное, поправить непоправимое было нельзя. Наполеон ушел. Взоры всех обратились к зрелищу окончательной агонии остатков великого полчища. Эта агония развернулась именно после Березины. 5

У очевидцев и участников дела с Березиной навсегда соединились в памяти: стратегическая победа Наполеона над русскими тогда, когда, казалось, ему грозила полная гибель, и вместе с тем страшная картина побоища уже после перехода императора с гвардией и остатками армии на западный берег реки.

«Видишь ли деревни Брилово и Стахово? Там Наполеон дал нам кровопролитнейший бой; сильные батареи с того отлогого берега прикрывали его переправу и целый день дрались на ней с переменным счастием. Здесь величайший из полководцев достигнул своей цели. Хвала ему!» Так пишет инженерный офицер армии Чичагова Мартос. Он дает и картину того, что увидел, когда вместе с Чичаговым подъехал к месту битвы уже после удавшейся Наполеону переправы и ухода его войск: «Ввечеру того дня равнина Веселовская, довольно пространная, представляла ужаснейшую, невыразимую картину: она была покрыта каретами, телегами, большею частью переломанными, наваленными одна на другую, устлана телами умерших женщин и детей, которые следовали за армией из Москвы, спасаясь от бедствий сего города или желая сопутствовать своим соотечественникам, которых смерть поражала различным образом. Участь сих несчастных, находящихся между двумя сражающимися армиями, была гибельная смерть; многие были растоптаны лошадьми, другие раздавлены тяжелыми повозками, иные поражены градом пуль и ядер, иные утоплены в реке при переправе с войсками или, ободранные солдатами, брошены нагие в снег, где холод скоро прекратил их мучения… По самому умеренному исчислению, потеря простирается до десяти тысяч человек…» Наряду с этими мрачными картинами сохранились и другие воспоминания очевидцев, рисующие порой великодушное, гуманное отношение русских войск к побежденному врагу. «Была ужасная метель, я заблудился и был совершенно один», — пишет генерал Левенштерн. Лошадь принесла его, уже замерзавшего, к русским бивуачным огням. «В лесу, возле которого находился наш бивуак, было множество французов, приютившихся там на ночлег. Они вышли ночью из леса без оружия и пришли погреться к нашим кострам. Велико было наше удивление, когда мы увидели поутру вокруг каждого костра человек сорок или пятьдесят французов, сидевших в кружок на корточках и не выказывавших ни малейшего страха перед смертью. Добрый, прекрасный Карпенко велел

разложить еще несколько костров. Тогда вышло из леса несколько тысяч французов, которые расположились возле огня. Карпенко, беспощадно рубивший неприятеля, когда он стоял к нему лицом к лицу, продлил тут жизнь многим из этих несчастных»18.

Русская армия тоже жестоко страдала в эти дни от лютых холодов: «После переправы через Березину настали страшные морозы. Я не мог проехать верхом более десяти минут, и так как снег не позволял долго идти пешком, я то садился на лошадь, то слезал с нее и разрешил моим гусарам проделывать то же самое. Я предохранял свои ноги от мороза, засовывая их в меховые шапки французских гренадер, коими была усеяна дорога. Мои гусары страшно страдали… Сумский полк насчитывал не более ста двадцати лошадей, годных идти в атаку… Наша пехота была видимо расстроена. Ничто не делает человека столь малодушным, как холод: когда солдатам удавалось забраться куда-нибудь под крышу, то не было никакой возможности выгнать их оттуда. Они предпочитали умереть. Рискуя сгореть, солдаты забирались даже в русские печи. Надобно было видеть все эти ужасы собственными глазами, чтобы поверить этому»19, - так описывает русский гусарский генерал Левенштерн состояние русской армии, шедшей за отступающими французами. Это описание похоже на то, что мы знаем из французских свидетельств о состоянии в эти же дни остатков армии Наполеона… Обе армии, и преследуемых французов и идущих за ними русских, приближались к Вильне в ужасающем виде.

«Никогда еще человеческие бедствия не проявлялись в столь ужасающем виде. Все окрестные деревни были выжжены до основания, жители разбежались, нигде нельзя было найти продовольствия. Только одна водка поддерживала наши силы. Мы бедствовали не менее неприятеля», — пишет Левенштерн. До Вильны добралось меньше одной трети русской армии, которая начала преследование Наполеона от Малоярославца. «Преследовать неприятеля было поручено казакам; русская армия не пошла далее Вильны. Ей необходим был отдых, так как она еле двигалась»20.

Положение французской армии в это время было совсем катастрофическим. Инженерный офицер армии Чичагова Мартос дает и дальнейшую картину того, что увидел на Березине: «Невольный ужас овладел нашими сердцами. Представьте себе широкую извилистую реку, которая была, как только позволял видеть глаз, вся покрыта человеческими трупами; некоторые уже начинали замерзать. Здесь было царство смерти, которая блестела во всем ее разрушении… Первый представившийся нам предмет была женщина, провалившаяся и затертая льдом; одна рука ее отрублена и висела, другой она держала грудного младенца. Малютка ручонками обвился около шеи матери; она еще была жива, она еще устремляла глаза на мужчину, который тоже провалился, но уже замерз; между ними на льду лежало мертвое дитя… Ветер и мороз были прежестокие, все дороги замело снегом, по ближнему полю шатались толпами французы. Одни кое-где разводили огонь и садились к нему, другие резали у лошадей мясо и глодали их кости, жарили его, ели сырым; скоро показались люди замерзлые и замерзающие. Никогда сии предметы не изгладятся из моей памяти». Бесконечная дорога была сплошной «улицей мертвых тел». Русские раненые были здесь не в лучшем положении, чем французы: «Давно не помню я столь тягостного для себя дня. Деревушка была завалена нашими и французскими ранеными и пленными, коих так много увеличивалось, что и девать было почти некуда. Ужасно было видеть их: большие и малые, все вместе, мужчины и женщины, с обмотанными соломой ногами, прикрытые какими-то тряпками, без сапог, с отмороженными лицами, с побелевшими руками»21.

Нестерпимый голод дошел в эти дни до последней крайности. Меня интересовали точные и правдивые данные о случаях поедания человеческих трупов в начале отступления французской армии, и я подобрал и привел эти данные в соответствующем месте. Но загромождать свою книгу обильнейшими показаниями, касающимися того же предмета и относящимися к последнему месяцу отступления, а особенно к последним дням его, я считаю совершенно излишним. Это — факт, для времени конца отступления давно и точно установленный, общеизвестный и подтверждаемый многочисленными свидетельствами.

«Очевидные свидетели: г. Штейн, Муравьевы, Феньшау и пр., утверждают, что французы ели мертвых своих товарищей. Между прочим они рассказывали, что часто встречали французов в каком-нибудь сарае, забравшихся туда от холода, сидящих около огонька на телах умерших своих товарищей, из которых они вырезывали лучшие части, дабы тем утолить свой голод, потом, ослабевая час от часу, сами тут же падали мертвыми, чтобы быть в их очередь съеденными новыми едва до них дотащившимися товарищами», — читаем в «Собственноручной тетради» Алексея Николаевича Оленина22. Таких свидетельств о состоянии французской армии в ноябре — декабре 1812 г. сколько угодно.

К голоду прибавилось новое страшное бедствие. Как раз после Березины начались большие морозы. До тех пор они не только не могли назваться очень суровыми, но, напротив, перемежались с днями потепления. Вспомним, что ведь и Днепр еще только был покрыт тонким слоем льда, когда маршал Ней совершил 18 ноября свою отчаянную и бедственную переправу. Наконец, 25–28 ноября именно потому и пришлось Наполеону наводить мосты и переходить по мостам через Березину, что река еще не замерзла. Но вот с 28 ноября начались морозы, достигавшие 20–22 — 23 и даже 28 градусов по Реомюру и державшиеся до 12 декабря. По ночам дважды доходило до 30 градусов. Это новое бедствие окончательно сокрушило остатки наполеоновской армии. Люди, плохо одетые, не могли более двигаться, падали и замерзали. «День 8 декабря был самым роковым. Герцог Беллюнский (маршал Виктор) явился один, весь арьергард покинул его, люди гибли от холода… Артиллерия погибла вследствие недостатка лошадей. Все погибло», — читаем мы в донесении маршала Бертье Наполеону об этих последних днях пребывания французской армии в России. В корпусе Вреде до наступления больших холодов было 8 тысяч человек, а осталось от него только 2 тысячи человек. Маршал Ней составил из этого арьергард.

«Большая часть артиллерии приведена в негодность вследствие падежа лошадей и вследствие того, что у большинства канониров и фурлейтов отморожены руки и ноги… Дорога усеяна замерзшими, умершими людьми… Государь, я должен сказать вам всю правду. Армия пришла в полный беспорядок. Солдат бросает ружье, потому что не может больше держать его; и офицеры и солдаты думают только о том, как бы защитить себя от ужасного холода, который держится все время на 22–23 градусах. Офицеры генерального штаба, наши адъютанты не в состоянии идти. Можно надеяться, что в течение сегодняшнего дня мы соберем вашу гвардию… Мы неминуемо потеряем значительную часть артиллерии и обоза… Неприятель преследует нас все время с большим количеством кавалерии, орудиями на санях и небольшим отрядом пехоты». Все это пишет начальник штаба маршал Бертье, князь Невшательский, Наполеону в рапорте, который я нашел впервые в архиве Государственного секретариата Наполеона I в Париже. Донесение помечено: «Вильна, 9 декабря, 5 часов утра».

А вот и другое донесение Бертье, найденное мною там же. Этот рапорт помечен уже Ковно и датирован 12 декабря 1812 г. «Меры, принятые для пребывания в Вильне, сведены на нет благодаря отсутствию дисциплины и преследованию со стороны неприятеля. Генерал Вреде принужден отступить. Король (Мюрат. — Е. Т.) приказывает за ночь очистить город. Герцог Эльхингенский (маршал Ней. — Е. Т.) вынужден сжечь всю артиллерию и весь обоз в полукилометре от Вильны. Мороз — 25 градусов».

Мороз буквально истребляет (и очень быстро) остатки французской армии; истощенные страшным длительным голодом и измученные переходами по глубокому снегу, люди погибают тысячами от холода. Изношенные лохмотья, в которые обратились их одежды, и рваные истоптанные сапоги не могут защитить от крепких морозов. «Мороз измучил всех, у большинства людей руки и ноги отморожены… Ваше величество знаете, что в полутора лье от Вильны есть ущелье и очень крутая гора; прибыв туда к 5 часам утра, вся артиллерия, ваши экипажи, войсковой обоз представляли ужасное зрелище. Ни одна повозка не могла проехать, ущелье было загромождено орудиями, а повозки опрокинуты… неприятель… обстреливал дорогу… Это и был момент окончательной гибели всей артиллерии, фур и

обоза, герцог Эльхингенский (Ней. — Е. Т.) приказал сжечь все это… Чрезвычайный мороз и большое количество снега завершили дезорганизацию армии, большая дорога была сплошь занесена снегом, люди теряли ее и падали в окружающие дорогу рвы и ямы». Бертье констатирует полную гибель той главной, центральной армии, которая шла с Наполеоном от Малоярославца до Березины и дальше: «Я принужден сказать вашему величеству, что армия в полнейшем беспорядке, как и гвардия, которая состоит всего из 400 или 500 человек; генералы и офицеры потеряли все, что у них было, у большинства из них отморожены те или другие части тела, дороги усеяны трупами, дома наполнены ими». Порядок, дисциплина исчезли. «Вся армия представляет собой одну колонну, растянувшуюся на несколько лье, которая выходит в путь утром и останавливается вечером без всякого приказания; маршалы идут тут же, король (Мюрат. — Е. Т.) не считает возможным остановиться в Ковно, так как нет более армии… В данную минуту, государь, с нами ведет войну не неприятель, а ужаснейшее время года, мы держимся только благодаря нашей энергии, но вокруг нас все замерзает и не в состоянии приносить никакой пользы. Посреди всех этих бедствий вы можете быть уверены, ваше величество, что все, что окажется в силах человеческих, будет сделано ради спасения чести вашего оружия. Двадцать пять градусов мороза и обильный снег, покрывающий землю, служат причиной бедственного состояния армии, более не существующей». У маршала Бессьера (герцога Истрийского. — Е. Т.) «замерзло и умерло 11 офицеров и около тысячи солдат», а у него под командой, заметим, их и всего было до наступления морозов около 1200 человек.

Эти донесения Бертье по существу отчасти сходятся с тем его донесением, которое было перехвачено казаками и опубликовано в России уже вскоре после войны. Любопытно, что, даже по наблюдениям ненавидящего французов и Наполеона английского комиссара Вильсона, французские солдаты в это убийственное для них время отступления дошли до потери всех стимулов и чувств во имя одного только непосредственного инстинкта самосохранения, но «за одним только почетным для французов исключением: будучи взяты в плен, они никакими искушениями, никакими угрозами, никакими лишениями не могли быть доведены до того, чтобы упрекнуть своего императора как причину их бедствий и страданий. Они говорили все о „превратностях войны“, о „неизбежных трудностях“, о „судьбе“ но не о вине Наполеона».

Маршалу Нею еще удалось в эти бедственные дни собрать между Березиной и Вильной кучку боеспособных людей и часами отстреливаться от русских. Но это было исключением.

Русское преследование ослабело в эти дни жесточайших морозов. Попасть в плен к регулярным русским войскам было мечтой погибающих французских солдат. Вот сцена, зарисованная очевидцем. Витгенштейн дал некоторый роздых своим войскам по пути от Полоцка. Солдаты уже уселись за щи и кашу. Сбившись в кучу, французы, сдававшиеся отряду в плен, голодные, полузамерзшие (как говорит очевидец этого происшествия), «устремили на пищу полумертвые глаза свои. Несколько русских солдат, оставя ложки свои, встали и сказали прочим товарищам: „Ребята, что нам стоит не поесть! Уступим наше горячее французам!“ Вдруг все встали, а пленные французы тотчас бросились к пище, не могши скрыть своего удивления». Аналогичные случаи кое-где приводятся и в воспоминаниях солдат, офицеров и врачей наполеоновской армии, Русская армия в последнее время войны сильно голодала. «Лишения, которым подвергались войска в переходе в особенности от Березины до Вильны, были ужасны. Как офицеры, так и солдаты постоянно нуждались в продовольствии».

Только казаки атамана Платова, которым удавалось иной раз отбить у французов или достать на стороне немного провианта, изредка позволяли, например, гвардейскому Финляндскому полку, по словам его историков, спасаться от мучений голода. Не было и речи о правильном подвозе провианта. «После перехода старые солдаты, несмотря на усталость, снимали ранцы и отправлялись в сторону, за несколько верст, добывать хлеба, зерна или чего съестного для себя и товарищей». Гвардейские офицеры по два, по три человека

«отправлялись, подобно нижним чинам, в сторону за несколько верст добывать что попадется для своего и товарищей продовольствия. Подобные попытки часто сопряжены были с большими затруднениями». Эти «большие затруднения» заключались в том, что измученные страшным морозом, усталостью, не евшие по суткам солдаты и офицеры возвращались с отмороженными руками или ногами, а иногда и вовсе уже не возвращались, заплатив жизнью за тщетную попытку найти где-нибудь хоть кусок черствого хлеба. Кутузов знал, как терпит армия, и знал, что солдаты настроены так, что забывают и холод и голод, думая только о довершении победы. Приучив их слепо верить всему, что он им скажет, он отдавал себе отчет в том, что не может тут же, на ходу, в этих ужасных условиях искоренить злоупотребления, от которых страдает русское войско, но вместе с тем видел всю необходимость двигаться и двигаться безостановочно, выпроваживая Наполеона из России. После Суворова никто не умел так говорить с солдатом, как Кутузов, и вот как он в эти голодные и холодные дни объяснялся с войсками.

«Главнокомандующий на походе, обгоняя колонны, иногда беседовал с солдатами. Подъехав однажды к лейб-гвардии Измайловскому полку, князь Кутузов спросил: „Есть ли хлеб?“ — „Нет, ваша светлость“. — „А вино?“ — „Нет, ваша светлость“. — „А говядина?“ — „Нет, ваша светлость“. Приняв грозный вид, князь Кутузов сказал: „Я велю повесить провиантских чиновников. Завтра навезут вам хлеба, вина, мяса, и вы будете отдыхать“. — „Покорнейше благодарим!“ — „Да вот что, братцы пока вы станете отдыхать, злодей-то не дожидаясь вас, уйдет!“ В один голос возопили измайловцы: „Нам ничего не надо, без сухарей и вина пойдем его догонять!“» Таков рассказ очевидца.

Сегюр, переживавший эти дни вместе с французской армией, утверждает, что через Березину с Наполеоном переправилось в общем, считая с безоружными, отставшими, ранеными, больными, около 60 тысяч человек, что уже на правом берегу, от Березины до Молодечно, к ним присоединилось еще до 20 тысяч войск (из корпусов, оставшихся на флангах), что из этой общей массы в 80 тысяч человек 40 тысяч погибли на пути от Березины до Вильны, а большая часть из этих 40 тысяч погибла именно между Молодечно и Вильной23 и еще очень многим суждено было погибнуть между Вильной и Неманом. От Березины до Молодечно мороз был свирепым. Реомюр не показывал ни разу меньше 21 градуса ниже нуля, но во время перехода от Молодечно до Вильны мороз усилился. В Вильну вошли при 27 градусах мороза.

Описать, что творилось в эти дни отступления от Березины до Вильны и от Вильны до Ковно, никому из переживших этот путь не удалось. Они бросали рассказ, говоря, что словами нельзя передать все, что они видели. Дорога на десятки километров была усеяна валявшимися трупами. Кое-где солдаты делали себе берлогу из трупов товарищей, сложенных накрест, как укладываются бревна при постройке сарая или избы.

9 декабря первые толпы полузамерзших, изголодавшихся людей вошли в Вильну. Здесь сразу же, как в опьянении, они бросились разбивать и растаскивать склады, чтобы успеть насытиться и обогреться, пока их не отгонят и не вырвут у них куска те, кто войдут в город за ними. Уже на другой день первые русские отряды стали подходить к Вильне. Генерал Луазон, уцелевшая часть корпуса которого еще сохранила боеспособность, пробовал защищать Вильну, но у него из 15 тысяч человек только за три последних дня перед Вильной погибло от холода 12 тысяч. Примерно так же слаб был и отряд баварского генерала Вреде. Ней взял на себя командование отступлением из Вильны к Ковно, к Неману. Платов с казаками был уже в предместье Вильны. Ней двигался, отстреливаясь от наседавших казаков, от Вильны к Неману, устилая трупами солдат всю дорогу. Он вошел в Ковно 13-го в ночь и успел накормить там своих замученных солдат.

Вот путевые впечатления Дениса Давыдова, который 12 и 13 декабря ехал из Новых Трок в Вильну, куда ему приказано было явиться к Кутузову: «От Новых Трок до села Понари мы следовали весьма покойно. У последнего селения, там, где дорога разделяется на две,

идущие одна на Новые Троки, другая на Ковно, груды трупов человеческих и лошадиных, множество повозок, лафетов и палубов едва давали мне возможность следовать по этому пути; множество раненых неприятелей валялось на снегу или, спрятавшись в повозках, ожидало смерти от действия холода и голода. Путь мой был освещен заревом пылавших двух корчем, в которых горело много несчастных. Сани мои ударялись об головы, руки и ноги замерзших или почти замерзающих; это продолжалось во все время движения нашего от Понарей до Вильны. Сердце мое разрывалось от стонов и воплей разнородных страдальцев. То был страшный гимн избавления моей родины!»24

В Вильне, в Ковно до самых последних дней не знали о поражении Наполеона. Еще 2 декабря 1812 г. в Ковно торжественно, с иллюминацией, праздновалась годовщина коронации Наполеона, а 6 декабря было получено известие о победе, якобы одержанной императором у реки Березины25. У русских будто бы взято 9 тысяч человек пленных, 12 пушек, победа эта одержана над объединенными корпусами адмирала Чичагова и Витгенштейна. «Это известие объявлено в городе при барабанном бое, и на углах улиц об этом наклеены объявления; вечером город был иллюминован», — читаем в дневнике одного ковенского обывателя26.

Даже увидя с изумлением голодную, обмерзшую, несчастную толпу французских солдат, не все сразу поняли окончательный и непоправимый разгром наполеоновской армии. Виленские, ковенские обыватели еще беспрекословно повиновались маршалу Нею. В Ковно были склады, и солдаты несколько подкрепились за немногие часы пребывания в городе.

На рассвете 14 декабря началась перестрелка с русским, очень, впрочем, незначительным отрядом, который подошел к Ковно и пытался воспрепятствовать переходу Нея через Неман. Часть русских перебросилась через замерзшую реку, чтобы встретить Нея огнем с того берега. Нею удалось их оттеснить. В течение дня он готовился к переходу. При нем было несколько тысяч человек, но не более одной — полутора тысяч боеспособных в лучшем случае.

Некоторые источники утверждают, что даже и 800 человек боеспособных у него не было. В восемь часов вечера 14 декабря 1812 г., уже переправив свой отряд на прусский берег, маршал Ней со свитой из нескольких офицеров последним перешел через мост.

Обо всех этих трагических событиях Наполеону докладывали уже в Париж: 6 декабря Наполеон в местечке Сморгони покинул армию, передав главное командование ее остатками королю неаполитанскому Мюрату. Когда Наполеон в местечке Сморгони собрал маршалов и объявил им о своем намерении, некоторые из них слабо протестовали только с той точки зрения, что отъезд императора окончательно развалит армию. Но армия и без того уже фактически не существовала, и этот аргумент отпал. Бегством для спасения лично себя Наполеон свой отъезд не считал, и маршалы не считали: армия шла к Вильне и Ковно, и Наполеон опередил ее лишь на 8 дней (он уехал 6-го, а последний эшелон ушел за Неман 14 декабря). И в эти восемь дней лично Наполеону ничто уже не грозило, и его присутствие ничего не могло изменить к лучшему. Отъезд же Наполеона был, с точки зрения военно-политической, необходим для скорейшего создания новой армии взамен только что погибшей: было ясно, что поражение, понесенное императором в России, подымет против него или всю Европу или часть ее и прежде всего Пруссию, куда не сегодня-завтра вступят русские войска.

Наполеон ехал в санях с Коленкуром, польским офицером Вонсовичем и одним мамелюком — слугой. Коленкур рассказал в своих воспоминаниях о полном спокойствии императора во время всего пути. Наполеона, по-видимому, очень мало взволновало все случившееся, и он всецело был поглощен заботами и соображениями о предстоящей уже новой грандиозной войне, о войне будущего 1813 г. Он ехал через Вильну, Ковно, Варшаву. В Варшаве он «казался иногда веселым и спокойным, даже шутил и сказал между прочим: „Я покинул

Париж в намерении не идти войной дальше польских границ. Обстоятельства увлекли меня. Может быть, я сделал ошибку, что дошел до Москвы, может быть, я плохо сделал, что слишком долго там оставался, но от великого до смешного — только один шаг (курсив мой. — Е. Т.), и пусть судит потомство"»27.

Так (по достоверным показаниям) беседовал Наполеон сейчас же после этой войны. Что смешного мог он найти в неслыханных ужасах, которыми был ознаменован финал его нашествия на Россию, осталось его тайной. Но сама эта фраза, чудовищная в устах всякого другого человека, была до такой степени в духе и в стиле Наполеона, так была похожа на него, что показалась естественной и ничьего негодования или хотя бы изумления тогда не возбудила. Эта фраза стала даже поговоркой.

Для Наполеона русский поход был только проигранной партией. Он был уже поглощен новой, готовившейся партией и обдумывал, как лучше ее выиграть. Он не знал еще тогда, что рана, нанесенная ему русским народом, окажется неизлечимой и покончит его мировую империю. 6

Русский поход кончился. В течение второй половины декабря уцелевшие части отряда Макдональда и кучки отставших, затерявшихся в литовских лесах, продолжали переходить в Пруссию. В общем несколько менее 30 тысяч человек оказалось в распоряжении сначала Мюрата, которому Наполеон, уезжая, передал верховное командование, а потом, после отъезда Мюрата, в распоряжении вице-короля Италии Евгения Богарне.

И это было все, что осталось от «великой армии», от 420 тысяч человек, перешедших по четырем мостам через тот же Неман 24 июня 1812 г., и от тех 150 тысяч человек, которые потом к этой армии постепенно присоединились.

10 декабря Платов с казаками вошел в Вильну, а вслед за ними вступил в Вильну и сам князь Кутузов со всем штабом и многочисленной свитой. Почти тотчас же стало известно, что и царь выезжает из Петербурга в Вильну, к армии.

В пути, из Полоцка, 9/21 декабря Александр писал Кутузову, что будет на другой день в Вильне и что не желает никаких встреч. «С нетерпением ожидаю я свидания с вами дабы изъявить вам лично, сколь новые заслуги, оказанные вами отечеству и, можно прибавить, Европе целой, усилили во мне уважение, которое всегда к вам имел. Пребываю навсегда вам доброжелательным. Александр»28. Редко когда царь до такой степени был раздражен на Кутузова и так твердо решил от него тем или иным способом отделаться, как именно в этот момент.

Александр прибыл 23 декабря в Вильну с Аракчеевым Приходилось царю ломать комедию, всячески превозносить и награждать ненавистного Кутузова, символ победы, олицетворение торжества русского народа, избавления России от страшной опасности. Все это проделано было Александром для публики, для народа, и проделано с отличавшей царя выдержкой и уменьем соблюсти на людях приличие. Царь, который еще совсем недавно изливал свое истинное чувство к фельдмаршалу, написав по его адресу на одном раздражившем его докладе Кутузова (о Яшвиле и калужском ополчении) «какое канальство», теперь нашел самые ласковые слова и самые нежные модуляции голоса, чтобы приветствовать спасителя России — так принято было теперь именовать Кутузова, — но более чем когда-либо царь и фельдмаршал в этот момент расходились в своих политических воззрениях, в своих взглядах на задачу дня. Для Кутузова война с Наполеоном кончилась в тот момент, когда Ней со своими немногими спутниками перешел по неманскому мосту на прусский берег. Для Александра эта война только начиналась. Это было все то же безнадежное разногласие, которое несколько раз уже было нами отмечено выше. Спасли Россию; «спасать» ли Европу или остановиться, примириться с Наполеоном и предоставить державам европейского континента бороться самим за свое освобождение от тирании завоевателя, а

Великобритании — бороться самой за свое торгово-промышленное верховенство над земным шаром? «Да, спасать Европу и помогать Англии», — отвечал на этот вопрос Александр. «Нет», — отвечал Кутузов.

Александр до такой степени не понимал, в каком состоянии русские солдаты пришли в Вильну, что упорно предлагал, не останавливаясь, продолжать преследование. Тогда Кутузов категорически и уже в письменной форме заявил царю, что если русскую армию, не дав ей как следует отдохнуть, заставят пройти еще хоть немного дальше, то она просто перестанет существовать: «Признаться должно, если бы, не остановясь, продолжать еще движение верст на полтораста, тогда, может быть, расстройство дошло до такой степени, что надо было бы, так сказать, снова составлять армию».

Утром 24 декабря Александр (в Вильне) пригласил к себе Вильсона и благодарил его за его письма. «Вы всегда говорили мне правду, которую я не мог бы узнать другим путем. Я знаю, что фельдмаршал не сделал ничего, что он должен был сделать… Все его успехи были навязаны ему. Он разыграл некоторые из своих прежних турецких штучек, но московское дворянство поддерживает его и настаивает на том, что он первенствует в национальной славе этой войны. Через полчаса я поэтому должен („тут царь на минуту остановился“, — пишет Вильсон) дать этому человеку орден Георгия первой степени… Но я не буду просить вас присутствовать при этом, я бы чувствовал себя слишком униженным, если бы вы при этом находились. Но у меня нет выбора, я должен подчиниться повелительной необходимости. Во всяком случае я уже не покину вновь мою армию, и поэтому уже не будет дано возможности к продолжению дурного управления фельдмаршала»29.

Что могли означать, как могли прозвучать в ушах ненавидящего Кутузова англичанина эти последние слова? Конечно, Вильсон должен был понять так, что Кутузов останется главнокомандующим лишь по имени, а на деле руководить армией будет царь. Вся эта сцена показывает, что ненависть к фельдмаршалу совсем заглушила в царе сознание унизительности для него, Александра, императора всероссийского, этих смиренных извинений перед английским агентом, извинений в том, что он вынужден дать Кутузову Георгия первой степени.

Такие чувства питал самодержец всероссийский к старому полководцу, настоящему вождю народа в этой ужасной войне, к человеку, который не только казался в этот миг, но и был в действительности живым олицетворением славы и гордости русского народа, только что спасшего себя от грозного врага. Но Георгий первой степени — это было пустое дело сравнительно с коренным разногласием. Кутузов говорил, что и русская армия погибла во время этого страшного зимнего похода, а не только наполеоновская; что от Тарутина до Вильны погибло две трети русской армии, вышедшей из Тарутина.

Этот жалкий остаток армии был утомлен, плохо одет, еще хуже вооружен. Нельзя начинать с ним новую тяжкую войну против Наполеона, который, конечно, к весне выставит новую огромную свежую армию, создавать которую он и торопился, уезжая из Сморгони. Да и сама Россия была глубоко и страшно разорена. Уход французов не возбудил немедленно того чувства радости и избавления, о котором впоследствии говорилось и писалось. Печально встретила, например, Москва рождественские праздники в 1812 г. «Вчерашний праздник протек с особливой тишиной… Происшествия крайне стеснили дух жителей. Прошедшее тем памятнее, что последствия не изглаживают оных, а опасности, в будущем представляющиеся, еще более опасными кажутся. Уборка мертвых тел все еще продолжается… Слухи же, что груды трупов зарыты, и неглубоко, в самой Москве и в окрестностях, страшат всякого насчет весны»30. Трупы гнили и в окрестностях Москвы и на Калужской дороге. Эпидемии вовсе не дожидались весны: в ноябре, декабре, январе смерть от заразных болезней беспощадно косила и армию и население.

И не только трудно и опасно было, по мнению Кутузова, затевать новую войну с Наполеоном,

но и вовсе это не нужно. Русский народ отстоял себя, победил непобедимого, добыл себе бессмертную славу. Зачем освобождать и усиливать этим англичан и немцев, соседей, а потому возможных опасных врагов в будущем? Да и непохоже было, что немцы немедленно поднимутся против своего грозного угнетателя.

В Гумбине, в Восточной Пруссии, куда постепенно подходили группы спасшихся из России французов, «вся площадь была покрыта крестьянскими повозками, стекавшимися, со всех сторон возить французов за деньги». Сразу в Пруссии для французов явилось решительно все, что можно купить за деньги. А денег — монеты золотой и серебряной — в спасшейся войсковой казне Наполеона было еще сколько угодно. Немецкие крестьяне и в этот момент, в январе 1813 г., вели себя точь-в-точь так, как в 1806 и 1807 гг., когда Наполеон завоевал их отечество. Русский пример пока нисколько еще на них не подействовал. В Германии, впрочем, понимали и откровенно признавали эту разницу. Всюду распевалась песенка: «Ein, zwei, drei! Mit Franzosen ist's vorbei! Die Deutschen haben sie fettgemacht, die Russen haben sie abgeschlagt!» (Раз, два, три! С французами покончено! Немцы их откормили, русские их перебили!) Все эти слухи и известия, проникавшие в Вильну, тоже не могли очень одушевлять старого русского фельдмаршала на продолжение войны. Зачем проливать русскую кровь во имя интересов иностранцев, которые будут, может быть, впоследствии лить кровь внуков и правнуков тех русских солдат, которых теперь хотят погнать для освобождения Европы от Наполеона? Так думал не только Кутузов, но очень и очень многие. Но царю и Вильсону помогло отчасти то страшное раздражение против Наполеона, которое царило в России. Отомстить насильнику чего бы это ни стоило! Так сгоряча рассуждали тоже очень многие.

Очень характерно, например, что уже летом 1813 г., когда союзники начали было мирные переговоры с Наполеоном, в глуши русской провинции ни за что не хотели мира и уповали на испанцев, не желавших по-прежнему никаких разговоров о мире с Наполеоном. Известия об успехах испанцев в борьбе против французов «производят здесь (в Туле. — Е. Т.) всеобщую радость, — пишут из Тулы 4 августа 1813 г., как раз когда еще было в силе июньское перемирие союзников с Наполеоном. — Все вообще, полагая с сим извергом перемирие, да и самый мир непрочным и влекущим за собою пагубные следствия, нетерпеливо ожидают начатия военных действии, возлагая упование на могущество любезного своего отечества»31.

«Россияне! Целые полсвета исторжены вами из челюстей чудовища, миллионами поглощавшего род человеческий, целые полсвета прославляют ваше геройское великодушие!» Таков был мотив, принятый в церковных проповедях во всей России в 1814 г., после падения наполеоновской империи, но который уже наперед, в декабре 1812 г., еще только учитывая далекие последствия только что кончившейся кампании, почти с буквальной точностью усваивали многие и в Москве, и в Петербурге, в усадьбах, и в губернских городах. Грядущее освобождение Европы считали уже достигнутым.

Противиться энергично и царю и этому довольно сильному течению в дворянстве и в армии Кутузов не решился, хотя и знал, на какой неправильный путь это течение начинает уносить Россию. А. С. Шишков, государственный секретарь, тот самый, который в свое время постарался избавить армию от присутствия Александра Павловича, теперь находился вместе с двором в Вильне. Он тоже боялся продолжения войны и тоже считал, что вовсе незачем России дальше воевать. Шишков, поговорив с Кутузовым и убедившись, что фельдмаршал держится точь-в-точь таких же убеждений, спросил его, естественно, почему же он более решительно не отстаивает своего мнения перед царем. Кутузов на это отвечал текстуально следующее (об этом повествует сам Шишков в своих «Записках»): «Я (т. е. Кутузов. — Е. Т.) представлял ему (царю. — Е. Т.) об этом, но, первое, он смотрит на это с другой стороны, которую также совсем опровергнуть не можно; и, другое, скажу тебе про себя откровенно и чистосердечно: когда он доказательств моих оспорить не может, то обнимет меня, поцелует, тут я заплачу и соглашусь с ним».

«Вы спасли не одну Россию, вы спасли Европу!» — сказал Александр 24 декабря, обращаясь к фельдмаршалу, который, окруженный огромной свитой своих генералов, явился к Александру поздравить его с днем рождения. Князь Кутузов принял это приветствие, в котором было явно начертана программа перенесения войны за границу, и принял миссию «спасения Европы», которую сам он вовсе и не считал нужным спасать.

12 января 1813 г. Кутузов издал воззвание к русской армии, начинающееся словами: «Храбрые и победоносные войска! Наконец, вы на границах империи! Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас сим именем! Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, подъятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу…..Перейдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата… Будем великодушны, положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажут им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствий и угнетений даже самые те народы, которые вооружились против России».

Заграничный поход начался. Пруссаки перешли на сторону России. Предстояли годы всеевропейского побоища, где больше всего было пролито именно русской крови. И только уже прощаясь с жизнью, старый фельдмаршал решился откровенно сказать, как он смотрит на это новое кровопролитие, на войну 1813 г., затеянную царем не только без всякой пользы для России, но в прямой вред русскому народу в будущем.

Дело было в г. Бунцлау, в прусской Силезии, в апреле 1813 г. Кутузов, тяжко больной, лежал уже на постели, с которой ему не суждено было встать. Не суждено ему было и начать военные действия против Наполеона, уже шедшего на русских и пруссаков со значительными силами.

27 апреля 1813 г. Кутузов умирал, и Александр I прибыл в Бунцлау к его смертному одру проститься с фельдмаршалом. За ширмами около постели, на которой лежал Кутузов, находился состоявший при нем чиновник Крупенников. И вот диалог, подслушанный Крупенниковым и дошедший до (гофмейстера) Толстого: «Прости меня, Михаил Илларионович!» — «Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит»32. Царь не ответил ничего.

На другой день, 28 апреля 1813 г., князя Кутузова не стало.

Александр узнал уже в Дрездене о смерти старого фельдмаршала. «Болезненная и великая не для одних вас, но для всего отечества потеря! Не вы одни проливаете о нем слезы: с вами плачу я и плачет вся Россия. Бог, позвавший его к себе, да утешит вас тем, что имя и дела его остаются бессмертными. Благодарное отечество не забудет никогда заслуг его»33, - так писал Александр вдове фельдмаршала, которая, впрочем, хорошо знала цену царским слезам по поводу смерти ее мужа.

Доверие к царю и высшему командованию, испытавшее такой страшный удар сначала в Смоленске, потом в Москве в конце лета и в начале осени 1812 г., восстановлялось крайне медленно. Убийственные последствия тяжкого заграничного похода стали сознаваться во всем значении весной и летом 1813 г., когда Наполеон во главе новой созданной им армии начал бить истощенные русские и прусские войска в кровопролитных сражениях при Лютцене, Бауцене, Дрездене. Протесты старого, уже тогда покойного, фельдмаршала Кутузова против продолжения войны с Наполеоном и перенесения ее за границу России приходили в эту бедственную для союзников первую половину 1813 г. на память всем тем, кто об этом знал, но и те, кто не знал, были встревожены и недовольны. Когда Москва узнала о том, что Наполеон разгромил под Дрезденом и отбросил союзную армию за Эльбу, тревога в столице, еще представлявшей собой сплошное пожарище, сделалась повсеместной.

«Известия, дошедшие сюда из разных мест об отступлении войск наших за Эльбу, произвели страх и уныние… Если неизвестность о военных действиях наших продлится долее и не пресечется или победами, или занятием вторично Дрездена, то много беспокойства здесь будет. Самые дурно расположенные люди к государю и правительству суть раскольники и купцы; первые доказали сие делом, а последние словом», — так писал Ростопчин 7 июня 1813 г.

Кутузов умер перед самым началом этих тяжелых для русских войск весенних и летних боев 1813 г. с Наполеоном, когда воззрения на то, нужно или не нужно России продолжать отчаянную борьбу без всяких дальнейших для себя выгод, стали в умах очень многих и в самой армии приближаться к взглядам покойного фельдмаршала.

Настроения были в русской армии в это время разные… Когда союзники заключили с Наполеоном временное перемирие после его побед под Лютценом, Бауценом, Дрезденом в июне 1813 г., то вот какая сцена произошла при поездке Коленкура, герцога Виченцского, на русские аванпосты: «Русские устроили в честь герцога Виченцского празднество. Герцог провозгласил тост: „За русскую армию!“ Русские офицеры ответили тостом: „За храбрую французскую армию!“ и трижды осушили свои стаканы. Присутствовал тут и прусский генерал».

Но эти новые настроения и эти события выходят уже за хронологические рамки моей работы. Кровопролитнейшие войны 1813, 1814, 1815 гг. не могут даже и в самом кратком виде тут рассматриваться. Агония наполеоновской мировой монархии длилась необычайно долго. Но смертельную рану всемирному завоевателю нанес русский народ в двенадцатом году.

Заключение

1

Война 1812 г. имела колоссальные последствия и оставила глубокий след во всемирной истории. Попытаемся в нескольких словах подвести главнейшие итоги. Попытаемся определить значение нашествия Наполеона как для Западной Европы, так и для России. Для Европы исход войны двенадцатого года оказался сигналом к восстанию против наполеоновского владычества.

Нашествие Наполеона на Россию было самой откровенной «грабительской империалистской» войной самодержавного диктатора, твердо связавшего свое владычество с интересами французской крупной буржуазии. Наполеоновское владычество уже в 1803–1804 гг., но особенно с 1805 г., ощущалось во всех германских государствах и в Австрии как тяжелый экономический гнет, проводимый политикой открытого насилия, политикой завоеваний, произвольных отторжений территорий, приемами военно-полицейского террора, причем диктатор сознательно вредил, сознательно и целеустремленно препятствовал экономической деятельности вообще и техническому прогрессу в особенности во всех покоренных им странах средней и северной Европы. В Италии этот гнет ощущался уже с 1796, а особенно с 1800 г., с так называемого «вторичного завоевания» Бонапартом Италии. Наконец, с 1807 г. этот тяжкий гнет усилился в невероятной степени и в то же время он охватил и придушил экономическое развитие таких стран, которые до тех пор еще умудрялись отстаивать свою торговлю и промышленность. Присоединение Голландии к Французской империи, присоединение ганзейских городов, захват всех северогерманских княжеств, беспощадная по своей жестокости и одна из наиболее циничных по своей грабительской откровенности войн Наполеона — попытка захвата Португалии и Испании, арест римского папы и захват Рима, наконец, те приемы, которые Наполеон стал применять с 1810 г. в деле реализации континентальной блокады, — все это ясно говорило буржуазии

всех европейских стран, покоренных Наполеоном, что европейский континент быстро идет к тому, чтобы стать политически бесправным и экономически несостоятельным объектом для монопольной эксплуатации со стороны французской буржуазии.

Если в первые годы континентальной блокады жаловалась торговая буржуазия, то ликовала промышленная и делала на первых порах золотые дела, будучи избавленной от английской конкуренции. Потом начались жалобы и со стороны промышленников. Без английских колониальных продуктов, без хлопка, без индиго, без сахарного тростника (несмотря на все удачные опыты со свекловицей) обходиться было трудно. И вот тут-то, с 1810–1811 гг., и обнаружилось все подневольное положение буржуазии покоренных стран: Наполеон давал своим купцам, своим французским промышленникам «лицензии» (разрешения) покупать у англичан на известных условиях нужное колониальное сырье, а купцам и промышленникам покоренных стран воспрещал это делать. Злоба, обида за все унижения, сознание грядущего разорения — вот чувства, которые наполеоновская диктатура возбуждала в Европе накануне нашествия 1812 г.

Что касается крестьян южной и средней Европы, то они, некогда получившие в результате наполеоновских завоеваний и потрясения феодальной системы кое-где свободу от крепостного права, кое-где сильное ослабление крепостничества, теперь (в 1807–1812 гг.) ощущали «великую империю» как ненасытное чудовище, требующее «налога крови» и получающее этот налог путем жестоких и постоянных рекрутских наборов. Хвалился же Наполеон тем, что в русском походе погибло «всего» 50 тысяч «настоящих» французов, а остальные сотни тысяч были немцы, итальянцы, голландцы, поляки, испанцы, далматинцы и т. д. А если так, то стоит ли, вопрошал император, очень кручиниться? Этот «налог крови» в покоренных странах несли именно крестьяне и рабочие, привилегированные классы откупались, выставляя за себя заместителей.

Все эти тяжкие последствия установления в Европе наполеоновского владычества ощущались особенно болезненно из-за беспощадно сурового характера мер, которыми это владычество поддерживалось. Пресса в Европе была задавлена вполне, не было немца, итальянца, голландца и т. д., который мог бы спокойно существовать, если он имел несчастье возбудить подозрительность всесильной, вездесущей, всеведущей императорской полиции. Вот почему, когда первые эшелоны русских войск перешли через границу в январе 1813 г. и явились в Пруссию, то раздались сначала полушёпотом, а вскоре очень громко радостные слова: «Русские освободители идут!» И этот клич на разных языках раздавался в течение всего 1813 г.

Конечно, в Пруссии, например, восстание 1813 г., обусловленное только что указанными причинами, было также подготовлено терпеливой и успешной работой Штейна, Гарденберга, Шарнгорста, Гнейзенау и других патриотически настроенных в лучшем смысле слова людей, но достоверно и то, что без 1812 г. едва ли Пруссия и вся Европа так скоро освободились бы от Наполеона. Послушаем фельдмаршала Гнейзенау, одного из самых значительных людей этого прусского движения против Наполеона. Он был человеком прямодушным и не льстил. Замечу кстати, что он и в 1826 г. (в письме к Дибичу) повторил точь-в-точь то свое глубокое убеждение, которое высказал тогда, когда освобождение Пруссии от Наполеона только что совершилось.

Летом 1814 г., уже после первого отречения Наполеона, Гнейзенау писал Александру: «Если бы не превосходный дух русской нации, если бы не ее ненависть против чуждого угнетения, если бы не благородное упорство ее возвышенного властителя, то цивилизованный мир погиб бы, подпав под деспотизм неистового тирана». Так отзывался об освобождении Европы от Наполеона пруссак и немецкий патриот под свежим впечатлением той роли, которую сыграл русский народ в 1812, 1813 и 1814 гг.

Это особенно полезно припомнить теперь, когда в иностранных учебниках для средней

школы повествуется об освобождении Пруссии в 1813 г. почти без упоминания о русском 1812 годе, а упоминается о 1812 годе главным образом лишь затем, чтобы пояснить, что если бы тогда не настала случайно морозная погода, то Россию поминай как звали.

Что касается Англии, то ее положение было иное. Политически она от Наполеона никогда не зависела, как зависел от него весь европейский материк, но, разумеется, континентальная блокада была покончена русской победой, и английские товары потоками хлынули во все страны Европы, так долго закрытые. Случилось именно то, что предвидел Кутузов, бывший не только замечательным стратегом, но и глубоким политиком, разговаривая с Вильсоном между Красным и Березиной: гибель Наполеона пошла на пользу больше всего именно Англии, а не какой-либо стране континента. Экономическое главенство Англии, обусловленное ее промышленной революцией XVIII в. и рядом других условий и не побежденное никакими отчаянными усилиями всемогущего Наполеона пышно расцвело теперь на долгие десятилетия. В частности русский экспорт, русский импорт, русская валюта оказались в большой зависимости от Лондона. Английские купцы держали себя после падения континентальной блокады в сношениях с русским правительством почти так же самоуверенно и независимо, как представитель их интересов сэр Роберт Вильсон в письмах к Александру и в разговорах с Кутузовым в 1812 г. 2

Для самой России последствия Отечественной войны были также огромны. Не морозы и не пространства России победили Наполеона: его победило сопротивление русского народа. Русский народ отстоял свое право на независимое национальное существование и сделал это с такой неукротимой волей к победе, с таким истинным, презирающим всякую шумиху героизмом, с таким подъемом духа, как никакой другой народ в тогдашнем мире, кроме одного только испанского.

У русского народа оказалось больше физических сил и материальных возможностей, и наполеоновские полчища в шесть месяцев растаяли и погибли в России, а испанцы, несмотря на весь свой героизм (столь же бесспорный, как и героизм русский), не могли все-таки, несмотря на огромную помощь со стороны англичан, пять лет подряд избавиться от Наполеона и избавились от него опять-таки только в 1813 г. в прямой связи с последствиями русского двенадцатого года.

Русская народная война сказалась в героизме русских солдат на полях битв с Наполеоном, сказалась в вооруженных выступлениях крестьянства против завоевателя, в успешных усилиях русских крестьян заморить голодом великую армию; испанская народная война должна была выражаться в самостоятельных боевых предприятиях неорганизованных крестьянских масс. Героизма для этого требовалось очень много, но все-таки результаты не могли быть такими быстрыми и значительными, как если бы в Испании сохранились боеспособные организационные кадры. В Испании они возникли далеко не с начала борьбы; в России они от начала до конца существовали и наиболее целесообразно могли использовать подъем народного духа.

Победа двенадцатого года вызвала столько справедливой гордости, столько справедливой уверенности в себе, так потрясла сердца, вызвала такое лихорадочное возбуждение умов, что некоторые современники уверяли, будто после 1812 г. Россия стала какая-то «новая», вроде Москвы, которая делит свою историю «до француза» и «после француза».

С двенадцатым годом связан и первый революционный порыв новейшей русской истории — восстание 14 декабря 1825 г., - и не только потому, что некоторые декабристы в двенадцатом году подняли оружие за Россию против Наполеона, как в 1825 г. они подняли оружие за Россию против Николая. Двенадцатый год понимался молодыми поколениями 1812–1825 гг. и позднейшими как борьба за свободу, как избавление от того добавочного иноземного угнетения, от тех новых цепей, которые нес с собой в Россию Наполеон.

Могучий толчок, который победа дала русскому народу, отозвался на первом пробуждении революционного сознания. Ленинская точная формула: «декабристы разбудили Герцена», может навести и на другую мысль: «двенадцатый год — в своих ближайших последствиях — пробудил декабристов». Но эта формулировка не имеет той точности, какую имеет формула Ленина, потому что мы должны говорить не только о 1812, но и о 1813, и о 1814, и о 1815 гг., когда война с Наполеоном продолжалась уже в Европе. Даже и годы после Ватерлоо, после 1815 г., должны быть приняты во внимание, потому что русские войска еще долго оставались во Франции. Но именно победа двенадцатого года и повлекла за собой все эти последствия. Не только декабристы увязываются с двенадцатым годом, — давно была высказана мысль: «без двенадцатого года не было бы Пушкина». В таком виде эта мысль звучит парадоксально. Мы знаем, что великие поэтические гении родятся и процветают также и в эпохи национального унижения, а не только национального величия: Данте, Гете Шиллер — достаточное тому доказательство, но что поэзия Пушкина отразила в себе также и радостное, гордое сознание могучей моральной силы родного народа, низвергшего «тяготеющий над царствами кумир», это бесспорно. Что без двенадцатого года Пушкин не был бы таким, каким он был, и говорил бы о России не так, как говорил о ней, когда уже подобно Петру «он знал ее предназначенье», это более чем вероятно.

Пушкин — это лишь один из примеров, которые тут можно привести. Вся русская умственная культура, русское национальное самосознание получили могучий толчок в грозный год нашествия.

«Не шумные толки французских журналов погубили Наполеона, — при нем и не было никаких толков. Его погубил поход 1812 года. Не русские журналы пробудили к новой жизни русскую нацию, — ее пробудили славные опасности 1812 года»1, - писал Чернышевский.

Русское крепостничество продолжало существовать и после двенадцатого года; еще не было налицо всех социально-экономических условий, которые немедленно привели бы к его сокрушению, но ведь и Наполеон приходил в Россию, повторяем, не разбивать старые цепи, а, напротив, надеть на русский народ сверх старых еще и новые.

Русский народ не есть народ обыкновенный, заговорили передовые люди России (вроде В. Каразина) после двенадцатого года. В нашу эпоху русский народ повел все другие народы, населяющие наше великое государство, на борьбу по созданию первого в мировой истории социалистического строя, не знающего ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых. Но чтобы иметь возможность это сделать, нужна была полная национальная независимость, ничем не ограниченная свобода распоряжаться собой и своей страной. Это великое благо, это необходимейшее условие всякой плодотворной работы русский народ ревниво старался охранять в течение всей своей истории, по крайней мере с тех пор, как сознал себя народом. Это испытали поляки в начале XVII в., шведы в начале XVIII в., Наполеон в начале XIX в. Из всех покушавшихся на самостоятельность России, конечно, самым грозным врагом был именно Наполеон, потому что со времен Александра Македонского и Юлия Цезаря не существовало еще такого чудовищного могущества, сосредоточенного в одних руках. Наполеону была подчинена необъятная империя, населенная самыми разнообразными богатыми, цивилизованными народами, власть его над ними была беспредельна, его великий военный гений считался и теперь считается первым, непревзойденным в истории человечества. И русский народ сокрушил этого великана.

Могут ли быть теперь великому русскому народу страшны фашистские хищники, поджигатели войн? «Затем ли свергнули мы льва, чтоб пред волками преклоняться?» — спрашивал Байрон после падения наполеоновской империи. Затем ли русский народ победил непобедимого гиганта, чтобы через 130 лет уступить свое достояние или право распоряжаться собою ничтожным в умственном и нравственном отношении пигмеям, сильным исключительно безнаказанностью, которую до поры до времени встречает их наглость?

«Читайте историю России, это очень полезное занятие!» — настойчиво и очень разумно советовал своим соотечественникам покойный германский публицист Максимилиан Гарден в 1918 г., когда немцы так успешно, как им казалось, распространились по Украине, Крыму и Кавказу. Он очень боялся результатов этого вторжения для немцев, но берлинская военная цензура не давала ему выражаться яснее. Об этом совете забыли гитлеровцы, которых ждет такой же позорный конец, как и империалистическую Германию Вильгельма II.

1938 г.

Комментарии

Глава I. Перед столкновением*

(1) Napoleon I. Correspondance, t. XXIV. Paris, 1868, № 19389, стр. 342. 20 Decembre 1812. Reponse a l'adresse du Senal Conservateur.

(2) Napoleon I. Correspondance, t. XXIV. Paris, 1868, № 19390, стр. 343.

(3) Napoleon I. Correspondance, t. XXIV. Paris, 1868, № 19462, стр. 403:…je n'en eus pas meme idee.

(4) Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VII. СПб., 1882, стр. 433.

(5) Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ), рукописный отдел, арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 6. Preccis des principaux evenements qui ont eu lieu depuis 1807. Presente le 8 aout 1812 par le comte de Nesselrode a S. M. 1'Empereur Alexandre. Копия.

(6) ГПБ, рукописный отдел, арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 4. Papiers interceptes. Compiegne, 7 avril 1810. Копия.

(7) Переписка Александра I с сестрой, великой княгиней Екатериной Павловной. СПб., 1910, стр. 35–37.

(8) Сб. РИО, т. 21, СПб., 1877, стр. 416. Письмо П. А. Шувалова-Александру I, 3/15 мая 1811 г.

(9) Переписка Александра 1 с… Екатериной Павловной, стр. 51.

(10) Переписка Александра 1 с… Екатериной Павловной, стр. 57.

(11) Сб. РИО, т. 21, стр. 352. А. Б. Куракин — Н. П. Румянцеву. Париж, 30 ноября 1811 г.

(12) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 6. Союзный трактат Франции с Пруссией 24 (12) февраля 1812 г. Копия.

(13) ГПБ, рукописн., отд., арх. К. А. Военского, I, № 282. Подробная опись собственноручным письмам Александра I к Барклаю де Толли. Копия.

(14) Correspondance, t. XXIII, № 18541, стр. 275, Au prince Kourakine. Paris, le 3 mars 1812.

(15) Correspondance, t. XXIV, № 18981, стр. 75.

(16) Сб. РИО, т. 21, стр. 361, А. Б. Куракин-Н. П. Румянцеву, 11/23 апреля 1812 г.

(17) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-б, № 6. Лористон- Даву, 24 апреля 1812 г.

Копия.

(18) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-б, № 6. Нарбонн-Даву. Варшава, 24 (12) мая 1812 г. Копия.

(19) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-б, № 6.

(20) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 4. Papiers interceptes. Situation de l'Espagne. 25 aout 1810. Копия.

(21) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 6. Сухтелен-Александру I. Стокгольм, 18(30) марта 1812 г.

(22) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера. Сухтелен-Александру I, 29 марта (10 апреля) 1812 г.

(23) Русская старина, 1896, август, стр. 332–333.

(24) Архив Ин-та истории АН СССР, бумаги Воронцова, письма к сыну, № 192–447. Londres, le 5 juin 1812. Пометка рукой самого Семена Романовича: 5 juin NS (т. е. 5 июня нового стиля). Все письмо, конечно, на французском языке.

(25) Wilson R. Narrative of events during the invasion of Russia. London, 1860, стр. 275.

(26) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 295. Папка Ковно в 1812 г., рукопись Дневник особенных происшествий в уездном ковенском училище (без подписи), запись от 12(24) июня 1812 г. Копия.

(27) Lettres inedites de Napoleon I a Marie-Louise, Paris, 1935, № 42.

(28) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. Записки и заметки современников о 1812 г. Краткое обозрение знаменитого похода российских войск против французов в 1812 г. Барклая де Толли. Копия.

Глава II. От вторжения Наполеона до начала наступления великой армии на Смоленск*

(1) Изложение разговора Балашова с Наполеоном хранится в Военно-ученом архиве и несколько раз появлялось в печати, но с некоторыми сокращениями и изменениями (у Михайловского-Данилевского, у Тьера). Наиболее полно оно дано в издании Дубровина «Отечественная война в письмах современников» (СПб., 1882, № 19). Но и тут есть купюры, восстановленные, замечу, Николаем Карловичем Шильдером чернилами на полях в экземпляре издания Дубровина Публичной библиотеки по собственноручной записке А. Д. Балашова. Конечно, не во всем можно полагаться на балашовское изложение, а проверить его нельзя, так как ни Наполеон, ни его свита не оставили нам своей версии, и, например, точный и правдивый Сегюр, бывший все время в свите Наполеона, говорит об этом свидании на двух беглых страницах (т. I, стр. 171–172), причем тоже ссылается на русскую (т. е. балашовскую) версию.

(2) См. указанный выше экземпляр издания Дубровина с приписками Н. К. Шильдера, стр. 21.

(3) Segur, t. I, стр. 73.

(4) Черновик его впервые напечатан А. Ф. Бычковым в первой книге Русской старины за 1870 г.

(5) Er lachte wie ein halb Wahnsinniger uber die Niederlage unserer Heere.

(6) Так писал Александр I Салтыкову из-под Дриссы. См. Шишков А. С. Дрисская записка. ГПБ, рукописн., отд., арх. Н. К. Шильдера, К-30, № 33.

(7) ГПБ, рукописн., отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. К истории войны 1812 г. Копия.

(8) Харкевич В. 1812 год в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Материалы Военно-учебного архива Главного штаба, т. II. Вильна, 1903, стр. 46–47.

(9) To11 F. von. Denkwurdigkeiten. Bd. I. Leipzig, 1856, стр. 327–328.

(10) Ср. Обозрение состояния артиллерии с 1798 по 1848 г. СПб., 1852.

(11) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. К истории войны 1812 г.

(12) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 226, помечено: «На Двине близ Дриссы. Июня 30 дня 1812», подписано: «Верноподданнейше граф А. Аракчеев, Александр Балашов, Александр Шишков».

(13) Переписка Александра I с… Екатериной Павловной, стр. 76.

(14) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-30, № 33; Шишков А. С. Цит. соч. Копия.

(15) Харкевич В. 1812 год в дневниках…, т. II.

(16) Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XI, ч. 2, стр. 569.

(17) Эти записки графа Толя, человека, бывшего в центре событий, в штабе Барклая, необычайно важны для истории войны. Отмечу между прочим, что Маркс и Энгельс очень охотно пользовались Толем для своих военных статей в американском энциклопедическом словаре. Вот то знаменательное показание графа Толя, на которое я ссылаюсь: «…ist besonders bemerkenswerth dass keinem auch der ausgezeichnetsten Offiziere des Hauptquartiers zu Wilna, auch nur entfernt einfiel die ungeheure Ausdehnung Russlands zu Hilfe zu nehmen was nachher im Laufe der Ereignisse ganz von selbst und ohne das jemand beabsichtigt hatte zur entscheidenden Hauptsache wurde». см. Toll F. von. Цит соч., т I, стр. 247. Эти записки обработаны и изданы генералом Бернгарди, и о Толе там всюду говорится в третьем лице.

(18) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 281. Разные сведения по 1812 г. Рапорт генерал-лейтенанта Эссена Александру I, Рига, июля 9 дня 1812 г. Копия.

(19) Ермолов А.П. Записки. М., 1865, стр. 149.

(20) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 281. Яков Вилье — Александру I. Поречье, 17 июля 1812 г., папка Разные сведения по 1812 г.

(21) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 281. О раненых, находящихся в Смоленской губернии, в городе Вязьме, папка Разные сведения по 1812 г. Козодавлев-Александру I, 7 августа 1812 г. Копия.

(22) Записка Каликста Даниловича о действиях Наполеона в Вильне. Военский К. Акты, документы и материалы для истории 1812 г., т. I, СПб., 1909, стр. 410–411.

(23) Lettres inedites de Napoleon a Marie-Louse, № 44. Wilna, le 30 juin.

(24) Lettres inedites de Napoleon a Marie-Louse, № 46. Wilna, le 2 juillet 1812.

(25) Correspondance. t. XXIV, № 19024, 1812, стр. 109.

(26) Французы, в России, ч. I. М., 1912, стр. 27.

(27) Correspondance, t. XXIV, № 18995. Gloubokoie, 22 juillet 1812, стр. 89.

(28) Correspondance, t. XXIV, № 18948, стр. 53.

(29) Correspondance, t. XXIV, № 18972. Наполеон — Евгению, стр. 70.

(30) Correspondance, t. XXIV, № 18988, стр. 83.

(31) Военский К. Акты, документы и материалы для истории 1812 г., т. I, стр. 416. Письмо Эйсмонта.

(32) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. D'Aupias- Александру I, 28 января 1813 г.

(33) Correspondance, t. XXIV, № 18999. Vilna, 4 juillet 1812, стр. 16.

(34) Correspondance, t. XXIII, № 18529, стр. 259. Note pour le comte Daru: Ce sont des regiments qu'on essaye, sur lesquels on ne compte point.

(35) Французы в России, ч. I, стр. 43–44.

(36) Correspondance, t. XXIV. № 18879, стр. 4.

(37) Correspondance, t. XXIV. № 18905, стр. 19–20.

(38) Correspondance, t. XXIV. № 18910 и 18911, стр. 22–24.

(39) Русская старина, т. CXII, стр. 548. Дан этот приказ на марше в местечке Мир.

(40) Correspondance, t. XXIV, № 18946, стр. 50.

(41) По словам поэта Батюшкова, Раевский впоследствии отрицал точность этого рассказа.

(42) Клаузевиц. 1812 год. М., 1937, стр. 60.

(43) Correspondance, t. XXIV, № 19008, стр. 99.

(44) Correspondance, t. XXIV, № 19010, стр. 100.

(45) Correspondance, t. XXIV, № 19021, стр. 107.

(46) Correspondance, t. XXIV, № 19035, стр. 116.

(47) Correspondance, t. XXIV, № 19038, стр. 117.

(48) …eh bien je traiterai avec les boiards sinon avec la population de cette capitale; elle est considerable, ensemble et consequemment eclairee, elle entendra ses interets, elle comprendra la liberte (Segur. Цит. соч., т. I).

(49) Correspondance, t. XXIV, № 19097, стр. 156.

Глава III. Бой под Смоленском*

(1) Ермолов А. П. Записки, прилож., стр. 172. Багратион-Ермолову, 29 июля, четыре часа пополудни.

(2) Подлинник в Военно-учен. архиве, копия в бумагах Михайловского-Данилевского в ГПБ. Там же печатный экземпляр (1 из 15). Помечено это: «Оправдание главнокомандующего Барклая де Толли в действиях его во время Отечественной войны в 1812 г.» — «Вильна, 15 декабря 1821 г.»

(3) Историческое описание войны 1812 г. СПб., 1813, стр. 60.

(4) Ермолов А. П. Записки, стр. 163.

(5) Колюбакин Б. 1812 год. СПб., 1911, стр. 106.

(6) Харкевич В. 1812 год в дневниках… т. II, стр. 11–12.

(7) Французы в России, ч. 1, стр. 104.

(8) Lettres inedites de Napoleon a Marie-Louise, № 74. Smolensk, le 18 aout 1812.

(9) Correspondance, t. XXIV, № 19098, стр. 157. A. M. Maret, duc de Bassano, Smolensk, 18 aout 1812.

(10) Его воспоминания прекрасно были переведены на русский язык под редакцией Н. Н. Губского: Ложье Ц. Дневник офицера великой армии. М., 1912.

(11) Ложье Ц. Дневник офицера великой армии. М., 1912. стр. 105.

(12) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 261. Смоленская губерния. Сведения, доставленные Михайловскому-Данилевскому по письму за № 178.

(13) Отечественная война в письмах современников (1812–1815 гг.). Изд. Н. Дубровина. СПб., 1882, № 89 и 90. Багратион — Ростопчину.

(14) Lettres inedites de Napoleon a Marie-Louise, № 82. Wiasma, le 30 aout.

Глава IV. От Смоленска до Бородина*

(1) Его воспоминания появились на французском языке, а то, что касается 1812 г.,-в русском переводе в Русской старине за 1889 г. Я пользовался рукописью в архиве В. И. Семевского (ИРЛИ, арх. Русской старины).

(2) Переписка Александра I с Екатериной Павловной, стр. 81. Jaroslaw, Ce 5 aout 1812.

(3) Показания майора Пиотровского маршалу Бертье. ГПБ, рукописн. отд., арх Н. К. Шильдера, К-б, № 10, без точной даты, 1812. Граф Красинский — Наполеону. Копия.

(4) Переписка Александра I с Екатериной Павловной, Jaroslaw. Ce 5 aout 1812, стр 81.

(5) Отечественная война в письмах современников, № 97. Князь Багратион — графу Ростопчину (собственноручно). 20 августа 1812 г., деревня Дурыкина на реке Москве.

(6) Отечественная война в письмах современников, № 65. Граф Шувалов-Александру I. Moschinki, le 31 juillet 1812.

(7) Двенадцатый год в записках В. И. Бакуниной. — Русская старина, 1885, № 9, стр. 403.

(8) Переписка Александра I с… Екатериной Павловной, стр. 82. Petersbourg, le 8 aout 1812.

(9) ИРЛИ, арх. Кутузова, письма высочайших особ, подлинный рескрипт 25 марта 1791 г., подпись (собственноручная): «Екатерина».

(10) Мой век или история С. И. Маевского- Русская старина, 1873, август, стр. 154.

(11) Архив Ин-та истории АН СССР, бумаги Воронцова, le 22 mai 1812.

(12) Русская старина, т. 71, стр. 494, прим.

(13) Ермолов А. П. Записки, прилож., стр. 208.

(14) Замечу, что большинство официальных документов, сохранившихся в Военно-ученом архиве и в других хранилищах, к сожалению, дают об этих предбородинских днях гораздо меньше, чем исследователь вправе был бы ждать, да и в ряде случаев явно и преднамеренно приукрашивают и извращают действительность.

(15) Мой век или история С. И. Маевского. — Русская старина, 1873, август, стр. 145.

(16) Отечественная война в письмах современников, № 98. Кутузов — Ростопчину, 21 августа 1812 г. Колоцкий монастырь.

(17) Отечественная война в письмах современников, № 127. Я. Виллуе [Вилье. — Ред.] — графу Аракчееву, № 423, 12 сентября 1812 г. Красная Пахра.

(18) Correspondance, t. XXIV, № 19176, стр. 203.

(19) Lettres inedites de Napoleon a Marie-Louise, № 85. Ghjatsk, le 2 septembre.

(20) Конечно, с другой стороны, сам Кутузов в официальном донесении Александру, озлобленному своему врагу, должен был оправдывать выбор позиций. Но принимать этот отзыв за действительное мнение Кутузова никак нельзя. Да и отзывается Кутузов об этой позиции довольно осторожно, говоря, что на этих плоских местах она была «наилучшей». Эта служебная реляция писалась для Александра, а не для потомства и истории.

(21) Segur. Цит. соч., т. I, стр. 360.

Глава V. Бородино*

(1) См. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XI, ч. II, стр. 637.

(2) См. Клаузевиц. 1812 год. Цит. изд., стр. 74.

(3) Ермолов А. П. Записки, стр. 195.

(4) Глинка Ф. Воспоминания о 1812 годе, т. II, стр. 73.

(5) Архив Ин-та истории АН СССР, бумаги Воронцова, № 1117. Lettres du C-te de St.-Priest a l'Empereur de Russie du 27 aout de Mojaisk.

(6) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11, из бумаг Михайловского-Данилевского. Заметки генерала Никитина. Копия.

(7) Липранди И. П. Материалы для Отечественной войны 1812 г. СПб., 1867, стр. 14. Об этом говорят и другие.

(8) Русская старина, т. 72, стр. 44.

(9) Lettres inedites de Napoleon a Marie-Louise, № 88, Borodino, le 8 septembre.

(10) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. Краткое обозрение знаменитого похода российских войск против французов в 1812 г. Барклая де Толли.

(11) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-8, 29 августа 1812 г. Донесение Льва Аршеневского- Д. П. Руничу. Копия.

(12) Липранди И. П. Цит. соч., стр. 7–8.

Глава VI. Пожар Москвы*

(1) Колюбакин Б. Цит. соч., стр. 116 (походный дневник Фабер де Флора).

(2) Отечественная война в письмах современников, № 128. Барон Винценгероде-императору Александру, 13(25) сентября 1812 г. Давыдовка.

(3) Харкевич В. 1812 год в дневниках…, т. I, стр. 23.

(4) Отечественная война в письмах современников, № 124. 11 сентября 1812 г.

(5) Отечественная война в письмах современников,№ 125 (в конверте на имя Каткэрта).

(6) Архив Ин-та истории АН СССР, бумаги Воронцова, № VII, стр. 232–235. Не подписано.

(7) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-30, № 23. Материалы Михайловского-Данилевского. Записки князя А. Б. Голицына о 1812 г. Копия. Обе цитаты, приведенные на этой странице, найдены мной в ленинградских архивохранилищах и впервые опубликованы в 1939 г. в первом издании моей книги.

(8) Мой век или. история С. И. Маевского. — Русская старина, 1873, август, стр. 143.

(9) Отечественная война в письмах современников, № 120. П. М. Капцевич-графу Аракчееву, 6(18) сентября 1812 г. Подольск.

(10) Харкевич В. 1812 год в дневниках…, т. I, стр. 23–24.

(11) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-30,№ 23. Записки князя А. Б. Голицына о 1812 г.

(12) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 300. Материалы 1812 г. Записки неизвестного о сдаче Москвы.

(13) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-30, № 23. Записки князя А. Б. Голицына о 1812 г.

(14) Пожар Москвы, ч. I, стр. 12 Записки Маракуева.

(15) Русский архив, 1869, № 9. Передает это Языков со слов Аракчеева. Замечу, впрочем, что передача показания Аракчеева по своему стилю не внушает полного доверия: Аракчеев так не говорил.

(16) Ленингр. отд. Центр, архива, Арх. культуры и быта. Саратовская губерния, прокурор — министру юстиции, № 200, 15 июля 1812 г. Речь Наполеона князьям (sic!) Рейнского союза и королю Прусскому в Дрездене.

(17) Segur. Цит. соч., т. II, стр. 37.

(18) Souvenirs du duc de Vicence. Bruxelles, 1838, стр. 87.

(19) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 4. Papiers inter-ceptes, 1812. Moscou, 15 octobre 1812, подпись: «Prosper».

(20) Lettres inedites de Napoleon a Marie-Louise, № 43, le 16 septembre.

(21) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8. Москва, 24 октября 1812 г. Донесение Коржачевского-Руничу.

(22) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 10. Бумаги отбитые у французов. Иван Тутолмин- Александру I, 7 сентября 1812 г.

(23) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 259, папка Московская губерния, № 71, Московской управы благочиния г. экзекутору Андрееву.

(24) Souvenirs du duc de Vicence, стр. 92.

(25) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 4, Papiers interceptes, 1812. Moscou, le 15 octobre, подпись: «Prosper».

(26) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, I, № 282. 1812 г. Сведения, полученные от выехавших из Москвы коллежского асессора Пестова, прапорщика Спекгана и штаб-ротмистра Булычева (октябрь 1812 г.).

(27) Lettres inedites de Napoleon a Marie-Louise, № 94.

(28) ИРЛИ, арх. Кутузова, папка неразобранных бумаг, № 59, черновик.

(29) Отечественная война в письмах современников, № 133, 17 сентября 1812 г.

(30) Переписка Александра I с Екатериной Павловной, стр. 83. Jaroslaw, Ce 3 septembre 1812.

(31) Переписка Александра I с Екатериной Павловной, стр. 84. Petersbourg, le 7 septembre 1812.

(32) …une fois la guerre engagee, il faut que lui, Napoleon, ou moi, Alexandre, y perde sa couronne.- Souvenirs du duc de Vicence, t. I, стр. 84.

(33) Переписка Александра I с Екатериной Павловной, стр. 83–84. № 33. Jaroslaw. Ce 6 septembre 1812.

(34) Переписка Александра I с Екатериной Павловной, стр. 86, 18 сентября 1812 г. Письмо занимает около 7 печатных страниц большого формата. Как и вся эта переписка, письмо написано на французском языке.

(35) …on Vous accuse d'ineptie. — Там же, стр. 95. Jaroslaw, Ce 23 septembre 1812.

Глава VII. Русский народ и нашествие*

(1) Харкевич В. 1812 год в дневниках…, т. II, стр. 78–79. (Записки Бенкендорфа).

(2) Ленингр. отд. Центр арх., Арх. культуры и быта, 159, № 57. Дело об ослушании крестьян, купленных надворным советником Яковлевым. Начато 7 мая 1812 г., кончено 27 октября 1813

г.

(3) Журналы комитета министров. Царствование Александра I, т. II. СПб., 1888, № 30, стр. 466.

(4) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8. Богдан Греве — Д. П. Руничу, 15 октября 1812 г.

(5) Журналы комитета министров. Царствование Александра I, т. П, стр. 566.

(6) Журналы комитета министров. Царствование Александра I, приложение № XIII, стр. 712.

(7) Ленингр. отд. Центр. арх., Арх. культуры и быта, департамент министерства юстиции, 1812 г. Рапорт прокурора от 13 декабря 1812 г.

(8) Там же, донесение пензенского губернского уголовных дел стряпчего губернскому прокурору, 11 января 1813 г.

(9) Ростопчин-Александру I, 17 декабря 1806 г. Москва.

(10) Двенадцатый год в записках В. И. Бакуниной. — Русская старина, 1885, № 9, стр. 397.

(11) Архив Ин-та истории АН СССР, бумаги Воронцова, VII, стр. 234 (без подписи).

(12) Харкевич В. 1812 год в дневниках…, т. II, стр. 82–83 (Записки Бенкендорфа).

(13) Отечественная война в письмах современников, № 331. 16 января 1813 г. Бромберг.

(14) Журналы комитета министров. Царствование Александра I, т. II, стр. 553.

(15) Бумаги, относящиеся к Отечественной войне 1812 г., собр. и изд. П. И. Щукиным, т. III, стр. 72.

(16) Опись документов и дел, хранящихся в сенатском архиве. — Отечественная война, № 727, стр. 210–211.

(17) Двенадцатый год в записках В. И. Бакуниной. — Русская старина. 1885, № 9, стр. 409.

(18) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8. Секретно. Нижний-Новгород, 19 октября, № 236, Рунич-Козодавлеву.

(19) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8. Секретно. Москва, 29 сентября 1813 г. Рунич-Козодавлеву. В собственные руки.

(20) Сб. РИО, т. 139. Акты, документы, и материалы для истории 1812 года, стр. XXXV–XXXVII.

Глава VIII. Тарутино и уход Наполеона из Москвы*

(1) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 10. Бумаги, отбитые у французов. Иван Тутолмин — Александру I, 7 сентября 1812 г.

(2) Correspondance, t. XXIV, № 19213, стр. 221–222, a Alexandre I, l'empereur de Russie, Moscou, 20 septembre 1812.

(3) Рассказ о 12-м годе. — Русский архив, 1871, перепечатка в Пожаре Москвы, стр. 135.

(4) Герцог Бассано-Наполеону. Вильна, 22 сентября 1812 г.

(5) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 4. Papiers interceptes, письмо Pastoret a Bignon, 26 octobre 1812.

(6) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 5. Наполеон — герцогу Фельтрскому. Moscou, le 16 octobre 1812.

(7) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8. Из бумаг Рунича. Переписка с Козодавлевым (декабрь 1812 г.).

(8) Харкевич В. 1812 год в дневниках…, т. I, стр. 30. (Записки Щербинина).

(9) Там же, стр. 33: Vous commandez 1'armee, je ne suis que volontaire.

(10) Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XI, ч. II, стр. 577.

(11) Архив Ин-та истории АН СССР, бумаги Воронцова, письма разных лиц, № 11, Burlegh, le 22 septembre 1812, подписано «George Tate».

(12) Отечественная война в письмах современников, № 146. Роберт Вильсон-лорду Каткэрту. 23 сентября/5 октября 1812 г.

(13) Отечественная война в письмах современников, № 172. Кутузов- Бертье, 8 октября 1812 г.

(14) Correspondance, t. XXIV, № 19273, стр. 264.

(15) Correspondance, t. XXIV, № 19275, стр. 265 Moscou, le 16 octobre 1812.

(16) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, Lettres interceptees. Наполеон — Марэ, герцогу Бассано. Moscou, le 16 octobre 1812; Correspondance, t. XXIV. № 19275, стр. 265.

(17) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, Lettres interceptees. Коротенькая записка Наполеона Марэ, герцогу Бассано (этот приказ дан в другой редакции). Moscou le 16 octobre 1812.

(18) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, Lettres interceptees. Наполеон — Савари, герцогу Ровиго. Moscou, le 16 octobre 1812.

(19) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, Lettres interceptees. Наполеон — Марэ, герцогу Бассано. Moscou, le 16 octobre 1812.

(20) Отечественная война в письмах современников, № 177. Беннигсен — жене, 10 октября 1812 г.

(21) Мой век или история С. И. Маевского. — Русская старина, 1873, август, стр. 157.

(22) Харкевич В. 1812 год в дневниках…, т. I, стр. 43 (Записки Щербинина): «Вскоре после Тарутинского сражения Кутузов получил от государя письмо, которое послано было Беннигсеном его величеству. В этом письме заключался донос на Кутузова в том, что будто бы он оставляет армию в бездействии и лишь предается неге. Кутузов тотчас же по получении этого письма велел Беннигсену оставить армию».

(23) Lettres de Napoleon a Marie-Louise, № 113, 20 octobre 1812 (из Десны).

(24) Ленингр. отд. Центр. арх., Арх. культуры и быта. Дело о чиновниках и пр., № 942, показание Бестужева-Рюмина от 14 февраля 1814 г.

(25) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8. Донесение А. Коржачевского-Д. П. Руничу, 24 октября 1812 г.

Глава IX. Отступление великой армии. Малоярославец и начало партизанской войны*

(1) Липранди И. П. Цит. соч., стр. 33–34.

(2) Отечественная война в письмах современников, № 194. Роберт Вильсон — лорду Каткэрту.

(3) Отечественная война в письмах современников, № 197. 23 октября/4 ноября 1812 г. Вязьма.

(4) ИРЛИ, арх. Кутузова, письма высочайших особ. Vienne, le 5 novebmre 1805. Император Франц-Кутузову (собственноручное письмо, до сих пор неизданное).

(5) Харкевич В. 1812 год в дневниках…, т. II, стр. 81.

(6) Отечественная война в письмах современников, № 261. 19 ноября/ 1 декабря 1812 г. Письмо англичанина Д. к его матери.

(7) Отечественная война в письмах современников, № 211. Воейков-Г. Р. Державину, 30 октября 1812 г. г. Ельня.

(8) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, № 11. Записки генерала Крейца. Эти записки были изданы, но неполно, во II выпуске (1812 год в дневниках и документах).

(9) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-9, D'Onua — Александру I, 26 января 1813 г. Записка о войне 1812 г. Копия.

(10) Пожар Москвы, ч. 1, М., 1911, стр. 126. Письмо смоленского помещика.

(11) Давыдов Д. В. Сочинения, т. II. СПб., 1893, стр. 32.

(12) Русская старина, т. VII, стр. 99-102.

(13) Волконский С. Г. Записки. СПб., 1902, стр. 207.

(14) Давыдов Д. В. Сочинения, т. III. СПб., 1893, вып. 77.

(15) Харкевич В. 1812 год в дневниках…, т. II, стр. 112.

Глава X. Березина и гибель великой армии*

(1) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-6, № 4. Papiers interceptes. Duroc, due de Friout, a Montesquieu. Smolensk, le 10 novembre 1812. Копия.

(2) Материалы Военно-учен. арх., Отечественная война, т. XIX, № 530, стр. 196, 15 ноября.

(3) Харкевич В. Барклай де Толли в Отечественную войну. СПб., 1904, стр. 36.

(4) Харкевич В. Барклай де Толли в Отечественную войну. СПб., 1904, стр. 36.

(5) Отечественная война в письмах современников, № 236. Роберт Вильсон-лорду Каткэрту, 7/19 ноября 1812 г.

(6) Отечественная война в письмах современников, № 219. Роберт Вильсон — Александру I, 31 октября/12 ноября 1812 г. Лапково.

(7) Харкевич В. 1812 год в дневниках…, т. II, стр. 47.

(8) Левенштерн В. И. Записки-Русская старина, 1901, стр. 123.

(9) Левенштерн В. И. Записки-Русская старина, 1901, стр. 375.

(10) Давыдов Д. В. Сочинения, т. II, стр. 103.

(11) Там же, стр. 108–109.

(12) Архив Ин-та истории АН СССР, бумаги Воронцова, письма к сыну, № 192, 510, Londres, le 4 decembre 1812.

(13) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 6. Материалы к истории 1812 г. Тормасов-Сакену, 7 июля 1812 г.

(14) Correspondance, t. XXIV, № 19340, стр. 340. Doubrovna, 18 novembre 1812, от той же даты № 19341; 19342 (от 19 ноября).

(15) ГПБ, рукописн. отд. XIV, А. 1023. Критическое положение Наполеона при переправе французской армии через Березину. СПб., 1833.

(16) Давыдов Д. В. Сочинения, т. II, стр. 122.

(17) Отечественная война в письмах современников, № 251. 18/30 ноября 1812 г. Орехов.

(18) Левенштерн В. И. Записки. — Русская старина, 1901, стр. 365;

(19) Левенштерн В. И. Записки. — Русская старина, стр. 376–377.

(20) Левенштерн В. И. Записки. — Русская старина, стр. 374, 378.

(21) Записки Мартоса- Русский архив, 1893, стр. 500, 502.

(22) Русский архив, 1868, т. 6, стр. 1988.

(23) Segur. Цит. соч., т. II, стр. 392.

(24) Давыдов Д. В. Сочинения, т. II, стр. 141.

(25) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, Ковно в 1812 г. Рукопись. Дневник особенных происшествий в уездном ковенском училище.

(26) ГПБ, рукописн. отд., арх. К. А. Военского, Ковно в 1812 г. Рукопись. Дневник особенных происшествий в уездном ковенском училище.

(27) Отечественная война в письмах современников, № 310. Extrait d'une lettre de Varsovie (первая строка: Au passage de Napoleon par Varsovie, le 10 decembre 1812…).

(28) ИРЛИ, арх. Кутузова, письма высочайших особ, собственноручное письмо Александра, «Полотцк (sic!), Понедельник 9 дек. 1812».

(29) Wilson R. Цит. соч., стр. 356–357.

(30) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8, бумаги Рунича, рапорт (неподписанный) — министру внутренних дел Козодавлеву. Москва, 26 декабря 1812 г.

(31) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-7, № 8, бумаги Рунича. Донесения губернских почтмейстеров — Д. П. Руничу. Донесение Бабаева. Тула, 4 августа 1813 г.

(32) ГПБ, рукописн. отд., арх. Н. К. Шильдера, К-8, № 1. Шильдер до которого, передаваясь от поколения к поколению, дошло это известие, не мог им воспользоваться в своей биографии Александра I, очевидно, по цензурным условиям.

(33) ИРЛИ, арх. Кутузова, письма высочайших особ, письмо Александра I — Екатерине Ильиничне Кутузовой. Дрезден, 25 апреля (7 мая) 1813 г. (собственноручное).

Заключение*

(1) Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. III, стр. 256–257.